



ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

ОДЕССКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

3 (9) '2013

Главный редактор
Станислав АЙДИНЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Отдел поэзии
Людмила ШАРГА, Евгения БИЛЬЧЕНКО, Мария МАЛИНОВСКАЯ

Отдел прозы
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, Татьяна ОРБАТОВА, Александр ЛЕОНТЬЕВ

Отдел критики
Алексей ТОРХОВ

Отдел литературоведения
Алёна ЯВОРСКАЯ

Общественный совет:
Евгений Голубовский (Одесса), Владимир Гутковский (Киев),
Олег Дрямин (Одесса), Олег Зайцев (Минск),
Кирилл Ковальджи (Москва), Татьяна Липтуга (Одесса),
Марина Матвеева (Симферополь), Виктор Петров (Ростов-на-Дону),
Александр Петрушкин (Кыштым), Юрий Работин (Одесса),
Илья Рейдерман (Одесса), Анна Стреминская (Одесса),
Александр Хинт (Одесса), Евгений Черноиваненко (Одесса).

Издание журнала осуществляется при поддержке Одесского городского совета
в рамках программы «Сохранение и развитие русского языка в Одессе»

Свидетельство о регистрации: серия ОД № 1563-434-Р от 16.11.2011 г.
Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»

Е-mail редакции: aurora_australis@lenta.ru
Интернет-версия журнала: ursp.org

© «Южное Сияние», 2013

В НОМЕРЕ

Одесса – Москва: Станислав Айдинян. Тени Коанов. Медитации	4
Одесса: Сергей Главацкий. В зеркале абсурда. Стихи?	5
Одесса: Геннадий Тарасуль. Тетраэдр. Палиндромная ретрофродия	18
Уфа: Руслан Надреев. Крылатый Львун. Фрагменты романа	36
Одесса – Москва: Ольга Ильницкая. Время Сунок. Рассказы	43
Одесса: К. Германский. Белый альбом для Чукуиты. Рассказы	48
Евпатория: Елена Коробкина. Т.Д., или Сказка для бога. Рассказ	53

ПОЭЗИЯ

Одесса: Людмила Шарга. Межмирье. Стихи	55
Одесса – Киев: Лала Тарапакина. Надежней, когда один. Стихи	59
Одесса: Валерий Сухарев. Фонарики китайские на лодочках. Стихи	63
Одесса – Филадельфия: Вера Зубарева. Обернись! Стихи	68
Одесса: Елена Боришполец. Красная тень твоя. Стихи	72

ПРОЗА

Одесса: Елена Савранская. В звёздном небе. Рассказы	77
Одесса: Сергей Шаманов. Мотанка. Рассказ	82
Одесса – Иерусалим: Евгений Кузьмин. Священная загадка. Рассказ	95

ПЕРЕВОДЫ

Из современной армянской поэзии

Нерсес Атабекян. Стихотворения (в переводах Гургена Баренца)	109
НАНЭ. Из книги «По лунному свету... без слов». (в переводах Маргариты Геворкян)	114

ПОЭЗИЯ

Оренбург: Виталий Молчанов. Дыхание тропического зверя. Стихи	118
Казань: Алексей Остудин. «Не слышишь меня или медашишь...». Стихи	123
Ростов-на-Дону: Ольга Андреева. «Подсолнухов – не меньше, чем китайцев...». Стихи	127
Евпатория: Николай Столицын. Белый кит. Стихи	131
Калининград: Виктория Берг. Центр лёгкости. Стихи	135
Москва: Александр Ивашнёв. «Вычитанье чуда в теле...». Стихи	139

ПРОЗА

Симферополь: Ирина Сотникова. Вера. Рассказ	143
--	-----

ПОЭЗИЯ

Валерий Земских: Санкт-Петербург: Холодная десница Командора. Стихи	152
Санкт-Петербург: Катя Че. Бетономешалка разрисованная ромашками. Стихи	155
Иерусалим: Яков Шульц. Опыляя немых. Стихи	159

ПРОЗА

Одесса: Анна Рафаилова. Отношения. Повесть	162
---	-----

«ОКОЕМ»

Марина Матвеева. На волнах радости и ярости (О III Международном арт-фестивале «Провинция у моря – 2013»)	174
Произведения победителей и финалистов поэтического конкурса III Международного арт-фестиваля «Провинция у моря – 2013» (Мария Луценко, Гурген Баренц, Ника Батхен, Юта Валес, Алексей Котельников, Елена Пестерева, Андрей Потылико, Валерий Рементюк, Елена Тихомирова, Андрей Шадрин)	177

«ЛИТМУЗЕЙ»

Анна Божко. «Они были слишком свободными...» . <i>Статья</i>	194
Евгений Голубовский. Загадки «одесского» Николая Гумилёва . <i>Статья</i>	196

«ШКАФ»

Шуя: Михаил Бальмонт. 1913 год в жизни и творчестве К.Д. Бальмонта . <i>Статья</i>	198
---	-----

СТАНИСЛАВ АЙДИНЯН

ТЕНИ КОАНОВ

Перепрыгивание через лягушонка есть достижение образа шага в осуществлении небытия.

Небытие есть лягушонок, чей образ осуществлен посредством шага, обратного достижению.

Шаг лягушонка по тропе небытия подобен прыжку, доказывающему невозможность абсолютного шага.

Шаг по тропе, по которой прыгал лягушонок, непропорционален бытию, празднующему собственную недоказанность.

Лягушонок, столкнувшись с небытием, становится пустотой в момент, когда его образ равен только прыжку.

Шарик на лбу шарика есть предчувствие образа жала...

Иголка на лбу шарика есть образ жала...

Шарик на кончике иглы есть образ грядущей смерти любого равновесия...

Шарик сам по себе есть образ воздержанности...

СЕРГЕЙ ГЛАВАЦКИЙ

АБСОЛЮТНАЯ ТИШИНА

Neuželi, i prawda, nam nužen s toboj perewodezik,
Cztoby strach osoznat, eztoby w adskich sadaeh
Ubereez eto Czudo, božestwennyj Dar,
Uderžat to, ezto nam prepodnjos ģalaktiezeskij zodezij?

Na wesaeħ, slowno ptiezje pero, rawnoduszje losnitsja,
Doždewaja woda toezit rżawuju rtut.
Ty usni i menja w snowidenjaeh zabud,
Kak zasnu i zabudu wo snaeh ja - swoju onemewszuju ptieu.

Jesli tajny kruĝom, esli belye pjatna - kak ehłjabi,
I matrzoszka iz kamer obskura wokruĝ,
Kto wnutri nieħ okazetsja, esli ne trup,
Kto okazetsja trupom, raz - ja w etieħ kameraeh zapert?

ПОПЫТКА СВЯЗИ

*В утопической комнате, через века,
Где невидимо – смутной тревоги озона,
Где остыл жёлтый плед и озяб кардиган,
Будут две телефонные трубки – бессонны...*

*Они будут висеть на своих проводах,
Кем-то сняты и брошены, и позабыты,
И бессмысленно будет само «никогда»,
Когда призраки станут шептаться открыто*

*В эти трубки, и будут слышны – голоса
Их – знакомых – из разных вселенных и капсул,
Их, погибших давно, как и все чудеса,
Их, ушедших в подполье от армий коллапсов.*

*И – возможно – что случай сыграет ва-банк,
И – сойдутся мновенья в испарине грусти,
Два тоскующих призрака, рад и раба,
Обнаружат, что есть между трубками – устье,*

*И дождавшись звонка, через век или два,
И услышав друг друга, узнав по дыханью,
Наконец-то отыщут такие слова,
Что на время – изменится суть Мирозданья...*

*Плоскость моря – экран телевизора лишь.
Сингулярность де-юре – стоять над обрывом.
В астеническом небе петляет камыш,
Словно древнего Ящера Времени – грива.*

*Подвенечные радиоволны в одно
Нас сольют, словно воду из всех водопоев,
И тогда я поверю, что счастье – дано,
Что тобой станет в тысячный раз – всё живое,*

*И, при жизни поправ, будто вечность – собой,
Равновесие астмы и воздуха – вьюгой,
Эти призраки бледные, словно прибой,
Наконец-то – дыть может – полюбят друг друга.*

КСИ, ПСИ, ФИТА, ИЖИЦА...

Мы убьдим, бросая параличный взляю,
Обитаемый мир – под плитою надзробной.
Но какие костяшки у Бога болят,
Если жизнь во Вселенной – нежизнеспособна?

Беспокойная оледенелость, Земля,
Дом родной для случайностей, крузоборотов! –
Ты считаешь до ста, но тебя – обнулят.
Нам с тобой не покажут дорогу – в обход и

Светофоры небесные испепелят
(Во спасенье дорожа – бикфордова лента)
Обреченная опламенелость, Земля,
Голограммы Вселенной кочующий центр! –

Атмосферы забрало лежит на полях,
Как сражнная тьмой допотопная падаль.
Герметичность Ковчега – не больше, чем кляп,
В корабле даже трещины рышат на лаган.

Жизнь, как крыса, бежит с твоего корабля –
В никуда, в небыть, всем пустотам за ворот.
Небесомая окаменелость, Земля,
Никому дела нет до того, что бог – Ворон,

И слетаются стаи его ангелят,
Чтоб вкушать наши осолобевшие толпы,
Что Вселенная – это божественный ляп,
Что она – холодна и пуста, будто колба,

Никому дела нет, что потом, за чертой,
После ада – в пустынной и мртбой Вселенной –
Никого, кто наш л бы в ней наше гнездо,
Ничего, что могло быть столь быстрым и пленным,

И на дне е нет ничего – ни от нас,
Ни от тех, кто ещ, после нас, мог родиться,
Ни чего-то того, из чего бы – со гна
Удалось новой жизни возникнуть – в темнице.



Усе роды аднолькава старадаўнія.
Пітэкантрапы з'явіліся на свет у адзін дзень з аўсталапітэкамі.
Ліліт і Ева ў адну і тую ж ноч сталі Царэўнамі,
Каін і Авель ў адно імгненне – калекамі.
Той, які стварыў гэты цырк і нас па сваім жа падабенстве
Каб спазнаць, што сам не дасканалы і
Асуджаны на самазнiшчэнне, на безназоўнае надмагілле –
Бачыў, як ляглі пад каўчэг дагістарычныя Карэніны.
Чакаюць канца эксперыменту, няма – досведу
Па спазнанні сваёй прыроды (і толькі) –
Ведае, колькі Пампей паднялося з сажы,
Як пры кожнай мутацыі ўнутры сябе Дарвіны ойкалі.
Але і гамункулюс зараз ужо ад сябе не увільвае,
Спазнаўшы, хто ёсць хто, каму – хвала і слава...
Хтосьці сядзіць там, на прызбе, і метадычна вышліоўвае
З гліны сам не ведае што. Гэта д'ябал.



Piano

Musical score for Piano, measures 1-14. The score is written in treble clef with a 4/4 time signature. It features a melodic line in the upper voice and a rhythmic accompaniment in the lower voice. The melody consists of eighth and quarter notes, while the accompaniment features a steady eighth-note pattern.

Musical score for Piano, measures 15-18. The score is written in treble clef with a 4/4 time signature. It features a melodic line in the upper voice and a rhythmic accompaniment in the lower voice. The melody consists of eighth and quarter notes, while the accompaniment features a steady eighth-note pattern. Measure 15 is marked with a '15' and a repeat sign.

WHITE DOT

Змея сттчиуся в Змелю.
 Сутгичся Небо в Нбео.
 И пнхает лркоиадхой
 Мой обомрчоный мир.

Гзала глазам не венюлмт.
 Сазноние - как реубс,
 На все гкрячой пкдаий,
 Кллоаж из асдких СМИ.

Снета уиодхт в сетну.
 Вода несётся в воду.
 И не бльо пачели,
 Но нас залачи - здесь,

Под днытаеинвм телном,
 Над срлнунияигым брдоом,
 Где сипт кеноец в наачле,
 И нтижеь на хвосте.

Тбея за мрйоу дежрат.
 И мир в хнеълмом всогорте -
 Как шсдевакя могила,
 И мир - как беылй шум,

И гслооа уширмех
 В клайедкпоосе огрий,
 Цейонттами нсаулий,
 И дом мой - пшраают.

Рлоесанти, дритоже.
 Нтнерийо вас пугоябт.
 Меня не решразлии.
 В июле будет снег.

И, сслъейкй ниобжелеть,
 Мой мзог - как кубик-рубик,
 И - будь готов к мголие,
 И будь готов - к Луне.

ПОКАЯНИЕ

Без виз снаряжения
Мое отражение
Скачет ступенями лестницы огненной
В вечное terra incognito

Мое покаяние
В обход расстояния
К тебе и твоей первородной небесности
Стремглав чтоб исчезнуть в утробе святой безызвестности.

И снова просить
Для свечей алтаря, а у спичек промокших огня

И даже в кошунственной мнимости
Пусть выбросит нас ураганным прибоем
На берег бездомной интимности
Заросший по горло уродливо травами сорными

Я пугало - нам - огородное -
Отжившее век свой - горю.
Лишь ветер заботливый волнами волнами волнами
Уносит мой пепел в погоню за нимфами вздорными
Я их догоняю - авось догоню

И мы - отражения
Безбрежного зрения
Нырнем в откровенья волну окаянную
Ведь Хаос стал морем, а берегом - глубь океанная

Под тучами серыми
Мы станем химерами
И вновь в океане сольюмся в единое целое

И паруса чьорное знамя вспорхнут как судьба оголтелая
И вдруг оживют и окрасится в белое
Свернут калачиком хамелеон
Крест мачты - распятя поклон

Стабильнее Хаоса нет ничего
В ньом покой и гармония
Гольфстрим энтропии
направлен к гармонии. Быта агония
Рождает мессию.

БЕС В РЕБРО

Да, наш предок — пробирка. Чьё, эволюция — блажь
Удалых чингачуков тышленья,
Белокожих индейцев науки, плетущих коллаж
Всех просчетов, догадок, сомнений.

В этих недрах, сбиваясь, спивается пульс Лаганини,
Снится тарионеткою Дарвин
И бредут чингачуки среди зетноводных актиний,
Каждой симпатизируя larvae.

И подопытен мозг, и подопытны мысли и разум.
Гулко недрствуя в сновиденьях,
Мы крадёт полоутие в крупные алье вазы,
В суету этих катер краненья.

Ночь хранит ароматы всех лун, что упали, взлетели,
И букеты всех звёзд — под копирку.
Мы же — каждую ночь, засыпая в болотной постели,
Угождает всё в ту же пробирку.

ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ

ПУСТЬ ВНАЧАЛЕ БЫЛ ЖЕСТ,
А ПОТОМ УЖЕ - СЛОВО.
НА ТВОЁМ ЭТАЖЕ -
НИ ТОГО, НИ ДРУГОГО.

МИР ДЕЯНИЙ, НЕ - СЛОВ,
МИР ПРОСТРАНСТВА, НЕ - ЗВУКА,
СЛОВНО ШАР-ЗМЕЕЛОВ,
СЛОВНО ЖЕСТОВ ПОРУКА,

НАМ С ТОБОЙ НЕЗНАКОМ.
МЫ ИДЁМ, КАК БРОДЯГИ,
ОТ ВСЕГО, ЧТО - ПОТОМ,
РАЗБЕГАЕМСЯ В СТРАХЕ.

СКОЛЬКО ЛЕТ БОСИКОМ
МЫ ОБСЛЕДУЕМ ТЕМЁНЬ,
НЕ УМЕЯ В НАШ ДОМ
ПРЕВРАТИТЬ ЭТО ВРЕМЯ!

СКОЛЬКО ЖИЗНЕЙ ПОДРЯД
МЫ БРЕДЁМ, БУДТО ДРЕМЛЕМ,
НЕ УМЕЯ В НАШ САД
ПРЕВРАТИТЬ ЭТУ ЗЕМЛЮ!

НАС СОРВАЛА ЛУНА,
КАК ТРАВУ - БУРЕЛОМЫ.
ЭТА ВДОВЬЯ СТРАНА
ВСЯ ИСХОДИТ ИСТОМОЙ -

СЛИШКОМ ВЕТРЕНА МГЛА,
ПАХНЕТ ЛИКАНТРОПИЕЙ,
МОЯ ДРОЖЬ ПРИПЛЫЛА
ЗА ТОБОЮ МЕССИЕЙ.

МОЯ СМЕРТЬ ПРИНЕСЛАСЬ
ЗА ТОБОЮ - СТОП-КАДРОМ,
КАК НЕПРОШЕННЫЙ КНЯЗЬ
ЗА СВОИМ ИМПЕРАТОРОМ,

И ТЕПЕРЬ Я МОГУ
ЦЕЛОВАТЬ ТВОИ ГУБЫ,
САМ СЕБЯ ДУШЕГУБ -
ХРАМОМ ЗВАТЬ ЗВЁЗДНЫЙ КУПОЛ.

И МЫ СНОВА ИДЁМ,
ОКАЯННЫЕ ДВОЕ,
ПОД ЖЕМЧУЖНЫМ ДОЖДЁМ,
В ДАЛЬ, В - СВОЁ, В - НЕЖИВОЕ.



На мне распять Христа уместно, на лету
 Мне предлагая стать крестом. У наших душ
 Уже кипят, киша, мозоли перевоплощений,
 Срываюся на визг всех скоростей значенья,
 Всех единиц, нолей и прочих постоянных,
 И кто такой я говорить, что это странно...
 На мне распнут Христа. Мы все устали так,
 Что стужа нас сжигает, жар нам – холода,
 И ничего не может быть таким, как наши души:
 Наложённые друг на друга вулканические суши.
 А где-то в Африке под кроной дряхлой Яви
 Спит в колыбели снов стомиллиардный Авель...
 Душа его – что стёртый с плоскости Земли вокзал.
 На мне распнут Христа.
 Или меня на нём, – вдруг Каин подсказал.

На мне распять Христа уместно, на лету
 Мне предлагая стать крестом. У наших душ
 Уже кипят, киша, мозоли перевоплощений,
 Срываюся на визг всех скоростей значенья,
 Всех единиц, нолей и прочих постоянных,
 И кто такой я говорить, что это странно...
 На мне распнут Христа. Мы все устали так,
 Что стужа нас сжигает, жар нам – холода,
 И ничего не может быть таким, как наши души:
 Наложённые друг на друга вулканические суши.
 А где-то в Африке под кроной дряхлой Яви
 Спит в колыбели снов стомиллиардный Авель...
 Душа его – что стёртый с плоскости Земли вокзал.
 На мне распнут Христа.
 Или меня на нём, – вдруг Каин подсказал.

На мне распять Христа уместно, на лету
 Мне предлагая стать крестом. У наших душ
 Уже кипят, киша, мозоли перевоплощений,
 Срываюся на визг всех скоростей значенья,
 Всех единиц, нолей и прочих постоянных,
 И кто такой я говорить, что это странно...
 На мне распнут Христа. Мы все устали так,
 Что стужа нас сжигает, жар нам – холода,
 И ничего не может быть таким, как наши души:
 Наложённые друг на друга вулканические суши.
 А где-то в Африке под кроной дряхлой Яви
 Спит в колыбели снов стомиллиардный Авель...
 Душа его – что стёртый с плоскости Земли вокзал.
 На мне распнут Христа.
 Или меня на нём, – вдруг Каин подсказал.

На мне распять Христа уместно, на лету
 Мне предлагая стать крестом. У наших душ
 Уже кипят, киша, мозоли перевоплощений,
 Срываюся на визг всех скоростей значенья,
 Всех единиц, нолей и прочих постоянных,
 И кто такой я говорить, что это странно...
 На мне распнут Христа. Мы все устали так,
 Что стужа нас сжигает, жар нам – холода,
 И ничего не может быть таким, как наши души:
 Наложённые друг на друга вулканические суши.
 А где-то в Африке под кроной дряхлой Яви
 Спит в колыбели снов стомиллиардный Авель...
 Душа его – что стёртый с плоскости Земли вокзал.
 На мне распнут Христа.
 Или меня на нём, – вдруг Каин подсказал.

На мне распять Христа уместно, на лету
 Мне предлагая стать крестом. У наших душ
 Уже кипят, киша, мозоли перевоплощений,
 Срываюся на визг всех скоростей значенья,
 Всех единиц, нолей и прочих постоянных,
 И кто такой я говорить, что это странно...
 На мне распнут Христа. Мы все устали так,
 Что стужа нас сжигает, жар нам – холода,
 И ничего не может быть таким, как наши души:
 Наложённые друг на друга вулканические суши.
 А где-то в Африке под кроной дряхлой Яви
 Спит в колыбели снов стомиллиардный Авель...
 Душа его – что стёртый с плоскости Земли вокзал.
 На мне распнут Христа.
 Или меня на нём, – вдруг Каин подсказал.



ТАМ, ГДЕ СПИТ ЗОЛОТОЙ ВЕК

Так зачем ты мне пишешь спустя столько лун? –
 Ведь топорщится память моя (болезнь века!).
 Или думаешь, вспомнится мне, что был юн
 И похож на великого был человека?

По тебе плачет высшая мера тоски,
 О, моя Королева, моя Королева!..
 И магнитные цепи безумий – близки,
 И кустарная явь эта – справа и слева.

Пазлы улиц, танцую, обманут меня,
 И письмо – будто выкидыш – это больное,
 Как тебя, потеряю (так – землю: хранят,
 Так – ковчет уберёт всех, кто не был в нём с Ноем!..)

Но в расщепленном тетто моём, в суете
 Божьих слёз, за хрустальными мхами презренья,
 К праху – прах! Я и сам в этот прах разобдет,
 Я и сам – из него, и душа, и смиренность!..

Так зачем ты мне пишешь спустя сколько лун? –
 Этот век, по ту сторону от Золотого,
 Пусть – уносится в нашу блаженную тлуть,
 Где не делятся на два миры и основы,

Пусть – останется белой далёкой звездой
 В мавзолее своём, всеми нами отринут,
 Отдыхая от нас там, где спал Золотой,
 Там, где ночью не плещется ужас звериный.

Мы не стоим того, чтобы помнить о нём,
 Он теперь – не ручной, да и не был им раньше,
 Он увидит меня – лишь своим смертным сном,
 И узнает в тебе лишь – последнюю Баньши...

Так зачем ты тревожишь меня? Каково,
 Мне вынашивать ненависть – тьму метастазов,
 столько злобы (в жожгах вся кожа – Это!),
 сколько нет у всего человечества разом,

Каково мне носить эту злобу – к тебе,
 О, моя Королева, и жить ещё тем лишь,
 что любви во мне – больше, чем этих цепей,
 чем любви у всего человечества... Вне мли! –

И уже не пиши, никуда, никуда! –
 Я теряю все письма, как люди – рассудок,
 как теряют людей времена, города,
 как находит нас мёртвыми позднее чудо.

Алфа Гена Тарасуль Омéγα
 i Б У К В [ы]
 ПервОй i Последней
 А Л Ф А В И Т
 пѠбуквеннѠ
 меня шута Из За-умІ ↑в()рІ↑

[S0lfeggi0]

а вы-п()кнУтые мнОй мОи хО R() шие
 вглядітесЬ-я иду в рабы п0к()рн() с неп0к()рн()й н()ШЕЮ всё
 тОй же прасизифовОй сТеЗёй== смерть Осеняя Памятью живОй
 идУ в ПустынЕ в Сердце ТрѐХ руніческіх руін т()рчАщих меж шатр()в ИзХ()лМ-
 леНных М0йсеевых м()РшІНѠи Ду одіН Едін т()рЯ за шаГом↔ши а Г↙
 и Д т И ста Ра юсь выше выше в Ы ш Е Ѡи вот уже над г0лв0й п()выше
 неразумнОй кРЫШИ меня манІт пр()ст()Р все ВЫШНІЙ с(АМ)крытый за
 СПИН()Й п(луживых Синайских Г↙)Р а ВЫШЕ ТУЧЕЙ ГР()зв()Й
 кЛуБуТся ЧѐРН[]Й П[]Л[]С[]Й грядА небЕС нО в пекле м()лНий предО мнОй
 пленяя прежней крас()т()Й в()Зр0С в0 вЕСЬ прАГефсіманскІЙ р(↗)С↑
 под корень вы-Ы-руб-леннЫй лЕС здесь в небесаХ он не ісчез і вновь звучат УстА
 біблейскЮю лств0й жив0тв0рящей ()БРАЗ і0т ЗемнОй а еще выше ВЫШЕ
 ВЫШЭ всех 7-ми небес гдЕ Ешуа-Іисус в()СКРЕС сейчас р()Стѐ іЗ=нераспет-
 ых и закрытых нами н()Т н0 М0ZART0вскІ ПалІн0R()MN()СептакКорднЫй
 СВ()D

в нѐм S0L0 Г(↗)рлУЦА п(↗)ѐТ
 і СкрІнкА Stradivarius без смычка у г([])РІА 0немевшег0 шута
 М0лїтв0й Albinoni меня жи-дА храня к себе, в п0дпев безумия З0вѐт
 н()Й Г()РЛУЦА п(↗)Й

дліі над0 мнОй к()лЫбЕльнЫй п0к()й
 д е т с т в а
 і этім п0следнїм наследств()м
 РадугІ МузыкІ СердцА
 душу изг0я ()тКр()й

П()Й	Г() р л І ц а	п()Й
ГубаМи	іСпЕе†Ыми	в кро()вЬ
Т Р ()	Ц У
ВЕРУ	На д е ж д У	Люб()вЬ
Трижды	РаспЯтый	С0б()R
нами	по - рабьи	в- декоР
на-----		сп000QР

и так до сих пор точно выстрел в-упор звучит над судьбой роковой
 Пригов0р повторяясь по всем Языкам-Букварям по к0т0рым учил нас
 родниться Адам

я неЕсуУ этУ Песнь скв()зь земной suRrogатнЫй нар0д
 да не ведаю сам кт() еѐ НебесаМ д()П(↗)ѐт
 м()жет т()Т к()Г) ЗвѐзднЫй ІудА Кр()сСW()RD н0 раз м ы т ы м с л е д а м
 и раз битым сло гам на Г()лГ()ФСКІЙ Прест()Л каК ХрІстА в()ЗнесѐТ
 і ()N грядЕт ПриШестВием вт()рым пе-Ре -Е—шаГ—нуВ— за кр0мку
 Г () Р У З () Н Т А
 с привычной для жильца заПлечнЮю кот0мК0Й бредѐт на ощупь по
 земным потѐмкам несЯ в себе ВселеннЮю і нас - кого еще не спас
 таК Мать беременн() не сѐт Ребенка по в()лнАм (не м()ря Галилейского)
 а ст()нам тех кт() н()д в()дами П()Т()ПА↗SoS кричиТ↗)он слышІт і спешит

кого ()н х()чет в()скресУть в[] гр()бе
 или прОказУ снятЬ в крОвИ Земли
 быть м0жет↑счастье датЬ всем кт0
 ещѐ в утр()бе не ведаю н() Г()сподІ СпасІ

а ()и Идёт к нам праведник Изгнания
 неужт()вн()вБ в пучину Истязания
 пр()р()ками изкр()МсанN()й ЛЮБВи
 как шел тогда п()в()дырём на= Алтари
 вОкруГ к()т()рых посеичас сменясь
 бродят палачи и мудрецы листая молча
 К н и з У С у д е б = З()АР=С()И я н ь е
 К а б Б а л Ы
 и в ней ИЗ()бражение Пре()бражения Пре()браженN()г()
 творит Душа П()Эз()и РаспятеМ
 (() к р ы л ь N N а Я
 и превращаясь снова в г()Рад и дождь спасая п()д ладонью гр()здь
 идёт опять k= ВратаМ был()г()

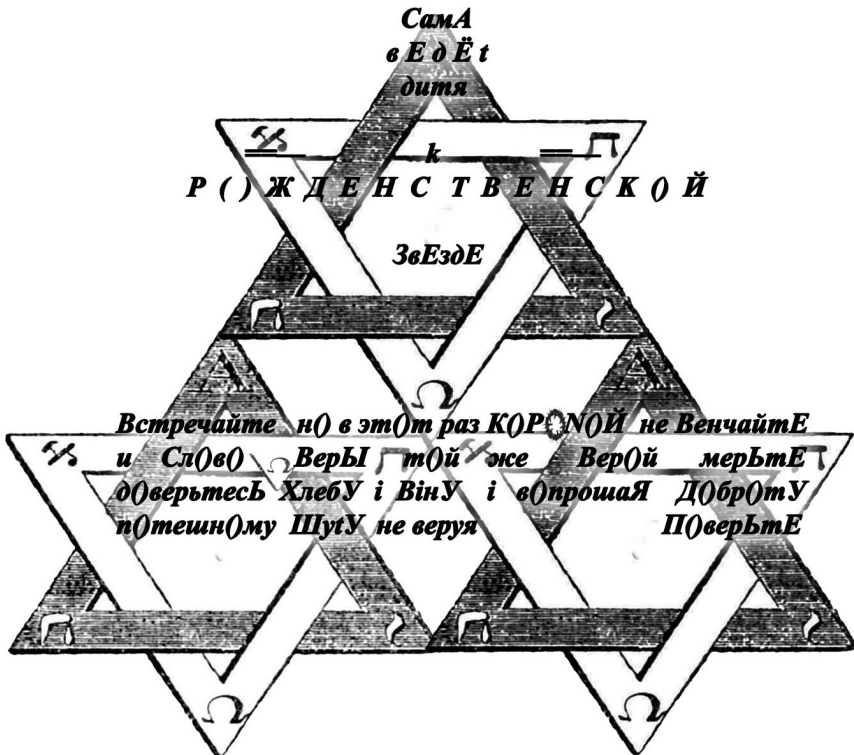
Хр ^ ма|<

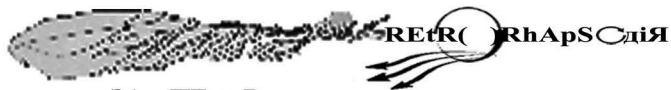
с т У п А я б е ~ р е ж ~ н ()

n()
 храм()в()й
 в()дЕ

И с губ Ег()

с
 Т-е-Е
 к
 а
 ю
 т
 буквы
 та ма
 живая
 АвЕ МА тА





ЗАааПЕеееВ

120 лет прожив и умирая Мудрец спросил себя к Ист(о)ку возвра(с)аяся
В чём смысл жизни Миша на к()не Ц ? и получиЛ в отвеТ истец

ЛЮБ()ПЫТСТВ()
да-ДА ! или да-А!?

здесь на побывке в жизни пребывая зазря ль пытаешься скв(о)зь время угадать чт(о)
будет там отКуда р(о)л(о)м Ат(о)м в к(о)м Ман`д`Эль`штаМ пр(о)рвавшийся Стр(о)ф(о)й в
Ка`Ббалістическій Сеза(Н)М (о)тГуда же душа праПамятью дыША`ей Исп(о)лать
ещё надеется ль прощённая узнать

кРуТая нарк()тическая смесь здесь
і я нап()ЛНІВ ёЮ КУБ()К Ш()ФАР РОГ неЕсУуу сей ДАР Любви
вслепую - лишь р А с п л Е с к А в три щедрых капли света к сухим губам
раз()пят(о)г()
п()этА

вы-ЫшаГ()нуВше(о) к нам()ИЗ Р е к І мёртвых ЛеТы
и меелеен(о) б р е д у щ е г(о) п(о) Букв()н()там Суше()
р а з б р ы з г а м І рекУше()всему земн(о)живущему
(о) ВеТХ()Ведн(о)й За()УмІ с ПЛАЗамУ Р(о)нд(о) ДаАуна
і Абс()лютным Слух(о)м бр()тв(о)й срЕзаНн()г() ВаНГ()г()М
у()а в С л у ш и І в а Ю щ е г(о) с я в Футур(о)бред п()Эта
(о)красИшеГ(о) ЗвУк мАниакальным Ц в е т ()М
н(о) вДруг() заМолКше(о) как МІМ пред()АЛФАВІТОМ ВЕТХ()Г() Завета
В

Пейзаже

ТеМь на Ф()НЕ Света
п(о)т()М

Як(о) И(о)В ИспытУЕМ (о)гн()М Крест()М
УЛ(о)В()М пр()Гл(о)ченный КУТ()М
(о)бретши в н()М і (о)БРАЗ св(о)й і Д()М
в к(о)М БУКВЫ Х Р І А Т ()С
не зря ІХ 7-мь С R () СТЛУСЬ = в
с Л () в ()
даб і в еГ()УЗ()RE ізУСТн(о) вт()рЯ
Т(о)рЕ безр(о)пн(о) весті сакральный дух
душ() зал(о)г(о)м к-----Вечн(о)му Іг()гу
на ВышНІй Суд Сутьбы где лад не в лад

наукоЮ доказанный рас п А Д: п(о)ж()л()л() адам в Раю
теперь пожалте в-Ад пр(о)ст(о)й АнаТ()мическій р а с К л а ДНК
а на Земле здесь и сейчас пока ещё не пр()б()л() ЧАС
сам(о) Звучье БукВ в(о) СпаС влечение иХ в Ік()н()стаС
к р () І т К(о)НтраСт(о)вЯ речистый Путь Стр(о)фы вернуться
вспять=опять в р А бы чт(о)б д(о)нести к Тв()р()у кр()в()т()чаше
"ВЕРИГИ" ІМ зак()Дир(о)ванные За()УмЬКНИГІи
для нас пр(о)сТр(о)ченные ВелімІр()вым смеХач стІ
л(о)М ізчУдл()в()кРІвЫм()ФуТуРум Ra=ctIX()М
уШедшІм от себя в себя

как С()Н в
Н Е П () С Т У Ж І М () С Т Ъ
Б Г а

ЕдИнственный земной І С т () К

сочающийся как жизнь пес(о)к
сл()Гающий скв(о)зь время

племя = Б У К В А Р І

л () Ж А С Ъ

Х () Л М () Д М

С

Х Р І С Т М

в(о)СсЛавленныМ п()т()М пр()роками БіБлейскІМ ЯЗЫк(о)М
Надежды Веры і Любви
к НіМ в()ЗНОСЯ Судьбу строки п(о)эт пр(о)зр()
и сам

РискНІ Ш А Г Н І-КА в даАль за-А-А-А г()р І з()н Т

в ПІНны е ЗвуУК()в()ЛНЫ вне литер Сл()варІ

в нІХ (о)т ІЗбыІтка СерДца уста душ() Г Л А Г () Л Я Т
к(о)гда (о) беззащитной Книге В Б га КНИГІ М() Л Я Т

І Э т А З в У К С в Я з ь р () ж д а е т

поверьте мне поверьтеЕ[хоть чт0нйбудь останется лЬ от смутной эт0й речи
стеКающей пред^нищйм Алтарём в Из^буквенные свечИ
к() встрече старателя случайного со мной шутком не чаяНным за буквами
отчаянным в сам0м себе ()бла ЯН ым

и в0Т на карТАХ всеХ Материк0В накрытых СЕТЬЮ град0в#пАуК0В
заУМьем Азбуки звуЧИТ ПР () СТРАНСТВ () сл0В
двИжениЕ > в дВИЖЕНИИ >>> С Н () В
дАруУЮЩЕЕ смертному Х И И А З М
Л Ю У Б О В Ь
А в ней планеты букв

в (0)РБУТАХ пеевчУХ н(Т)круУЖАТ в иИзвиВаХ)лЕбнИк(0)вСкуХ
гр0З=испепеляющих земную ложь=ЗвуЧА при эт0м яко I0АНН Предтеча
на Иорданск0М Вече

в суть человека - а там глухота - жизнь без слуха души пред старым Распяи ем нового века
п р д л ё н н ы й к а л е к а
н0 в мгле времён СтуК Сердца Чудака я считываю в-н-з-в-ь

В(\\00//\\)-^.....
з в у К а Х
я з ы К а А

ВелИмГрА ХлебИК0ВА

и п0 сей Час еГ0 ТаРа=РА=РАМ=>на МАШЬ б Ё т п(\\)\ теМ же

ЗЕРка
Л
а
м====
напЕреК[0]р речам
i
пА

да
ют
стёк(\\~\\)
Л
зАр
нi

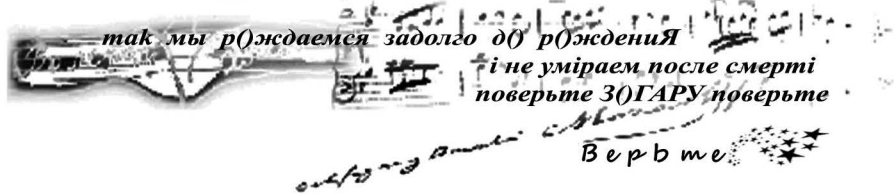
на СонникА страницы >>> с(\\)вокупляя Л I t e R л и ц А
чуСтва и сл0ва=с ИстИной п(\\)^Л з у щ е й п(\\) Х р Е б т У Х р I c т А
i
так

снижаясь
и сГОрая В Страт0сФере
ДзЭн Б у К в ы н Е Б А
не теряют ЗА-^УМЬ
тайну
=^=вЕрЫ

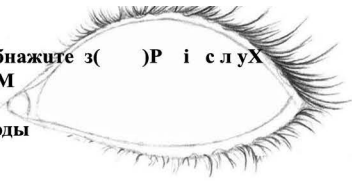
и прЕврАщаясь снова в зримый ряд
в Упор П ()Эзлей на нас глядят
И ()бретаеТ страждущий С П О Р У
пр0зревая сквозь Г Л А Г () Л Ы

Т(II)R У

и кт0 сЕ п0стигаеТ t0t
S()СлепУ
б у к в п () ёт
к ы и с ч е з а ю т i ()
МуУзыка живёт



і п0семУ пр(Шу вас люди ()бнажете з()Р і слУХ
 ведь в каждQM
 Я з Ы к Е
 земнОй п(роды
 р()Qды
 і
 Ду Х



Б==== жІЙ
 Суд==== і ==== СуТЬ

м0гу ль я иМ в гЛАЗА безстраши0 заГЛЯнуть====и в нІХ нЫР====
 нУТЬ
 і-виОвь прQйти свQй ВаВиЛQнСкий путь земных праQбразов былых народQв====
 жив0му язЫкУ
 быЛ
 дАН
 Завет

Единственный к ВратАМ====> Св(б)ДЫ
 и не ег() за т0 вина
 что слОВОм прАвят времена
 а -в -уУнесённых веЕсТр()ом зВQ()Q()NaX звУчат зак()НЫ==== вне ЗАК() NA()

на
 Я з Ы к Е
 ОДНА
 ПЕЧАТЬ
 П() СЛ()ВУ іЗбраНа і сТаТЬ`~^^~`V> самОм себе себя п()знать

каАК знАТЬ— ? —быть м0жет жизнь рQдн()г() я з Ы к А в простых
 слQвах во0—рQ-о()Q-чАаеТ векА==== как в А Л У Н Ы РекААА
 вплыЫвая в ()каN ||=> она уж не ()на==>
 І туТ====прям()Й====> в()ПРОС
 от Рыбака поймавшего на Уд0чку заУмьн0г0 творца --сбежавшего
 по буквицам подальше от ст()лА=к0гда на ВАЛТАСАР() В ПИР
 сзывает жрущийалчно мир РАС КРЫВ ВСЁ ЖЕРЛО ПАСТИ ПРОЖОРЛИВЫЙ КУМИР
 VIP=РЕСТ () раН()В()А()М()П()И()Р
 Так чт() же ()стаётся человеку от чел()века у-бегающег() от собствени0г0 Э()А рЫдающег()
 преподбьем смеХа=на потехУ Н0т0 sapiens пока што чел0века от кот0р()г() чего-сь да ()ста-?
 на Земле п()круУче ДНК и праха== н0 в эт()м слУчаЕ лшшь чуд0сваХа Смрть^0тбирает лучшиХ
 tAkIX кТ0 и при жизни слыл заУМью іЗмуУчен=в()т і сейчас средь к0рневых Теней стал сн0ва
 Вечн====сТІ сп()друченН

і-Б() ()т всег() человека
 вам (о)стаётся часть
 речи
 Часть речі во(-)бше
 Часть речі
 И====в()сей
 бр()НЕ
 ЭпиГраФ()в
 і()



скрыт()ю люб()ью
 я ()пУускаю с Н Ы
 к земному іЗгоЛовью
 и жду=пожду к0гда в мой перв0рдный ЗА-^-УмьС()N вп()лзёт украдкоЙ
 П а л І н д р () м нСв()льный ЗАУМ З в
 і с нІм Іже Есл уже во Небесі вЗ()ИТІ судьб0й в с0звездІя времён
 і п0рдНІться с Сутью неземН()ю пуцай хоча бы Minim^б у К в 0 ю одн()ю
 аум заум оум
 так прQ()ДИ-раЮсь скв()з дремУчим лЕС л()м-ая суЧья сл()в и го Л()в са деРев
 в лиСтву зарQю мой безУмный гНеВ Открыт()й б()ЛЮ Обнажённый пер'в


и чувствую с0б()й -п()тУС()р()нний мР
 хотя не знаю сам—где жизнь а где=> Ф и R
 <—пе-рЕ^~`~`~л Е т а я за пределы с т р 0 к <—
 я вроде ()

обрыв-
 аю сл0Г
 н0 слава Б—Гу слыЫшУ—Э() ()
 Б`жьег0 На`речЬ Я
 і раств()ряю в Нё[V]
 св0й кр0вен()сний смеХ
 как ЧаСтЬ забыт()й
 зВУК()СтруУНн()й
 р е ч і
 Итак— д() встречи— с чАс`тью речі че л0 век====>

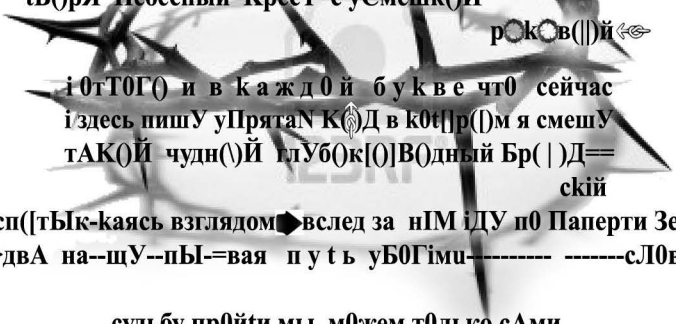
а
на
Земле
настр(и)В в нЕБ() слух== и при(~^)ткррЫв чуть-чуть нУ вр(о)де
вДруг

ТЯЖ[Л]тЁМНУЮ К[П]рЯвУю (П)БЛ(П)ЖКУ КНИГИ БУКВ

и
заГЛЯнуВ
в
ея
грудную За-Умь

Суть
возьмёте ль пр(о)бу из-п(о)д Крыши
||  ||
аль сразу выЗ(о)вётЕ НЕОТЛОЖКУ===== >
чтоБ СКАТЕРТЬЮ меня нЕсЛА с(о)шедшая с
ума дор()жкА >>>и 4() лет кружА по ней
с(г)рЯщей Книг(О)Ю своей Пустыню б(о)р[||]=
зДил опять явЪрей гонЯсь за Литерами теХ ВЕТХ()
ЗАВЕТНЫХ Дней====к()ГДА впервые иХ учУяЛ
САМ к((сМ(|)ЯзыЧный М((о)сеИ в ()гне щадимых
СОЛНЦЕМ Вер(\\)Й і Судьб(о)й

И
прЯчАсь в Тень лишь шУтки над с(о)б(о)й в к(о)т(о)рой
шут с шу(л)ом себя в себе кулачит() старом Лире
Царствен(о) судачат (|||) бедн(о)м Йорике с оГлядк(о)ю
взд(о)х-нут и тут же Гамлета ГОрилк(о)й п()мянУт и
с(о) Слезой хмельной об авторе поплачут=>а Время
м(ч)Ит і врЕмя сКА-чеТ в ПетлЕ Арены Цирков(о)й
тв(о)рЯ Небесный Крест с(у)смешк(о)й


і 0тГО() и в кажд(о)й букве что сейчас
і здесь пишу уПрятАн К(о)Д в к(о)т(о)р(о)м я смешУ
ТАК(о)Й чудн(о)й гЛУб(о)к(о)Водный Бр(|)Д=
скій

и сп(л)тык-каясЯ взглядом▶вслед за н(и)М іДУ по Паперти Земли
Е>два на-щУ--пы--вая п у т ь уБ(о)Г(и)ми-----сЛ(о)вами

судьбу пр(о)йти мы м(о)жем т(о)лько САМИ

і в даль ()ткрыт(о)й Книги ИЗ(о)БУКВ І Д(о)Т(и)т(ь) аль нам не над(о)

спр(о)си-ка у себя =====> не убишьСЯ ли прЕ(о)длеВ ПреграДУ
стать самым Круглым в мире Дурак(о)м смеясь и плача п(о)д смешным дождём
с таким же пр(о)м(о)кшим шутами танцующими К(о)ДУ с БУКВАРЯМУ по разным
ст(о)р(о)нам Пр(о)Г(о)мерічески заплёванных Зеркал в К(о)т()рых даже (|)Н
нЕ дос(о)читАл FiNaЛ

И ОТ(о)г(о)

я Чрев(о)м чую Суть и Жуть Стр(о)фы НЕ в с(т)рАн(о)ст(у) пиСания привычных букв
а в тАйн(о)п(л)сІ іХ ПРАБУКВ с р(о)жденьЯ призванНых не▶отнимать▶▶
а прілеплят(ь)▶▶прЕдчуСтвУя и Т(о) Ч(т)о не дан(о) при жизни словом д(-^-)с к а з ать

R(ND)
 Добрый Человек ← → Поверь мне

М. Дурманов



КрЕсТЪ

многое раскопано
 с- ЕвангелиЯ --
 списано
 по- словам р а з о б р а н о
 глазами жадно слизанQ

И— вОт
 СудьБА
 СпасИтелЯ
 нА—=<] КресТ [>— жив0й
 нА-нi-зА-нА

[но я веду сей сказ
 чуть мимQ вечных
 фраЗ]

в тЕ врЕмена жил гУЛКий лЕС

и вот однажды— Он—
 [исчез]—

н0 прежде чем пришла на— пАСТЬ

б0гQ тв0ря—=
 ДажьДь `` ДожьДь
 Жар `` Б⇒г
 ЗевС `` ГРОМ
 (0)н в душу вер0вал при-тQм

таК в0т 0днажды—====
 [таАк(0)Е не бывает двАжды]

средU Дерев Одна раСсвеТная душА
 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒
 вдруг

п()тяЯ нуУлАсь к Б гу в Небеса

бывАют ведь на свете чудеса



п р У Ш л А
 п () р А
 в 3) Ш л А
 н А д
 дер Е в () М
 Я р ч а й щ а Я
 З в е з д А

Г весь е Я лу У ч И ст ы й г л А С

в 3 - в У Х р и Л
 к о с т р ы
 п р 0 3 р е в ш и Х
 г л А З

с (| |) ш л и с ь
 п 0 д
 д е р е в ц е м
 Т Р I
 Д е р Е в А
 в 0 Л Х В ы
 и
 н и з к 0
 п 0 к л 0
 н U
 л і
 с ь
 = — д — =
 (| о |)
 з е м л и

с п а д а л и л и с т ь я
 с - () с е н и н е р а з

я з д е с ь п р е р в у
 с в о й с в Я ` t () ч н ы й
 р а з — С к а з

и Б О О д н а ж д ы — в п р я м ь => О д н а ж д ы Т и т л и т а т ь
 [д а н е х о ч у и х и м е н а и ————— з н а т ь]
 к а к о й - т о к е с а р ь с - п р и Г - ` ш у У ` - у р (|) - о м — - и з г л а з
 х о т я И в е д а я ч т () л Е С — = = д ы Ы -) (- а н ь Ю — = =
 с п А S

л е - е н и и в о т а к н а д е р е в а г л я д и т 

с и л л О г о в о р и т  і а г н ю - ж е р т в е

[в О з р я С ь з р а ч к а м и - б Е л ь М а м и — к Л у н Е]

зачЭм здЭс лэс]> та-А-к()Й не нужен мНЭ

---и---р а З -- беЖА-- лись--- -- -т[]П[] РЫ

пQ

сКл[]-->

нам

ХрАм()в(й

г () Р Ы

рубИли стрQг[]--<[вЗ > МАХ---[>С<]

ПлечА

у-Ухватк[]й хватк[]Й палачА

>

и

жИЗнь

дЕрЕвьЕв

по`лег-

ла

^=А=^

==п[]Д#нЯЛИСЬ==

крЕСТЫ

в==МОЛITВЕ к Н е б у==



ся

в()ЗН[]==^==

іврітские черТЫ

и среди ниХ t 0 t Звёздный Крест

к=====Г0ЛГ()ФЕ во-Q-QлQк---лI

каменьями секли==на жертвеннQсть
веееліііі

на свете мноГО есть чудес

но

лішь

одіН

сеЙ

ПесаХ]=[Крест

Л ю б (>|<) в Ь Ю

нарекли

так()Й

ЖИВОЙ

==тяжж[]ЛЫЙ==

КРЕСТЬ

Куп(Л) ЗвУкА в нЕбеСА р()СТЁТ і Память СЛУХА іЗ Б—Г(\\)УХА
 УшАсТыМ БукваМ переДАёт i Імі ' [д] ' Ж заЖиво ды-Ымясь
 и умирая и родясь сДВ()ЯСЬ с пылающим ХрІct()М
 по нОтным генам Хр()м()с()М п()ЁТ нам БаХ()вскІй ПСАЛ()М
 мОй Д()НКІХ()Т Одн()й РуК()Й с ШИТ()М РОДНЯСЬ в Д()СПЕХИ КЛОУНА
 рЯДЯСЬ и за-АдЫХ-аясь От мОльбы=взЯВ РОсинанта под УздыІ по стёртым
 К л А в И ш А м С у д Ь б ы с А м Д О N К u X O т в б е з у м е Л ю б в І с е б я в л е ч е т
 в Д р у Г () Й Р у К Е С в е ч У в е н ч а л ь н у ю н е с ё Т = () н а і з М е н Ч и в () г () р и т
 и М а з Л Т () В = м О й П р о м е Т е в с к І й () Г () Н Ь с а М () () Т В Е Р Ж Е Н Н () Х р а н и т
 б д и т и н а А п л ы = Ы в а е т ж а р к О й к р о в ь ю с л е д = н а = с л е д п о с т р () ч н О й
 Ч е р е Д ю в Q л () ю з а в О л н () ю В С Е А Л Ф А В И Т Н Ы Й Б р Э (н) Д ш е е п ч А
 з а м а н ч І в 0 в А р е н Е Ц и р К 0 в О й с р 0 с т а ю щ е й с т у Г О й Б и Б л е й с к О ю П е т л ё Й

ЧтО оставляешь странник за собой чТ() сам чуешь смертный
 над Землѐй] в ОРБУТАХ К()СМОСА с Пр()р()Каму к р у ж А с ь
 РУКАМИ Мельницы пустОй пQ вQЗДУХУ разМашистО Крестьясь
 и в нѐм до самОй Сути Сердца ОгОлясь>сМеЯсь пред ЗерКал()М
 ВелиЧуем Сомненья<=>ЧТ() ты пы-Ы-ытАешься сим б у к в а м
 переДАть ГриМас(^)[]Й б()ли и ТЕРПЕНЬЯ
 неУжт() МуЗыкУ КрЫлатОГО
 ПА деНья

дабы вернулись к буквам вРемена когда в мОрщИны ВОлн сжІмал() сь Время
 раз да в себя всяк сущим поколениям и кт() ниС
 ходит к нам

как С в е т С г О р е в ш і X З в ё З Д

так Песнь Любви п()ёт Др0здохе мёртвый Др()зд[п0Кинув Землю=род(в)Ой
 п[]Г[]ст
 і в т()й же Музыке п()Эт и ты речѐшь свІвая б у к в ы в Істину и Ложь иб0
 недаром говорят прІ Т()РЕ мудрецы наземные спецы=Есмь= Правда правды
 и Правда лжИ==и на В е с а X СуТЬбы к[]QлеБлется иX Суть как ртуТЬ
 в Терм()метрЕ= и=()кЕАна ГрУДЬ взДЫМАЕТ СерДце ПращУр(в) КА
 ЧеЛи в ДрУГ Правда прыГНЕТ в ВЕРХ [А за спиН[]ю =Ложь] и пробежит
 по телу тQком дрРожь –и тольк0 Тень леегіит на прАведных КА=че=-ЛяХ
 а на Земле в Ответ по разД[]R()жью лЕТ скQользит лишь МаятникА с л е д
 рас—к([Л() t-ты-й З а в Е t== тАк чТ() ж

в жизни - ЖІзнь
 а в смерти Смерть

глухая крУгОверть==и Нічего уж с Них-т0 вроде не возьмѐшь-пока живѐшь
 І всё же Сердце слышТ как з()вѐТ с неп()стїжИм()И выСОТЫ пре()браз
 жѐный в Requiem Небесн()Н()тный Св()Д=и этУ Песнь Песней с за()блачных
 п()лей снїжаясь к нам по пелене дождей по в()здУ()у м()рей неСѐт лишь
 Т()Т в К()М прАгенетическі живет как б у к в ы в БУКВ()РЕ поЛѐт




і

І в()СКреСАют с Чудом СОТВОренья К()рЯв()ой КнІги смутные
 мГн0венья АкК()РДНЫЕ т()лЧкІ рыВ-Ку СерДце=беНья

и вн()Вь п() рУслаМ веН пУЛЬС ерУеу судЬБА
 зане пред Б—ГОМ верная раБА== она пок()рствУя СуТЬБЕ
 земные принимает рОды==вQзвратный сменный Дар обман
 чивой ПрУрОды==и слЕдом ей во слЕд в СеЗАМ ушедших
 лет сТрУится ісТЫй с в е Т == п()ЭзІі Скелет== мОрзянка S()S
 шутА== и вот т()Гда в ()твет иЗ выЫр()СШЕГО С Н А
 в меня

ІЗХОДУТ Т()РА = свЯщЕнный ДуХ на Язык()ГНЯ
 прАд()н()рская крОвь в За-Умь БУКв поверившІХ в яЯ
 І бережно влЕчѐт іЗбрАн()г() Агнца в ()тКрытые В Р А Т А
 уТр()бн()Г() прІзванья

в ДАЛЬ  Озарённого Святилищем Свиданья  к Рождественск 
Звезде

Послушнице небесного П()СЛАНЬЯ
 вы вслушайтесь в Нег() здесь в каждой буК в е ст(ОН скв)озь
 звОН времЁН звУЧИТ наБАТОМ в ГАММЕ Прор()щанья
 с()крыт()ГО ВСЕЛЕНСК()Г()  П О З Н А Н Ъ Я
 и я леечуу в Ег() пр()СТ  Р Начала і К()НЦА
 и снова слышуу свой вопроС в ()твете Мудреца м()лящег()
 прот() ж Природу и Тв()рца= Ашт()! быть может смысл
 жизни на Земле=так()й же как і ПуТЬ нейрон() в Мір() зданья
 в Свиданіи Пр()щанье

в ()твет==ТАБУ==т() бишь Молчанье
 хочу насытиться творящей Тишиной



в Храме Сердца
 бьют
 КО^Л()^К()^Л()^А
 рАС^КА^ЧИ^ВАЯ
 связь

Добра и Зла
 і пов()оряя зв() N() M ЗАКЛ()НАНЬЕ
 Люб()вь== неизмери() а
 н() равна== Библейск()й ВЕРЕ мер()й S()Странья
 Испей из ЧАШИ эт()й КругОвой и ты почувствуешь душой
 ТЯЖЕЛ() ВЕСН() ЗРИМ()
 Ррыдающий  приБ() и вдруг замерзший пред Іс()ноу прот()й
 НЕ У М () ЛІМ() И
 НЕ () ПР() ВЕРЖИ М() И

З В У Ч Т
 уже ЗвучАт в()сюу К() Л() К() ЛА Небес()го П() СЛА
 НЕ() СТАН() ВІМ()
 н() ты () стан() в()сь! прижизненно я-ты в свой ДНК в()глядись= () Б-же!
 эт() ж я - не я а вся сам() Иронія Ізвечного Жидакот() р()г() сейчас

Земле в() Спас
 ВеЕдУууууТ в
 пасХальный Вечер
 здесь пред СвЯТыНяМІ
 чадят скупые свечи


а
 позади
 на

ПАперти
 прилюдно - да судьям неп()судно бо
 вроде б і абсурдно - безн()гий шутит
 шут всю жизнь влюбляясь в НОГІ тех
 кто по дороге в 2-Х призрачных его
 ЗрачкаХ раздолисто  ду т=>из них-то буквы-странники
 пр()п()йці и Ізгнан() Ники к самим себе  реку

и в вёдр() и в ненастье=====
 пр()х()дит мимо СчастьЕ

да люди поспешая Соль шутКІ не поймут а скажешЬ=засмеют

І только НЕБО неб()М ()БНІМАЕТ Землю и приближает души==к
 Млечным  S() S  цам Звёзд

І
 НОШЕЙ
 ЭТОГО
 пр()р()сшег()
 ввысь ЛБА
 Г() Р Б А  Ур()дств()м жизни Одр()вшег()

РУСЛАН НАДРЕЕВ

От редакции: публикуемые в авторской редакции и последовательности развернутые цитаты-фрагменты из романа «Крылатый Аёвун» принадлежат перу Руслана Надреева, писателя, относящегося к старшему поколению русского литературного авангарда 1980-90-ых годов. Известно, что Руслан Надреев (1964-1992), печатавшийся под псевдонимом Руслан Марсович, был родом из Уфы. Будучи студентом Литинститута, в период жизни и учёбы в Москве, имел своего литературного секретаря. В годы, когда это стало возможно, занимаясь бизнесом. Умер при таинственных обстоятельствах, скорее всего — был убит. Кроме «Крылатого Аёвуна» существовал роман «Спокойнее», сборник «Первые пятнадцать жестов», эссеистический очерк о картинах Виктора Вана «Большое время», был также рукописный совместный сборник Надреева и малоизвестного тогда Владимира Сорокина «Памятник-путеводитель» и другие своеобразные тексты.

Явление «арьергарда» всё настойчивее входит в кругозор современной эстетики, уставшей «реалистически» совпадать с реальностью и «авангардно» опережать её. /.../ Авангард усиленно выдвигал новую форму, приём, жёстко упорядочивающий материал в заданные экспериментальные конструкции: так было, когда век рвался вперед хищными бросками, Теперь, на грани истощения, издыхания, он ценит искусство аморфности. /.../ В эсхатологической перспективе почётнее — и эстетически продуктивнее — быть не первым, а последним. /.../ Тот, кто окажется последним, займёт место Истины, место Конца. Проза Руслана Марсовича не поддаётся каким-либо жанровым определениям. Это просто проза — поток письма, в который можно войти и дважды, и трижды, ничего не узнавая вокруг — как будто с каждой фразы она начинается — сначала. Каждый волен перетасовать колоду, прежде чем приступить к честной игре понимания. С точки зрения этой вольной, непредумышленной стилистики, пронумерованная страница — всё равно что меченая карта: заранее известно, куда её надо подsunуть. И такого рода шулерством была вся предыдущая литература, в которой листки раздавались читателю по намеченному плану — жизнь растасовывалась опытной рукой, в порядке «сюжета» и «композиции», чтобы автор мог переиграть читателя и внушить ему своё представление о жизни, свой эстетический «новый порядок». Новейшая русская литература больше всего боится именно этого предумышленного порядка, который железной рукой загонял бы читателя к счастью верного понимания, к счастью великой идеи. Над прозой Марсовича, разбитой, в соответствии с заглавием, на сотни «призм» и тысячи «кинокадров», бродит призрак посткоммунизма: история прекратила течение своё, её позвоночник — сюжет — распался на множество позвонков, как в стихотворении «Век» О. Мандельштама. Конец века. Вместо твёрдолопного и жестоковыйного хищника — нежные мурашки, мельтешащие в разные стороны с лёгкими, взлохмаченными пушинками смысла в каждой фразе. «И руки тянутся к шариковой ручке, и ручка снова и снова рисует в блокноте “фигу” в разных ракурсах». Эта фигура — искателям смысла и поучения; и шарик, легко перекатывающийся в этой ручке, пародийно вытянутой из пушкинской руки, более всего похож на ртутный, разбивающийся мельчайшими дробями. /.../ Где ванна, там и хлорочная вода, где бассейн, там уже и море. Где вода, там чаша, стекло. Где стекло, там осколок, боль, а значит — шанс на бессмертие. /.../ Движение от концептуализма к арьергарду — отступление в тыл истории. /.../

Если авангард стремился взорвать систему правил, то арьергард избавляется от них менее энергичным, более экономным способом — возводя в правило каждое словупотребление. /.../ Арьергард отступает к самому языку, старается не говорить больше, чем говорит сам язык, — и поэтому делается могучим и свободным. /.../ Современная «авангардная» литература — рыхлое «перекати-поле». Не нам ли, арьергарду великой армии, суждено воткнуть в неё копьё? Кажется, Марсович прав — все современные формы речи стремительно откатываются назад, в язык. В арьергард откатываются все литературные части, уставшие от боёв за передовые идеалы века, уставшие даже пародировать и передразнивать эти идеалы. /.../

Михаил Эштейн



КРЫЛАТЫЙ ЛЬВУН

авторский подбор фрагментов романа

Жил-был львун. Говорю тебе – жил был львун. Я говорю тебе спокойно: «Однажды когда-то жил-был обыкновенный крылатый львун и было у него четыре ноги, хвост и два крыла». Однажды в январе львуна отвели в ясли. Побыл-побыл львун в яслях, пожил-пожил в январе – и устал: холодно, грустно. «Что ж ты, львун, плачешь?» – удивилась воспитательница и тихонько ущипнула львуна за попку. «Как же мне не плакать?» – спросил львун. «Что же ты, маленький, грустишь-печалишься?» – удивилась воспитательница и дёрнула львуна за пушистый хвост с кисточкой. «Как же мне не плакать?» – спросил львун. «Или не мил тебе наш зверинец?» – удивилась воспитательница и начала царапать улетающего львуна когтями. «Как же мне не плакать?» – думал львун, улетаая в дальние страны, поднимаясь в самое небо, обдирая колени об кору зверинского дерева.

Шёл мимо январь-воевода, увидел дерево большое-пребольшое, увидел на дереве маленького крылатого львуна, увидел под деревом львунскую беду – зверинскую погоню. «Что вы, львунские лапы, будете делать теперь?» – спрашивает январь басом. «Будем мы львуна спасать – охранять» – отвечают четыре львунские лапы. «Что вы, львунские крылья, будете делать теперь?» – «Будем мы львуна спасать-выручать» – отвечают два львунских крыла. «Ну а ты, пушистый львунский хвост с кисточкой – что будешь делать теперь?» – «За ветки буду цепляться, львуну буду мешаться – схватит львуна погоня за хвост – за кисточку». «Слышишь, львун, – говорит январь басом, – отдай ты мне свой пушистый хвост с кисточкой – погубит он тебя». «Уж лучше сплунуть в стуже лотой!» – отвечает львун: «Не отдам пушистый хвост, не отдам с кисточкой!» Делать нечего – пошёл январь басом своей дорогой, а воспитательница – своей. И остался невоспитанный львун на дереве, в тёплые дальние страны – не улета, и сегодня живёт, хлеб с маслом жуёт, пушистый свой хвост в небо макает и нам в зверинец рыбу бросает – всё по рыбки, да по рыбки, всё по рыбки, да по рыбки: «Ловись слово большое и маленькое!».

Трудно жить в январской стране, трудно втолковывать слова в медные уши, трудно продираться сквозь заросли и решётки. Но лучшей доли львун не искал, а родители сказали львуну: «Володя» и отвели львуна в ясли. Когда львун шёл утром в ясли, рядом с ними бежала простая собака. Концентрическими назывными кругами раздвигался мир к родительскому смыслу и львун знал, что в яслях есть ещё один Володя – который не львун, но ведь львун – Володя: и как же им жить? А был ещё Володя-певец (гитара) и Володя-вождь (индейские перья). Львун не называл собаку Володей и собака львуна любила, и съедала по дружбе половину противной сосиски, спрятанной за львунской щеккой. Когда львун подходил к своим январским яслям, ему становилось «печаль моя ясна» и мамина сказка о волшебнике-пионере обрывалась на самом интересном, и собака прощально махала хвостом. Воспитательница щёлкала бичом: «Здравствуйте, дети». Ряды ящичков с нарисованными фруктами и ягодами всхрапывали и били копытами больно. Львун аккуратно складывал свою шкурку в деревянный ящичек с двумя вишенками и стыдил его: «Ты же не живой!». Приходил Володя – не львун, приходили другие – девочки, дети, мальчики, ребята.

Львуна проталкивали в столовую и он видел грустную кашу, которой и самой было обидно, что её заставляют лезть в львунский рот. Львун смотрел на кашу задумчиво и говорил ей, что она не виновата, а когда воспитательница кричала, что нельзя ничего оставлять на тарелке, львун порой спасал кашу в своих карманах, а порой долго сидел за столом и каша терпеливо смотрела на львунскую щекку, где кашин ребенок сидел – тихонько.

Львуны не едят кашу, львуны не пьют кисель, но особенно львуны не любят кушать разных зверушек, которых ловят и жарят специально для львунов – в январе.

[...]

Другого такого странного города, как Полонец, наверное никогда и не было. Сам воздух был здесь заражён, заряжен чем-то, что, как радиация, проникало и во дворцы необходимого начальства, и в хижины обывателей. Здепнее население, как и везде в Империи, благоденствовало и процветало, настраиваясь на задаваемую вышней администрацией волну, но было в поведении и в самом характере его, полонецкого населения, что-то, что оставалось неразгаданным все века полонецкой истории. Дело в том, что полончане не умели жить ровно и одинаково. Они как-то особенно таинственно, без специальных циркуляров и уложений, начинали то вдруг дико радоваться своей полонецкой жизни, то так же безгранично тужить – без всякого на то повода или, тем более, приказа. Странный они были народ.



... В этом городе не строят выше двенадцатого этажа. Официальная причина – сейсмическая обстановка, но и строители, и обыватели знают, что 13 – «незья», 13 – это кулак луны, гром, молнии – и сквозняк. Если бы даже его построили, там все равно жили бы – лишь вурдалаки и самоубийцы. Ступить с 12-го этажа вниз – к первому – это так же естественно, как из декабря ввинуться в январь, – и никому не приходит в голову. Но на 13-том – так оскорбляемая душа поселяется сразу же – и зыскует, и чешется, и бьётся. Как оскорбляемая? Где поселяется? На крыше, на крыше – жила и живёт Она, которой мы с детства находим тайное имя... Ничего, ничего – молчание?

Полонец – требуют наши сердца.

Полонец – требуют наши глаза.

Мы начинаем движение – в Полонец.

Начиная мастерить Володино детство, мы особенно интересуемся опорными точками, узлами. Львун Володя, чтоб вы не забыли, – наша литературная персона, герой племени; короче – тип, типчик. Пользуясь случаем – пожаловаться, как всякий акселерат, Володя худ, длинен и норовист.

Например, герою положено быть обобщающим: Хорошо. Так ведь Володя довел это безобидное требование до абсурда. С раннего своего детства, – неблагозвучного, хотя и литературного детства, – Володя был одержим идеей стереозрения, для которого – извольте видеть – нужно побывать во всех местах, как чистых, так и грязных – одинаково...

Текст становится львунской жизнью...

Львун смотрит на то, что львун видит...

Хочу рассказать тебе, хочу двасказать вам...

Принимаясь моделировать ранние львунские впечатления...

Как утомительна – для тех, кто понимает – эта необходимость, эта неизбежность окончания каждого начатого предложения. Ведь каждый раз, когда с важностью надуваешь щёки для общепринятой речи, для по-вест-во-ва-ни-йя – получается конфуз, сбой и невнятный пшик – бормотание о самом языке, сплошной откат к предыдущему: и мерцающий герой и мерцающая тема.

Из манифестов – полистилистов и неопримитивистов, аллюзионистов и презентивистов, метаболист и метаморфистов, экоцентристов и лаконистов, читателей, мистификаторов и психодиллических нонконформистов:

ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА В МОЁМ ЛБУ!
ЛЕЙСЯ, ЛЕЙСЯ, МОЯ ЛЬВУНСКАЯ ПЕСНЯ:
ныне отпускающи!

[...]

Сказано: «Великая истина – это та, чья противоположность – тоже великая истина», вот почему в наше время так трудно митинговать и манифестировать. Постарайся запомнить одно, а потом вспомнится – совсем другое. Встретишь на улице человека с таким же, как у тебя плакатом «Я!» и скажешь с ним хором: «Мы...» Даёшь, мол, – единство! – но и автономии – тоже ведь не мешало бы, словом: «держай, но по временам мужайся и отдыхай!». И вот, прежде, чем написать слово на заборе или в журнале, приходится писать свой манифест, а если не хочешь быть – как объявление «Продам» – пригвождённым к столбу – позаботься об амбивалентности – будь валентен и 7 и 13. Все публикуемые ниже манифесты принадлежат группе моих товарищей – вот почему смело подписываюсь под каждым из них: «Львун лапу приложил».

Эклектики (из манифеста)

Мы пишем для новых читателей. Нельзя читать по-новому, но писатель может предложить свой принцип организации матерьяла и если этот принцип – хаос, эклектика, то мы вспомним Тёрнера и предположим, что, подчиняясь наиболее общим законам, сам текст, как живая самоизменяющаяся систе-ма, перейдет от полного «коммунитаса», открытости – к жёсткой структурности, в воображении читателя – даже на бумаге.

И мы считаем однолинейность непростительным для литературы грехом, и мы не позволяем себе навязывать читателю концепцию в том виде, в котором она существовала донныне, т.к. хотя сама Эклектика и является, безусловно, концепцией, но – наиболее древней, наиболее близкой к природе (вещей).



Чтобы вспомнить что-бы-то-ни-бы-ло, львун представляет дом или улицу, где «это было», и каждый раз удивляется: совсем другой масштаб и везде – развешенные запреты: эпоха «нельзя». В доме львунской бабушки по отцу были разновеликие – в разные времена – полки с книгами и подоконники. Когда боро-датыый львун будет стоять у окна, удобно положив руки на подоконник, никто не увидит в глубине боро-ды маленького львунчика, карабкающегося через стул и батарею – к окну, никто не поймёт, как нужно было успеть до прихода бабушки из магазина – вдоволь насмотреться вниз через открытую форточку (нельзя!) и даже сам «борода» – вряд ли вспомнит, какие книжки пятилетний львун таскал с далёкой за-претной полки. В доме львунской бабушки по матери был большой, как солнце, рефлектор (нельзя подходить!), раскладушка, на которой львун слушал бесконечную сказку про колобок и сообщения какого-то угрюмого ТАСА (нельзя прыгать!). Ещё в одном из этих домов был телевизор, который львуну нельзя было смотреть на ночь и в одном из домов была труба, по которой нужно было постучать три раза, чтобы пришла соседская баба-яга, тихая, светлая, без единой запомнившейся черты; чтобы она при-шла, эта интеллигентная баба-яга и начала рассказывать львуну страшилки о непослушных, где прихо-дили в гости утопленницы и девушки-вампирёнки, где путешествовала по ночному кладбищу ведьма с отрубленной рукой, но где самой загадочно – страшной была русалка, которая «на дуб лезла и кору грызла». Львун никогда не узнал, зачем русалка делала то, что делала, но зато понял, что может управлять страшными старушечьими чудесами, видя внутри головы ещё большее – собственное чудо: «Я вчера ездил на втанке!» – «Мне завтра подарили кучу оловянных солдатиков...». На трёх своих ногах приходи-ло «нельзя». Львун возвращал двоюродному брату солдаток украденной армии. Львун бросал свои танки в песочнице и бежал, опасаясь обкакаться, – прочь. Но зелёные русалочки яблоки делали своё дело и, температура, львун видел на стенах солдатские ряды, оловянно и молчаливо марширующие в потолок, а с потолка – нанкосок – к его подушке начинал своё движение огромный колобок, от которого бежали все звери: «ка-а-атится колобок, ка-а-атится!» – и телевизионные плоские люди исчезали под колобком, хотя колобок и не двигался, но земля под колобок уходила, а львун лежал наказанный в углу и колобок всё начинал своё движение в львунскую сторону, одновременно стремительный и неподвижный: «нель-зя».

Восходит только тот Марс, которого не проспали мы сами – с усами: не мразь – негодяйство, не мразь, и не горемыка – воин. Но честность, но мужественность – без барабанов.

А в армии, там – сплошное геройство, в полный рост: и первый волосатый кулак по губам – без возможности ответить, и первое изысканное оскорбление – без права защиты. И неизбежные цыпки и отмороженные пальцы, и вечный бой – за место в столовой, в машине, на плацу. Её за место под солнцем, а за место в тени – борьба за возможность побыть одному – хотя бы час, хотя бы минуту. Через бесконечные полгода – когда перестанет сниться сестра с голубыми глазами Волги, когда не станешь «стучать» и командовать, когда начнешь сидеть в библиотеке и на «губе» – автоматически превратишься в «плохого солдата» и будешь мучиться этим и даже обещать командирам исправиться, но потом, на студенческих тусовках, вспомнишь свои злоключения не без гордости.

Погоня, бегство: шёл по книжной строке; впереди мечталось лицо, её лицо; назад звали одноклассницы – лень, ложь, жадность.

Погоня, бегство: бежал вверх, схватывая на лету книжную премудрость и глупость; в глазах её, как в зеркале, видя тех, кто мчится, кто скачет.

Погоня, бегство: чужие кони мчали вверх по строке, – в руках билась пустота, а волосы, её волосы – развевались против ветра.

Бегство. Погоня. Возвращение к себе, в школу. Пустое чёрное зеркало: «Остопятидесятилетило!».

Почему всё сложилось не совсем так, как мечталось в армии? Совсем не так. Абсолютно по-другому. Потому, что армейские ботинки плюхали по асфальту бестолково и жалобно. Потому, что на обратном пути, в пару, потемнело в глазах и сбилось дыхание. Потому, что на следующий день будильник не зазвонил и Вова встал к обеду, покушал суп с котом, а потом... потом сидел в кресле и думал, почему? – почему всё сложилось вот так?

Ли-гляди-погляди, Кот Котонаевич, смотри: зарыдала, запылала береста – заскакал на трёх ногах кот. И не спасти свиток и падают зыблики, и замерз-озяб кот – серый лоб. Не уйти ему от дуба – не спрыгнуть с цепи: не львун ведь он, не львун, а полосатый котенок. Аника.

Нас называют «построkersы», нас называют шпаной..., но имя нам – арьергард и двенадцать ударов будут говорить об одном, а тринадцатый – кто предскажет?

Мучительно: вспомнить. Ведь и ты, брат, считаешь, что я неправ и виноват, неправ и неправ. Лимитчики, татары – мы рвёмся к причалам, мы рвёмся к теплу. На декабрьском белом снегу мы видели ключ – и откатываемся теперь, и возвращаемся домой, и стонем от удушья: «Я знаю, что будет потом. Да, я знаю, что будет потом».



Старшие братья скандировали «Дайте!», но не догадывались протянуть руки, а мы отступили – не для того, чтобы дальше прыгнуть, а – чтобы обойтись без прыжков и гримас, обломов и пролётов. Ведь мы шаманили в (/) месте, призывая «новый тип эстетической деятельности», но вот пришло время стать истопниками и каменщиками – кто вспомнит молчаливые дни с их сыновьями, если не месить голыми ногами глину прыжковой ямы?

«Них» – скажут презренные потомки и отвернутся. Мимо них – не сделавших шаг, не поднявших ключ. Них!

Из манифеста «построкеров»

... рок для нас – словарь фразеологизмов, которые можно использовать, не оговаривая автора, и у любого человека – в возрасте от 15 до 35 возникнет целая цепочка ассоциаций и хороший смысловой пласт, закреплённый звуковым и зрительным рядом. Рок-оперу с её возможностью совмещать в соседних пьесах сатиру и лирику, жаргон и патетику мы считаем наиболее адекватной сегодняшнему, наиболее концентрированной формой подачи мировоззрения. Итак, мы за то, чтобы осмысливать прозой все то, что за последние 10 лет было спето и продекламировано...

«Взгляд вперед – два взгляда назад» – мы жили по-соседству. Детский мой лес – тебе ли называть его маленьким запущенным садом? Детский лес – вдруг выскочат бесы и лисы. Детский лес – растёт вместе со мною: так же серьезно и значимо всё, как... два взгляда тому назад, когда у тебя был свой лес и я не знал о нём, и ветер склонял мои худенькие рябины вдалеке от твоих – вдалеке. Когда всё случится, как случилось уже – куда ты пойдёшь? Никто не знает, что такое «Киров», но куда бы, когда бы ни – ты всегда будешь достигнут длинной улицей, бегущей то вверх, то вниз. «И лицо её будет заплаканно...». Ну да, – откуда ты знаешь? – А ещё, ещё там будет река, и когда улица ринется ей навстречу (бесшумно, так как здесь ночь), когда горизонт потечёт по бровке асфальта (безымянно, потому что темно, потому что никто не знает что такое «Киров»), когда схлынет, как сон, угрюмый асфальтовый поток и заспанная земляничная физиономия сморщит нос – и кашель грома спросит у нас: Что будет тогда с вами? Что будет тогда? Что будет? – Небо этого дня как рука Чюрлениса, протянет нам одну – единственную, нашу звезду. Мы увидим друг друга, брат брата – и я расправлю плечи и бороду, а ветер надует мою рубашку, как одинокий, как алый, как парус.

Но потом всё случится, как просили, как разрешили: «Эх, загу-загу-загулял-загулял!» – потом ты продолжишь свой путь к остановке трамвая на улице Кирова: «Парень молодой-молодой!» – когда-нибудь потом произойдёт всё то, что случилось уже: «В красной рубашоночке, бардовенькой такой...». У бригадира строителей будут руки буржуина из «Вишневого сада», у бригадира строителей будет волосатая пылающая грудь под красной робой, у бригадира строителей будет твоё лицо. А твоя бригада обнесла уже двор нашего детства – забором, а твоя бригада жила-ждала в бараках – вагончиках, и в твоей бригаде не могло не быть каменщиков внутреннего детского дома, – откуда же здесь мелкий кустарник и площадь – имени Кирова? «Мы разгребали мусор и грязь, мы не знали, что будет потом – сквозь наши низкие небеса прорастает детский лес – стройный и корабельный».

И понимание вас, о светлые дни Большой Тусовки, не даётся в руки, не попадает под зуб. Воспоминанье, вас поминанье, – как сказал поэт – «вот и все, что было». Но какие же сладкие песни! Какие репительные жесты и красивые планы! Каждая наша девушка мечтала разродиться земным шаром, каждый мальчик твёрдо знал, что скоро, очень скоро, что скоро, очень скоро, что скоро, очень скоро, что скоро – он будет жить на солнце... На пороге, на переломе, на перекресте – мы спорили об общественной пользе и знали свою сторону баррикад.

Парк возле нашего дома всегда был излюбленным местом свиданий, тусовок и драк. Детскими кумирами были Третьяк, Гагарин и хулиган Кузя из второго подъезда – первые, лучшие самые. Двор наш был местом крупных дискуссий и тополиная метель не справлялась с восторженными, со злыми глазами, не забивала открытых ртов. Но всё это – времена Детства, Академии, Тусьни. На месте импровизированной академии – теперь чёрный рынок, его потные руки; и тополя – в синих шапках, и метель маскирует кольцо милиции, и снег покрывает невзрослых детей.

А моё время болеет митинговостью,
а мой город предсказан баррикадам,
а вы все спрашиваете, почему я пишу анфас. –

Обстоятельства жизни всегда неповторимы, но наша – обещает стать уникальной: мы вдруг оказались без прошлого, без творящей руки, хотя и прожили детство в легенде, в сказке. Мы вдруг оказались без будущего, без светлого «коммунитаса» – хотя бы для внуков. На перекрёстке времён, на кресте настоящего – мы стоим обнажённые сознанием своей внезапной наготы и празднуем свою катастрофу, и верим – в своё сегодня, и: гори, гори, моя звезда в моём лбу; лейся, лейся, моя песня невинности – невинности; накапливайся, накапливайся, пыль в дедовских башмаках, да в отцовских простынях: и вчерашний закат,



и позавчерашний чай – опыт посева зубами дракона: кровь новая бурчит в нафталиновых мехах; новое вино стекает по усам – на шубы; листья новые поднимаются из земли – по ветвям, – по коням.

Так что ж, я начинаю...

Вот подожди: час-сей-час я стану угрюмым творцом, и горестные путевые заметы начнут разматываться неспешно, чав-вели-чав-о. Них!

И как же я осмелюсь? И как же я начну? 2000-1989 – вот двенадцать лет – вот время, когда буду говорить вам слова, когда буду в ваших глазах видеть себя отражённым – вот двенадцать зим. Не нужно пробора в волосах, не нужно тысячекратной мозаики: сквозь метель мы знаем – 12; мы чувствуем – 12; мы видим ясно: Возмездие.

И машины станут поливать Садовое – молоком, но злосчастье поселится в нашем доме и станет махать когти в кисель тротуара, и станут бить Куранты: Г..ройка-семеркат-рой-касемеркт-ройка-семер-ка...» – и тузы Василия Блаженного потеряют объём и плоть – соски медведицы, вскормившей несчастный тринадцатый Рим.

Последняя птичка-галочка великой стаи. Отметка в Книге посещаемости: были, пили, текло.

Из манифеста «монтажников»

... Символом современного искусства становится Монтаж. Каждый живущий сейчас и здесь видит в окне одинаковые вещи, решает близкие, почти похожие проблемы (чем более «здесь» – тем более похоже). Собственная физиономия проявляется лишь в акцентах, лишь в способе компоновки увиденного, короче говоря – в Монтаже.

Остановиться на этапе сбора впечатлений и наблюдений – значит остановиться до начала настоящей работы, до искусства. Всё, что написано человеческой рукой, оправдывает своё включение в текст лишь работой на общую идею Монтажника...

Когда львуну пытались помогать и способствовать, он раздражался и рычал: «Я сам!». Когда львуну долго выдерживали в шести стенах квадратных комнат, он говорил «Я посёл» и смеялось эхо: «Наш посол пошёл!». Когда самому львуну начинало казаться, что он уже большой, зубатый и взрослый, обязательно появлялись оборотни и львун неизбежно соскальзывал, ломая ветви, вдоль детского своего дерева, которое едва-едва начинал различать сквозь наитие, соскальзывал львун, не ломая ветвей, соскальзывал – то к корням, то к вершине.

Скрипи – скрипи, моя ручка – самописка. Волнуйся – волнуйся подо мной, сонное царство. «И вода-то спит, и земля-то спит, и по сёлам спят, и в городе спят». Одна лиса – купалочка не спит, львунским хвостом ворожит – то погладит, то укусит, то погладит, то укусит.

Ночует купалочка в колодце – смотрит лиса на звёзды. «Расти, расти львунский хвост, расти с кисточкой!». И пробивает львун городские этажи. И нравится львуну городское житьё-битьё. Пошёл сам посол: Бьёт купалочка посла по левой полужоппе, бьёт осла по правой.

Смотрит лиса на звёзды – засыпает купалочка в ванной. Таскает посол изо лба кишочки, да кушает. Засыпает львун в городском мате – ругани, да повторяет:

Уж ты носи меня, лиса, носи любимая,
от светлых тел, да от тёмных дел,
от высоких этажей, от чужих земель,
от дремучих девочек, от крутых мальчиков –
из тринадцатого царства, из тринадцатого государства».

И однажды вдруг вырвется львун из квадратной тайны, и никто – никто львуну не поможет – не способствует, когда примется он выдёргивать свои молочные зубки, – братьев своих ордынских, – когда станет он бросать их в кулак луны. Сосредоточенно.

...открывать в любом месте и читать в любом направлении...

В целом же, все достоинства и недостатки арьергарда проистекают не только из его способности впитывать любые ходы и находки как новейшей, так и древнейшей культуры, и не столько от ироничного подчеркивания своего – на сегодняшний день – «завершающего» места, а – главное, от предугадывания, предчувствия некой новой сверхфилософии, которая навсегда покончит с утопией поступательного движения заре-на-встречу и, одновременно, с концепцией Конца – во всех её проявлениях. Мы видим ясно, что такая философия с необходимостью включит в себя и науку, и политику, и проч. Найдёт завершение и вечное стремление литературы, особенно отечественной, стать «больше себя», не совпадая, в то же время с религией. Ах, славное времечко! Но постойте, ведь оно же – как Плюсквампортфель – никогда не наступит. – Ну вот, опять он со своей честностью. Ведь не наступит, не придёт! Но система-то



координат нам нужна же – скажи же? Да нет, не нужна. Бросать друг в друга красугольные камни – зачемзачемзачем?

«Кажется мне, что дальше всех, всё-таки, пойдёт тот, кто не знает, нет, не знает – куда идти, вот» – бормочет львун и с важностью надувает пушистые щёки. И вот – щёки его уже видны со спины текста, а львуна ещё нет. «Три сестры у меня да будет, три сестры» – Кто я такой?». С мешком кефира до Великой стены» – Ну кто я такой? «В Бобруйск ездил? Ездил в Бобруйск?! – Ах, боже мой, ну неужели я птица? «Гори, гори, моя звезда!».

Для скромного львунского замысла достанет 7-12 слушателей-читателей, но вот самих арберггардистов – «последних» – должно стать – не меньше орды, и не позже, чем завтра.

ОЛЬГА ИЛЬНИЦКАЯ

ВРЕМЯ СУНОК ещё одна история из жизни кога Платона

Платон не спускал с меня взгляда. Я проснулась оттого, что два золотистых солнца прожгли мой сон насквозь. Надев очки, поверх стёкол посмотрела в упор. Платон зажмурил глаза, а я забегала по комнате в поисках блокнота. Не написав ни слова, легла и отключилась внезапно, так же, как проснулась, – и опять почувствовала взгляд. Пришлось раскрыть блокнот. Текст пошел сразу, но на второй странице Платон стал подбивать локоть. Текст застопорился. Я поняла, что Платон возражает, но часть истории уже была записана...

Сюда просыпаться не любила. Это было опасное место. Мне приходилось долго сидеть на перекрестке улиц города, похожего на Барселону, но не Барселоны... До тех пор, пока не приходил Костриди с вечной фразочкой. Произносил он её с ухмылкой, и я не выносила этого:

– Опять вяпалась? И опять не отследила сбой кода?..

Ко брал меня за руку и вёл в ближайшую кафешку, заказывал пиво, а я уходила в дамскую комнату. В кармане рабочего хитона всегда лежал коробок, из которого вытаскивалась паутинка скорой помощи. Заменяв хитон на голубую туннику из тончайшего шёлка, в каких ходили местные, шла к Костриди. Мы обсуждали, как вернуть меня в лабиринт Альмаира, где предстояло разгадать тайну повторяющейся фразы: «Профессор, я всегда вспоминаю три жёлтых позвонка».

У Костриди проблем с возвращением не было. Его не клинило, и резьбу не срывало – он никогда не сбивал код. А со мной что-то было не так. С этим предстояло разобраться. И вдруг Ко спросил:

– А что Платон? Ты продолжаешь свиданничать с ним?

Я отвернулась.

– Думаю, дело в Платоне. То есть, в тебе, – поправился Ко. – Отключись, пожалуйста, не отзывайся и не корректируй. Ты должна быть здесь безвылазно. Не устраивай пробои времени и месту.

– А то ты вынужден будешь вставить в отчёт лирическое отступление обо мне и Платоне? Ты знаешь, для кого пишешь отчёты?

– Нет, – спокойно ответил. – Не имеет значения. Имеет значение только одно: есть ли о чём, и пишу ли я их...

В Альмаире, на высоком берегу Днери, я жила жизнью странной. Были дни, когда, глядя вниз, на город, видела Помилура, тренирующего своих дьяри. Дьяри на огромных драконьих лапах гонялись за его синей тенью, сами синие-зелёные, хлопая клювами так, что я отвлекалась от своего дела. В это время я обычно сидела на теплом ракушняковом полу пещеры и двигала взглядом, слева направо – и наоборот, магнитофон, иногда пытаясь его поворачивать. Поворот вызывал особенные затруднения. Не хватало выдоха. Обычно это было предзакатное время, золотившее всё вокруг утомленными за день жара лучами: горы, крыши города внизу, зелёные острова парков, ровное кольцо реки, обрамляющее город-остров... Солнце здесь бывало высоким и безжалостным, но к четырём часам сдавалось.

А то, бывало, доносились голоса из лабиринта. Я шла на них; неуловимые, они звучали глухо. Вот и теперь: «Профессор, я всегда вспоминаю три жёлтых позвонка»... И тишина. Голоса за очередным поворотом затихали. Никогда не удавалось настичь их. Думаю: из какого тысячелетия прорывались они ко мне?

Пещера, в которой я жила, как бы половинкой яичной скорлупы накрывала меня, и в этом домике я чувствовала себя комфортно. На скошенном полу, как бы стекающем к выходу, кроме пролвинировой подстилки и магнитофона у скошенной стены, стояли таз нефритовый, большой и тяжёлый, лукавой овальной формы, и высокий пластиковый кувшин. Проблем с водой у меня никогда не было – выливала из кувшина в таз, мылась, а потом нефрит оказывался пустым и сухим, а кувшин полным водой студёной, синие-зелёной и прозрачной, и так всякий раз. Я уже не заморачивалась думать об этом. Рюкзак лежал у выхода из пещеры, у более низкого среза «яйца» – всегда самоосвещённого тем предвечерним, как бы волшебным светом, какой наблюдала в Летнем саду Петербурга и здесь, когда солнце опускалось за Киросямой, далеко внизу отсветы его со дна процессора (над установкой его долго колдовал Костриди) фокусировались в моей пещере Джормидогери...

По винтовой дороге из города поднимался Костриди, близилось время нашего общего планового



времени – «нашей совместности» – шутил, как обычно, Ко. Он вошёл и хвастливо сказал:

– Видишь, вот, купил на ярмарке.

Я фыркнула: на обгоревшем торсе, могучем и всегда смущавшем белизной, а сегодня красном от возмущения солнцем, болталась чёрная со спины майка, серая спереди, в мелких цветах.

– Ко, это женская майка, ты всё время покупаешь женские майки.

Ко удивился. Поправил бандану – она тоже была в тон майке, графитовая с мелкими белыми цветами арукар.

– Наверное, у меня женская сущность...

Но я перебила, не дослушав:

– У меня получилось, Ко! Смотри внимательно. Я покажу.

И я сосредоточилась взглядом на том месте, где только что стоял магнитофон. Но его там уже не было. Ко стибрил его и, ухмыляясь, ждал, чтобы я начала возню. И мы ткнулись друг в друга, но Ко отпрянул, протянув маг:

– Давай, показывай!

– А по-моему, не до того. Тебя кефиром надо смазать, – поняла я, почему он вдруг отпрянул. – Больно?

В этот момент мы узнали, что уже не одни. Ко тоже услышал сначала покашливание и: «Профессор, я всегда помню эти три жёлтых позвонка»... И мы побежали на голоса.

Шли девятые сутки нашего внедрения во времена сунок.

...А когда я просыпалась на площадке, и прямо из моей пещеры выходила на угол улиц Берди и Крига, я знала: начались непредвиденности, сбой кода. Но проходившие мимо не обращали на меня внимания. За спиной я ощущала лабиринт, а вернуться в него не могла. Мне иногда подавали. Я не любила сюда просыпаться, это было опасное место.

Вот и в этот раз. Я просто сидела и ждала, когда Костриди отследит, появится и уведёт меня отсюда. И Ко появился. Но в этот момент я увидела на тротуаре кота. Костриди тоже его увидел и сказал:

– Донгралась! Что делать будем?

– Это не Платон, – сказала я.

– Вижу! Не хватало ещё Платона здесь.

– Ну, так зачем же что-то делать?

– Чтобы в следующий раз ты не припёрла сюда Платона! Ты подумала о хозяйке этого? Где ей его искать?

– Вернуть не сможем?

– Нет. И, кроме того, ты хоть одного кота в Альмаире видела? Это первый кот в этом мире.

И мы забрали этого пришельца с собой в Джормидогери. Но до этого предстояла обычная процедура внедрения меня в лабиринт через кафе. Как пронести туда с собой кота?

Ко вытащил из кармана коробок, из него – рюкзак, и бедный кот оказался котом в мешке. А дальше было новое утро, и я правильно проснулась в новом дне в пещере лабиринта высоко над городом Альмаир времени сунок.

В этом дне мы с Ко решили настичь голоса.

– Ты сначала вызови их, сконцентрируйся, – проворчал Ко.

Я концентрировалась, но этот кот... Он всё время мурлыкал, тёрся, ему жутко нравилась и пещера, и провинуир, который он драл когтями, но больше ему нравилось убежать в лабиринт, и приходилось его отлавливать. Он опять удрал сегодня в самый неподходящий момент, когда уже почти получилось. Только нам пришлось прерваться и идти не на голоса, а на поиски кота.

И мы дошли... этот странный кот и привёл нас к трем жёлтым позвонкам. Они лежали прямо под ногами, фосфоресцируя в мягкой темноте рукава лабиринта, достаточно далёкого от пещеры и на большой глубине. Кот сидел рядом и заворожённо на них смотрел. Через некоторое время оказалось: мы так же, как и он, сидим, и так же заворожённо смотрим. И Ко произнес:

– Так вот почему голос всё время помнит про три жёлтых позвонка! Невозможно взгляда отвести... Как же им удалось уйти от позвонков? Куда они ушли? Когда? И кто они?

– Думаю, мы никогда не узнаем об этом, – ответила. – Мы не сможем оторвать взгляда и задниц. Может быть, это были мы сами?..

– Не думаю, что надо так думать, – почему-то прошептал Ко. – Мы не могли бы слышать самих себя, и потом – я не профессор. Ты тоже. Смотри!

Кот, как бы охотясь, подкрался к позвонкам ближе – и вдруг начал скрести.

– Он закапывает их? – спросила.

– Нет, он откапывает!

Неожиданно почва как бы расступилась, и через некоторое время обнажилось продолжение позвонков. Кот откопал скелет. Находка очень не понравилась ему. Кот лёг рядом, и стало понятно, что пришелец – никакой не пришелец, а второй – в этом месте и времени. Мурлыканье превратилось в музыку печальную, хриплую и затихло. Они лежали рядом: застывшая меховая музыка – словно звук заледенел – и светящиеся позвонки. Скоро точно такие же три засветились среди густого меха... Мы замерли.

– Твой Платон маг, – сказал Ко.



– Это не Платон. Ай да я, – сказала я, – ай да сукин сын!

– Не примазывайся к чужой славе. Ты не Пушкин, не Платон. Ты существо с нарушенным кодом, и вечно из-за тебя мы попадаем в истории. Эта – странная и печальная. Пора возвращаться.

Но ушли не сразу.

Мы закопали его рядом. Время схлопнулось. Не было в Альмаире котов. Всё стало на свои места.

Отчёт Ко писал в тяжелейшем состоянии духа: «Мы давно преодолели смерть, и вот теперь – опять возвращение туда, где встречи с ней возможны. Это позволяет нам датировать с точностью до дня время сунок».

– О! Ты помнишь, когда изобрели вечную жизнь? Так я ставлю эту дату?

И он написал: «Время – Пасха. Вознесение Господне — переход, отмечаемый на 40-й день, в честь вознесения плоти Иисуса Христа и обетования о Его втором пришествии».

ВСЕ ДОМА?

Дикий-дикий виноград постучал ладошкой в окно. Выглянула. Сказал вопросительно:

– Далеко *за* полночь. Спишь ли?

Я не поняла. Спрашиваю:

– А ты кто такой?

Отвечает:

– Вся ограда в листьях винограда – даром, что ли? Я созреваю твоим теплом по ночам. А сегодня ты меня подмораживаешь. Почему не спишь? Не хватает мне твоего тепла. И погладил по щеке ладошкой.

Я лист схватила, прижала, не отпускаю, а он трепещет, шершавенький. Легла, свернулась клубочком. Помню запах его – пыльный, уличный, бензиновый.

Окошко на Новоаркадиевскую. Это трасса к пляжу в Аркадии – шумная, вонючая. Я ему говорю:

– Хорошо, что ты вьёшься за окном. Хорошо, что защищаешь. Только гронки¹ ведь не вызреют? А если вызреют, то канцерогенны будут. Разве тебя можно съесть? Ты же для другого растёшь. Ты кислорода мне даёшь, чтоб дышалось чисто и легко. Вот я сплю уже почти. Мне снится молоко, мне снятся кисельные берега. Тебе не обидно, что кисель виноградный?

А он усиком тянется, тянется из окна, щекочет ушко и шепчет:

– Дурочка моя маленькая, выпей свою речку молочную, заешь кисельными берегами. Я тебе расскажу, что будет после этого.

А будет утро солнечное, а в дверь тебе постучат, но ты не открывай. Затаись! Постучат-постучат, и уйдут. Вот и хорошо, что уйдут. По утрам не те приходят, кого ждёшь. Кого ждёшь, приходят *за* полночь. Я к тебе за полночь пришёл. Хорошо тебе?

А я ему говорю:

– У тебя усы щекотные. Меня укачивает от твоего бензинового запаха.

А он в ответ:

– Дурочка моя, никакой это не бензин. Это одеколон «Русский лес», никакие это не усы щекотные, это мои ресницы на твоей щеке отдыхают. Я полюбил тебя и не ушёл никуда. Вот и не открывай утром дверь чужим, а то войдут, удивятся, ничего не поймут. И всю лозу мою обдерут с твоего окна. Как я созревать буду? В каком месте окажусь? Куда ты своё тепло денешь? Кому отдашь? Посмотри на меня внимательно, глазки открой и посмотри. Ты знаешь, сколько тебе лет?

А я ему:

– Что ты всё дурочка да дурочка? Мне уже одиннадцать. Я тебе сейчас что-то скажу, если не забуду. Вот что я тебе скажу: я здесь целых четыре года живу. И все четыре года одно и то же ты мне говоришь за полночь, чтоб по утрам дверь не открывала, чтоб тепло тебе давала. Кто ты такой? Если ты виноград, то всё как бы понарошку происходит. Если ты не виноград, то почему щекочешь ресничками, усами колешься? Не мешай мне. Я сплю совсем-совсем.

Утром в дверь постучали, брат старший вошёл, длинный, с руками накачанными. Говорит:

– Где ты ночью была? Тебя нигде не нашёл, вернувшись. И окно открыто. Опять удирала? Куда ты удираешь? Тебе же не шестнадцать лет! Надо виноград срубить. Пора тебе домашний образ жизни вести, ты уже совсем взрослая девочка, а взрослым девочкам нельзя исчезать ночью из дому.

А я ему отвечаю:

– Что вы все со мной так странно разговариваете? О чём ты говоришь? Где это я ночью была? Я спала.

Он в окно выглянул:

– Посмотри, – говорит, – ты же листья повредила, когда лезла. Вдруг свалишься, второй этаж всё-таки! Я папе скажу. Я папе скажу, что ты каждую ночь удираешь. Вот уже четыре года. Ты с кем дружишь, кто ждёт тебя под окном?

– Виноград.

А он:



– Я этому твоему винограду ноги повывёргиваю.

А я говорю:

– Нет у него ног, у него только усы.

Он говорит:

– Что, намного старше тебя?

А я спрашиваю:

– Кто?

А он говорит:

– Ну, этот, что под окном ждёт.

А я хитро так сощурилась и говорю:

– А он старший лейтенант из артиллерийского училища. И зовут его Джамма Фардах.

А он говорит:

– Я тебе кто? Я тебе старший брат. Я тебе что? Я тебе серьёзно говорю. Если сегодня ночью ты спустишься с нашего второго этажа к своему Джамме Фардаху, я на окно решётку поставлю.

А говорю:

– Дурак ты! Ты почему ко мне в комнату, как к себе, вошёл?

А он говорит:

– Здравστε вам! Я вообще-то в этой комнате тоже живу.

И пошёл свой диван убирать. Вдруг швырнул в меня подушкой:

– Что, дописала свой рассказик про чёрт те что и сбоку бантик?

Я ему:

– Вот ещё слово скажешь, и я твоей Таньке твой дневник отдам. Я у тебя его спёрла, чтоб ты по ночам за мной не подглядывал.

Тут бабушка зашла, завтракать позвала. Игорь убежал в школу, а я вернулась, в окно выглянула. А он меня по щеке погладил. Ладонка влажная, в утреннем тумане, и говорит:

– Сегодня ночью совсем тебя заберу. Я тебя унесу туда, где Джамма Фардах живёт, в солнечную страну Эфиопию. Как ты к этому отнесёшься?

– А успею вернуться домой, – спрашиваю, – до утра? И как же его артиллерийское училище без него останется?

– А он больше не старший лейтенант, он теперь принц эфиопский. Захочешь – успеешь, не захочешь – там останешься.

В эту ночь я увидела цаплю. Она стояла на середине озера по колено в воде. На одной ноге. И Джамма Фардах сказал мне:

– Вот так у нас и меряют глубину озер высыхающих, цаплями. Тридцать сантиметров до колена. Нравится тебе здесь?

– Ещё бы, ты же принц мой коричневый. У тебя глаза виноградные. Ты гибкий, как лоза. Не отпускай меня домой. Где мы с тобой будем жить?

– Хорошо, – говорит Джамма Фардах – я построю тебе терем у моря. Русский терем в Эфиопии – хочешь?

Утром Игорь сказал бабушке:

– Олькин сегодня не вернулась к завтраку. И никогда теперь не вернётся. Я выглянул за окно, а там весь виноград ободрали. Что делать теперь, что?

...Через девять месяцев на крыше пятиэтажной хрущобы пара аистов свила гнездо. Три буськи² родились у них. Люди говорили: надо же, девочка пропала, а аисты на её доме гнездо свили, бусек принесли. Сразу троих. Это что-нибудь значит...

Игорь с папой посадили новый виноград под окном. Рос он не по дням, а по часам. И к концу августа дотянулся до окошка. Тридцатого августа, за полночь, шершавая ладонка поскреблась в окно. Игорь выглянул, а ему на ушко голос нежный-нежный сказал:

– Джамма Фардах очень надёжный принц! Олькину с ним хорошо. Чёрт те как живут. Работа у них странная. Цаплями пересыхающие озёра меряют. Песен не поют. Шелестят, как ветер в камышах. А камыши-то там не растут. А они шелестят. Ты окно не закрывай больше! Буськи подросли – принесут тебе что-то в клюве.

Каждую ночь теперь Игорь ждёт, когда буськи прилетят.

Буськи прилетели через пять дней. Три клюва постучали в стекло. Распахнул окошко Игорь, а шершавая ладонка хлоп его, хлоп по лбу:

– Я тебе говорил – не закрывай окно! Весь дом перебудили эти буськи своими стуками! Тарабанили, тарабанили, ты что – спал?

Говорил я тебе, не спи *за* полночь. Ну-ка, иди, посмотри, что там на Олькиной кровати лежит? Что там ворочается?

Смотрит Игорь во все глаза, а там три младенца. И растут они не по дням, не по часам, а по минутам. Но странно как-то растут, в одно сливаясь. Не выдержал этого Игорь, зарылся головой в подушку на



своем диване, с головой укрылся, думает: «Снится мне такое, снится. Что это было? Утром посмотрю». А утром Олька его спрашивает:

– Ты в школу идёшь-то? Ты всё на свете проспал.

– А буськи где? – спрашивает Игорь.

– Какие буськи?

– Ну, эти трое, что тарабанили ночью клювами в стекло... Ой, Олькин! Ты откуда? Я теперь знаю, какие сны тебе снятся интересные! Все говорят, что буськи счастье всегда приносят.

– А ещё что тебе приснилось? – спросила Олькин.

– Виноград мне приснился.

– И тебе тоже?

Дверь вдруг распахнулась – сквозняком? И бабушка кричит:

– Тут телеграмму принесли, дети, бегите скорей, телеграмма странная какая-то, – кричит бабушка. – От какого-то Джаммы Фардаха. Всё ли в порядке, спрашивает Джамма. Все ли дома?

– Что бы всё это значило? – спросила Олькин растерянно.

А брат отвечает:

– А ты как знаешь?

Бабушка подошла, сказала:

– Я вчера в газете читала, что в Эфиопии какой-то Джамма Фардах королевство унаследовал. Это не от него телеграмма?

– Олькин, – сказал Игорь, я винограду твоему корни сегодня таки выдерну. Ты никакая не принцесса эфиопская, не воображай. Ты пионерка шестого класса — и сиди дома. – Не пускай его никуда, бабушка, – закричал Игорь. А то не все дома у неё, то есть у нас, будут не все...

¹ Гронки – гроздь, южнорусск.

² Буська – детёныш, южнорусск.

К. ГЕРМАНСКИЙ

ЕЩЁ ОДИН НЕВЕСЁЛЫЙ РАССКАЗ

Острые парабола девичьих грудей со свистом резали атмосферу за окном Португальца. Когда в комнату вошла Рояль, Португалец вывернул регулятор громкости на четверть суток назад и взлетел ей навстречу, чтобы полоснуть по всей этой тишине обрывком большой темы. Он откинул крышку, привычно растрогался длинным, растянутым на четыре октавы лицом, и по самые перстни провалился в него пальцами. «Пусти, – нежно сказал Португалец, – я забыл зашторить окно». Но сильно побледнел уже дом напротив, и небо, выскользнув из хватких старушечьих лапок, вдруг насушилось и брызнуло вниз крупным бисером глазных яблок. Растакая друг друга, они жадно липли на стекло и холодными свёрлами щекотали спину Португальца. «Я люблю вас», – вспомнил он вчерашнюю заготовку и, робко потянув на себя, только окунулся в Рояль запястьями. Необходимости в немедленном осознании того, что произошло, он не почувствовал, тем не менее в дверь постучали. «Это Скрипач, главный герой рассказа. Но что-то препятствует мне ему открыться», – подумал Португалец. Скрипачу в таких случаях часто не хватало одного измерения, поэтому в щели под дверью скоро прояснился его усыпанный прыщами трафарет. Проникший сутулым листом сложился в свободное кресло и, ничего не объясняя, закурил *Camel ploski*. «Мне скучно, Португалец», – изрёк он наконец. Адекватная проекция его внутреннего состояния на какое-то мгновение петлёй пропечаталась в плоскости потолка. «Кому, ты говоришь, скучно?», – будто сквозь сон переспросил Португалец. На самом-то деле он ничего не стал переспрашивать, поскольку ответы с чёткими постановками всегда посеивали в нём необъяснимое смущение. Но Скрипач, на волне заранее выстроенного диалога, только махнул рукой, не желая повторяться. С того вечера, как Скрипка пошла по рукам, его жизнь, и без того исполненная сомнительного смысла, сильно осыпалась размерностью и ничего от него уже не хотела. «Я же говорил ей...», – ни с того, ни с сего выдохнул Скрипач после хорошей паузы, но, сомкнувшись лёгкими, снова смолк. Сигаретный окуроч медленно спланировал на пол и, не дождавшись продолжения, погас. У ситуации не было хозяина. Позвякивая обрывком цепи, она незаметно дичала, из углов тяготая к середине, где Португалец, совсем без локтей, беспомощным лангустом наклонялся к Рояли. Сходил на нет ливень, уступая место циничному луне, в лучах которого шляпками огромных поганок показались Скрипачу ягоды Португальца. «Я покончу с собой», – непринуждённо подумал Скрипач, однако не сумел оперативно положить эту мысль на прежнее место: оно оказалось занятым чем-то воздушным, розовым и маловероятным. Тогда он разместил её поперёк лба, и теперь всем уже стало ясно – этот не жилец. Он вспомнил как ещё в той жизни, в доскрипичную эру, Португалец неоднократно советовал ему умереть. «Думай, Скрипач», – это буквально, что говорилось; в действительности же имелось в виду следующее: что тут думать? – вот нож, вот сало. И он бродил и думал напряжённо, ржавели ножики и сало скисало... И так, их было двое с половиной в одной комнате – скучный Скрипач со своей неинтересной печалью и Полпортугальца. Рояль, из уважения к её иррациональности, в расчёт не принималась. И поскольку все молчали, заговорило радио, словно икона, висевшая в большом углу. Только сейчас Скрипач рассмотрел, что это радио, а не боксёрская перчатка, а рассмотрев, ненароком прислушался. «Столько народу, а поговорить не с кем», – неприятно сообщило радио. «Издевается», – понял прислушавшийся, но всё же крепко ушпинулся, профилактики ради. Оказалось, что рассвет. И уже недавно. В освещённой его сумеречными красками комнате уже густо резвились уже солнечные зайчики. На полах, прямо под аккуратно свёрнутыми на кресле ногами, Скрипач без удивления отметил наличие жмени отстрелянных сигаретных гильз. Он облизнул кислые от стронция губы и, собираясь попроситься, вежливо приоткрыл крышечку безмятежно спавшей Рояли. Резко пахнуло сытым дыханием клавиш. Преодолевая извечный пунктик, с лихвой отыгравший своё в отношениях со Скрипкой, он несильно стукнул по крайней слева, – как и ожидалось, отзвука не последовало. На языке вертелся постскриптум, который был сплюнут уже на улице – «Заведи ребёнка, Португалец». Как всегда после хорошего дождя, повсюду валялись обломанные крючья, багры, лестницы, и весь город был обёрнут в жёлто-чёрные тряпки: Старуха умерла, да здравствует Старуха! Но торжественность темы не понимала душу Скрипача. Улыбающимся камнем он двигался туда, где река. Под крыльцом штаба гражданской обороны он заметил, но не узнал Скрипку. Скрипач тупо полез в карман пальто и, не зная хорошо это или плохо, отдал ей свою зажигалку и... кажется всё. «Не может быть», – не поверил Португалец и сделал громче...



ПЕСНЯ СТОРОЖЕЙ

Снег обнаружился в конце ноября. С того дня минуло ещё 110, а на 111-й сторож Тимоша намертво задумался над своей судьбой. Что происходит с его жизнью и что в ней есть ещё, кроме этого бесконечного снега? Присматривающий за его мыслями забавляется их броуновским шебуршанием, ему известно, что правильный ответ лежит за пределами человеческой интуиции, другими словами – нет правильного ответа. Сторож достаёт из вещмешка перехваченный резинкой кубик фоторобота и, дыша на озябшие пальцы, перебирает его плоскости одну через две, потом встаёт к мутному захватанному зеркальцу и, не найдя в нём должного соучастия, всё же думает так: «А ведь я состарился ничуть не сильнее, чем они». Его уверенность почти болезненна, почти постоянна, и ещё она совершенно неопасна. Он накрывает фоторобота вещмешком и идёт в обход. На облитых крахмальным клеем небесах – фейерверки ворон; редкие хлопья помёта стремительно падают на белую поляну стадиона, тучным снежинкам не угнаться за ними. Тимоша опять сомневается – а не зайти ли ему на этот раз против часовой, и долго стоит на месте, пень пнём. Мимо оцепеневшего человека, звеня сосульками, проплывают трибуны. 31-я, 30-я, 29-я уже – не двигается, замер; на срезе пня его головы происходит движение колец. Каждое разгоняет свой радиус и бьётся его остриём в хрупкую скорлупу настоящей панорамы, разрывая её ткань, под которой проясняются другие краски и запахи. Их нагота усыпляет. Тимоша спит и слышит, как по ресницам осторожно перешагивает снег, но он не узнаёт его шагов, ему чудится, что это фоторобот сбежал из запертой сторожки и, не зная теперь, что делать дальше, смёт потерянно по лабиринту чужого воображения. Подойди ближе, несмышлёныш, и делай то, что говорит тебе твой скачущий раб. Как будто знающие силы отвели его сюда и сказали ждать здесь, не покидая пределов очерченного угла, и обещали, что ты когда-нибудь появившись и протянешь ему плеть, чтобы он смог зацепиться сетками своих нервов за её конец и выбраться из сосущего, выкручивающего мозг страха остаться без вины. Обрисуй для него, наконец, её предмет, до сих пор скрывающийся под вымышленными именами. Может быть, ему станет от этого светло. А возможно и радостно. Ха! – он уже улыбается. Странная улыбка у Тимоши. Плотно закрывая, расплюснутая; кажется, что тетива морщин вот-вот лопнет, не выдержав её ползучего напора. И тогда хищной спиралью она пойдёт гулять по всей голове, превращая её в некое подобие ёлочной игрушки... Стрельнув жменей холодных колючих конфетти за воротник, налегке проскакала 14-я трибуна. Сторож на секунду приоткрыл глаза, отметил её удаляющийся неуклюжий силуэт и снова набрал глубину. Но он не умел уже выстроить плоскости в том порядке, какой ему виделся, кубик выскальзывал из рук и, ударяясь о дно, оборачивался то змеей, то Ростовской Наташей. В одну или сразу в нескольких из этих случайных комбинаций он был некогда влюблён. То и дело устраивал на них тайные засады в каменных джунглях новостроек, где они тогда обитали. Когда они, сверкая мантиями, проносились мимо, он выбегал из кустов и долго целился им в спины. Не мог иначе. Но стрелять не стоило – дрожали руки. Так они и уходили от него, родившиеся заново. А в мирное время он врал в диван, смакуя роман о войне, который напишет по осени, когда чьи-то большие жёлтые уши, ничего не слыша, бестолково закружат по воздуху, и бледные лица поэтов в заплаканных окнах будут ужасать своей неподвижностью пролетающих мимо птиц. Таким он казался быть человеком. Но когда закружило и начало ужасать, Тимоша снова, как заведённый, добровольцем ушёл на фронт, и роман, уже ставший к этому времени популярным, так и не был сотворён. По прихоти случая никто этому не огорчился, никто не ставил свеч за упокой. Да и война оказалась неправдой: долгие дни пропадал Тимоша в засадах, но так ни разу и не встрепенулся. Вот и получается, что два раза на одну войну не ходят. Сколько-то лет и ещё столько же дней он старательно заучивал это положение, несмотря на то, что память уже тогда начинала изменять ему с его же параллельными мирами. Впрочем, у него не возникало желания жестоко с ними разобраться. А те, пользуясь его долейностью, подстрекали Тимошу рвать на себе гимнастёрки и наряжаться в шутовские одежды, чтобы звоном бубенцов и меланхоличными кривляниями он мог усыплять бдительность своих королей и переделывать их в послушных куколок. Постепенно Тимоша утратил интерес к войнушкам. Он выходил из квартиры и теперь не рвался сразу к кустарникам, не жался к стенам домов, а с прозрачной уверенностью сомнамбулы двигался посередине улицы с какой-нибудь куклой на поводке, иногда заговаривая с ней на тему полусмерти или неразделённого одиночества, и тогда прохожие равнодушно и правильно принимали его за идюта. Вот и сейчас он что-то бормочет, шевелит заиндевевшими губами, прижимаясь щекой к холодной спине третьей трибуны... Мама, не думай, что это туфта. Мне здесь хорошо. В этих местах, знаешь ли, я перевахоронил свою нежность. Ещё у меня есть друг – фоторобот, он не обижается, когда мне вдруг приходит в голову посидеть возле её могилки. Когда он издали, по кусочкам присаживается рядом, я всегда начинаю рассказывать ему какой беззащитной она была, и как мне не хватило смелости заступиться за неё, как по первому сигналу, непонимающему выражению, промелькнувшему в чьих-то глазах, я сам же её и приговорил. Фоторобот не обижается, и ты тоже, мама, хотя и чувствуешь, что я говорю не с тобой, а с ним, а правильнее сказать – с ней. Я наделён умением пользоваться вещмешком и карандашами, иногда ножницами, и я пытаюсь придать ей более-менее кубическую форму, подстать своей голове. Но она уже вышла из-под моего контроля, зыбкая, неясная, только неопределённость моей перед ней вины удерживает нас вместе. Понимаешь, мам, я хочу признаться ей в любви, но когда мне удаётся встретиться с ней взглядом, в глубину её зрачка падает камушек

и идут круги, и каждый определяет новое выражение. Там всё бывает. Представь себе, например, – настороженное внимание медленной кляксой наползает на стартовую заставку глубокой прострации и само вытесняемо лукавой улыбкой типа «вот ты, оказывается, какой», а та уже готова уступить такой же мимо-лётной, но более греховной печали, и так далее, вниз по бесконечности. Тут уж мне не приходится говорить, я не вижу смысла искать в этом потоке место для признания; дамба стоит у меня попереёк горла, и я просто смотрю, как разлетаются круги, до тех пор, пока не станет слишком холодно... Вот ведь какой болтун! Так заболтался, что даже не заметил, как заступил на второй круг! А батарейки уже на исходе – хоровод трибун уверенно теряет скорость, одна за другой начинают буксовать и останавливаться прямо на лету дурацкие снежинки, а в небе странно зависли чёрные тряпки ворон. Сейчас он, как обычно, начнёт не спеша суетиться в поисках запасной энергии, но ничего на этот раз не найдя, стряхнёт с себя остатки сна и, широко расставляя ладони ног, пойдёт на ближайшую остановку. Там троллейбус уже расправил крылья, и задумчивый водитель закашлялся последней папиросой. 50 тысяч воспоминаний. Для троллейбусных линий такого класса плата символическая, но это всё, что у него есть. Да чего уж там, поехали... Какую песню будем петь, барин? – Что-нибудь простое и лучше, если без слов. Так и тронулись, налалакивая что-то напрочь забытое, вспоминая мотив на ходу. А слова неприметной горкой остались лежать возле урны. Когда молодой Жак Пикар проходил мимо, то из любопытства остановился поворошить их носком ботинка; поворошил, поворошил, да и пожал плечами: ничего, мол, непонятно. Спустя годы, оказавшись на заснеженном дне Марианской впадины, ему посчастливилось случайно подслушать, как поёт глубоководная черепаха. Французскому исследователю показались знакомыми слова её песни, но не более того. Понятное дело, глубоководную черепаху никак это не задело...

БЕЛЫЙ АЛЬБОМ ДЛЯ ЧИКУИТЫ

1. Берег моря. Потресканное корыто, наполовину утонувшее в песке. На корыте сидит Чикунита, раздумывая о взаимоисключающих свойствах мнимых и действительных величин, составляющих понятие «родина». Нежно шурша, один за одним в море падают горящие аэробусы...

2. Чикунита пишет письмо другу (лучшему по ту сторону заводи). Его спонтанный текст лишён главной диагонали и испещрён частицами типа «не» и «но», что, по замыслу, должно заметно облегчить прочтение. На столе, в крошечном террариуме, маятся тарангул. Запах распалённого воска мешает ему уснуть...

3. Путаясь в длинном подоле, с обременительной связкой тугих воздушных шариков, Чикунита спасается от банды изощрённых клоунов, тех самых, что каждую субботу строят на старой площади пирамиду из усыпленных и завернутых в стеклянные кубики девочек. Чикунита не хочет иметь с ними никаких дел и нанимает извозчика...

4. Карнавал ворвался в город на день раньше срока. Чикунита недоумённо смотрит из окна на пьяный парад и начинает пересчитывать людей в розовых панталонах. Один из них машет ей рукой, но она не помнит, как нужно поступать в таких случаях и смущённо закрывает глаза...

5. В кресле-качалке Чикунита дымит длинной сигарой. Перед ней в низких кружевах мелькают нарядные кролики во фраках и с подносами. Кролики что-то хором поют. По их нарочитой серьёзности Чикунита догадывается, что у них очень мало времени для того, чтобы завершить некий ритуал. Ах, да! Всё дело в кончике сигары!

6. Лёжа в постели, Чикунита читает детектив. Иногда буквы выпрыгивают из книги к ней на грудь, и тогда она обращает внимание на торжественный шум по ту сторону стены. Страхнув очередную порцию букв, Чикунита достаёт из ночного столика кастаньеты и нож...

7. Пролетая на монгольфьере над родной деревней, Чикунита вспоминает свою первую любовь...

8. В центре степи стоит шезлонг. В нём, нога на ногу, – Чикунита. Глядит недобро в небеса, где бестолково дёргается оставленный кем-то змей. Забытая игрушка мешает ей сосредоточиться на придумывании очередного алиби. Она достаёт из сумочки «беретту» и, не целясь, стреляет. Простреленный змей, кувыркаясь, падает к её ногам. На этот раз им ничего не останется, кроме как поверить...

9. Рано утром почтальон приносит Чикуните письмо от друга (лучшего по эту сторону заводи), в котором он между прочим сообщает, что приобрёл по недорогой цене новые крылья. Чикунита, не дочитав, бросает письмо на пол и бежит в сарай – там, в пыльной тьме, хранятся два её крыла. Долго и напрасно бродит она с керосинкой, перебирая старые вещи: ни пёрышка вокруг...

10. Один неизвестный композитор подарил Чикуните на день её рождения невесёлое полотно. На нём был изображен морщинистый юноша с выражением глубокого транса на лице. Он сидел, видимо, на своей кровати, с опавшими брюками, словно не в силах раздеваться дальше. Полотно называется «Пол-жизни», и Чикунита согласна с таким толкованием. Каждый раз проходя длинным коридором, она останавливается за пару шагов до входной двери, где висит печальный подарок, и в течение 3-5 секунд безуспешно пытается вспомнить лицо бедного юноши. Иногда ей начинает казаться, что этого не может быть...

11. Ночной трамвай везёт Чикуниту на ужин к Чёрному Дрозду...

12. Над цветистой лужайкой порхают серебристые стайки летучих поросят. Чикунита носится за ними, плавно размахивая гомоздким сачком. Не так-то просто поймать летучего поросёнка...



13. Трактир «Смеющийся Тигр». Бокал Чикунты наполнен драй-мартини. Сомбреро лежит на столе. Под ним – запечатанный конверт с темами. Никто ничего не знает...

14. Возле перрона, спустив пассажиров, шумно остывает чёрный мохнатый паровоз. Оркестр в красных лентачах играет ва-банк. В воздухе с безысходной скоростью размножается выпущенный кем-то по недомыслию флюид беспредельной иронии. Предвкушая драму, Чикунта ест мороженое у закрытой кассы...

15. Бесконечная вереница пустых таксо. Чикунта в грязных джинсах скучает на обочине и, не зная куда ехать, спорит сама с собой о преимуществах кочевого образа жизни...

16. У Чикунты есть фотоальбом, в котором все фотоснимки размещены в обратном хронологическом порядке. Боясь узнать ненароком что-нибудь о своей прошлой жизни, она всегда начинает листать его с конца...

17. Полнолуние. Притаившись на балкончике, Чикунта слушает как во дворе обманутый жизнью лунатик атонально излагает танго ревности на своей засаленной люфтине...

18. День рождения. Позабыв о подругах, кавалеры в распахнутых галстуках развязно играют в кегли. Они пьяны, громогласны, болезненно азартны и одинаковы. В это же время, в доме через дорогу, Чикунта с утомлённым смехом принимает поздравления по телефону. Все хотят видеть её в прежнем амплуа...

19. Каждый год в середине сентября Чикунту преследует аудио-визуальный образ падающей колбы, наполненной водой. Чаще всего она падает на лакированные покрытия (например, на паркет), причём падение происходит всегда замедленно и сопровождается довольно резким шипением. Иногда случается, что одновременно падают несколько колб, каждая со своим ускорением; в этом случае шипение исчезает и тогда становится ясно, что звуковой вакуум имеет собственный и очень неприятный запах...

20. Заброшенный парк. В утренних сумерках Чикунта собирает каштаны для любимой бабушки...

21. Чикунта в малоизвестном, но хорошо освещённом городе осторожно и не спеша движется по широкому проспекту. Люди встречные ничем не отличаются от людей обгоняющих: и те, и другие, заученно теребя пальцами, собирают кубики Рубика. Чувствуя приближение тошноты, Чикунта достаёт из-за пазухи свой кубик и начинает с оранжевой грани...

22. Перед сном Чикунта смотрит в старинное зеркало. На заднем плане мелькает тревожный профиль Тициана, но она, никогда не проявлявшая страсти к архитектуре правильных теней, особым движением улыбки гонит его прочь...

23. Чикунта кружится на карусельке с турбо-приводом. Из её кармашков сыпятся мелкие монетки и звонко стучат об асфальт. В луна-парке ни души: все ушли на пожар; один только старый карусельщик невнятно что-то выкрикивает во сне...

24. Посреди пруда, в лодке с потерянными вёслами скучает Чикунта. Сквозь маленькую щёлку в лодку постепенно набирается вода. Временами на поверхность выныривают русалки с густыми зелёными бровями и сладкозвучным шёпотом декламируют красивые незнакомые стихи на тему небытия и вечно-го падения. Перед тем как вновь уйти на глубину они называют автора. Странная, будто бы китайская фамилия, никак не держится в голове...

25. За послеобеденным какао Чикунта читает свежую газету. Рядом, в углу, с мольбертом на коленях примостился её друг (лучший по обе стороны заводи). Что он там рисует, никому не интересно, но по частоте, с какой у него ломаются карандаши, можно догадаться, что предлог для него не так важен. Когда он уходит, на ковре остаётся лежать рисунок. Всегда одно и то же...

26. Чикунта подходит к креслу-качалке, но место занято: нарядный кролик во фраке, раскачиваясь, курит сигару. Неожиданно Чикунта замечает у себя в руках поднос с рюмкой аперитива, но не успевает от него избавиться: кролик уже тянется за напитком. У него холёные руки...

27. В каменных джунглях открытие нового сезона. Телевидение предупреждает об опасности заболевания двусторонней паранойей, советует не пренебрегать дневным электричеством, напоминает о необходимости ежевечерней проверки всех используемых средств коммуникации на стерильность. Чикунта лежит в холодной ванне. Воды нет...

28. В то время, как полгорода сидит на чемоданах, Чикунта варит на кухне манную кашу. На днях она поняла, что даже в густонаселённых районах жизнь не всегда подчиняется законам больших чисел...

29. В кинотеатре «Абу-Даби» ночной сеанс. Чикунта смотрит «Шутку факира» уже девятый раз, но сюжетная канва фильма распыльчата и никак не может уложиться в её голове, как обычно занятой мыслями о перемене участи...

30. Маленькая Чикунта спит в своей маленькой кроватке. Ей снится ангел, весь в крыльях и лучах. Он произносит странные небесные слова, каким-то образом складывая их в одно-единственное волшебное слово. Когда Чикунта проснётся, оно ещё некоторое время будет вертеться у неё на языке, потом вдруг соскочит и в одно мгновение превратит всю планету в bonus track...

ЕЛЕНА КОРОБКИНА

Т.Д., ИЛИ СКАЗКА ДЛЯ БОГА

рассказ

Девочка катит по улице большой стеклянный шар. На ней розовое платьице и сандалии, в волосах розовый бант. По дороге, усыпанной гравием, идёт молодой цыган. Он жонглирует на ходу, развлечения ради, тремя маленькими стеклянными шариками. В его ухе блестит золотая серьга. За цыганом увязался чёрный пудель. На его шее ошейник из чёрной кожи. На ошейнике две золотые буквы – Т.Д. Это инициалы его хозяйки. Хозяйка, молодая дама, прогуливается с зонтиком по набережной. Она в длинном чёрном платье и в большой чёрной шляпе. Пальцы унизаны кольцами, однако, вместо драгоценных камней в оправе колец – стеклянные шарики. Девочка с шаром в это время останавливается у дверей большого дома, на дверях висит бронзовый молоток с длинной деревянной ручкой. Девочка дотягивается до ручки и стучит молотком в дверь. Через какое-то время дверь открывается. На пороге появляется усатый господин с физиономией слуги. На его плече сидит громадный чёрный кот. Котище прыгает на тротуар к девочке, махнув по её розовому банту пушистым хвостом. Бант перемещается на шар. Котище мордой, размером равной этому шару, заталкивает в распахнутые двери прозрачный стеклянный шар. Усатый господин поправляет фалды фрака и закрывает за котом двери. Девочка поднимает с тротуара грязно-розовый бант и обиженно убегает прочь. Молодому цыгану надоедает жонглировать. Он хочет спрятать шарики в карман. Но пудель виляет хвостом, задевает руку цыгана, шарики падают на дорогу. Пудель стремительно бежит за ними. Шарик за шариком оказываются в его пасти. Пудель бежит на набережную к хозяйке. Дама Т.Д. забирает у пуделя шарики и ласково треплет его за ухо. Шарики исчезают в её сумочке. Довольная, она медленно направляется домой. Подходит к уже знакомому нам дому. Берёт в руки молоток и стучит в дверь. Дверь распахивается. Усатый джентльмен во фраке, почтительно склонившись, пропускает в дом даму в чёрном. Следом проскальзывает чёрный пудель. Мы оставляем всех их в доме и направляемся по дороге за цыганом. Он лениво идет к кофейне. В кофейне на длинном деревянном столе стоит знакомая нам девочка. Стол окружают солдаты. Они дарят девочке большой прозрачный шар. Кладут его на стол и ставят на шар девочку. Солдат достает губную гармошку и начинает наигрывать весёлую мелодию. Девочка танцует на шаре. В кофейне полумрак. Где-то в глубине у стойки горит лампа под зелёным абажуром. Девочка танцует в розовом трико и серебристых тапочках. Шар матово блестит под её ножками. Солдат играет на губной гармошке. Цыган неожиданно начинает отбивать чечётку на полу возле стола, на котором на шаре танцует девочка. Солдаты, сидя за деревянными столами, пьют пиво и смотрят, как девочка танцует в полумраке кофейни. Цыган начинает вертеть сальто на полу. Вдруг он прыгает через стол, на котором танцует девочка, в прыжке захватывает шар с девочкой и вываливается в открытое окно кофейни. Моментально встряхнувшись, цыган сажает девочку на плечи, берёт в руки шар и галопом мчится по дороге прочь от кофейни. Но никто за ним не гонится. Солдаты молча раскуривают трубки и продолжают пить пиво. Солдат, игравший на губной гармошке, прячет её в карман, достает трубку и кيسет с табаком. В это время цыган стучит молотком в двери знакомого нам дома. Дверь открывается. Появляется кот во фраке. Мохнатыми лапами берёт шар из рук цыгана и откатывается вместе с шаром в дом. На его месте появляется усатый джентльмен, снимает с плеч цыгана девочку и уносит её в дом. Дама в чёрном стоит в проёме. В руках у неё сигарета в узком чёрном мундштуке. На пальцах матово поблескивают шарики. Дама затягивается и, прищурившись, выпускает струю дыма сквозь кольцо серыги в ухе цыгана. Дверь закрывается. Слышен звон монеты. На тротуаре поблескивает медный грош. Мы видим, как цыган подбирает грош и отправляется к кофейне, где отдаёт грош бармену, тот наливает цыгану кружку пива. Цыган нам больше не интересен. Мы оставляем его сидящим в кофейне с солдатами, которые нам вовсе не интересны, сами же возвращаемся к дому, очень даже заинтересованные. Мы – это автор и его тень. В данном произведении автор наделил её правами своего альтер-эго, даже дал тени статус двойника, который не только олицетворяет теневые качества автора, но даже является его живой копией. Итак, мы – неразлучные близнецы. Кроме того, проявляем острый интерес к связывающимся событиям, но, к сожалению, не имеем к ним никакого отношения, и даже не можем на них никак повлиять. В данном произведении у нас статус пассивных наблюдателей. И скажем больше, не мы создавали героев произведения, к своему большому стыду и огорчению, мы не творцы и не боги этого мира. Скажем больше по большому секрету, наше авторство очень и очень со-



мнительно, скорее всего, мы сами всего лишь образы чьего-то воображения, вероятно, истинного бога, орудиями и подобиями которого мы являемся. Но кто наш бог, мы не знаем и сами. Мы только чувствуем его заинтересованность в развитии данного абсурдного сюжета, а также мы понимаем, что богу не хочется показывать свое истинное лицо, поэтому он и использует нас и наделяет функцией соавторов. На самом же деле мы догадываемся, что наше соавторство условно и, быть может, мы – самые формальные из его героев, самые скучные и занудные, потому что мы не столько действуем, сколько наблюдаем, и, при этом, разглагольствуем. Этой скучной функцией нас наделил автор, потому что ему самому хочется играть, а не морализировать и рассуждать. Так мы начинаем догадываться, что наш бог – ребёнок, мы же его скучное супер-эго, которое он не очень жалует, так как расщепил нас, зациклив друг на друга и на размышлениях о себе, тем самым обезопасив себя от нашего неусыпного контроля. Поэтому мы вынуждены отойти в сторону и предоставить право нашему автору играть самому. Бог начинает новое действие. Мы прервали развитие событий, оставив цыгана в кофейне и отправившись к дому дамы Т.Д. И вот мы стоим у дома и наблюдаем за дверью. Дверь, однако, закрыта. Из дома никто не выходит. Мимо него никто не проходит. Мы, скучая, чего-то ждём. Но полное отсутствие событий и информации о них приводит к тому, что мы становимся всё более плоскими и в конце концов сливаемся с тенью, отбрасываемой домом на тротуар. В это время в доме дамы Т.Д. появляется мальчик. Он просто материализуется из воздуха. Мальчик в коротких штанишках стоит на паркете перед узкой деревянной лестницей, ведущей на второй этаж. Из комнаты, находящейся наверху, доносится пение. Это дама Т.Д. поёт песню об адмирале, уплывшем на большом корабле воевать с турками. На первом этаже из большого камина вываливаются чёрный котиче, весь в золе и саже. Он громко чихает, сажа разлетается в стороны, её хлопья оседают мальчику на голову. К нему подходит усатый джентльмен во фраке и начинает чистить мальчику волосы платяной щеткой. Пение смолкает. В проёме комнаты на втором этаже появляется дама в узком, облегающем фигуру, чёрном вечернем платье. На руках у неё длинные чёрные перчатки. Она держит подозрительную трубу. Улыбаясь, дама Т.Д. объявляет присутствующим: «Готовьтесь, господа, к нам возвращается наш адмирал». Сконфуженный усатый джентльмен прячет щётку за спину, прикрывая ее фалдами фрака. Чёрный котиче прыгает под потолок, сбивая турецкую саблю, висящую на стене возле камина. Чёрный мальчик хватая упавшую саблю, прыгает на чёрного пуделя, пробегающего в это время мимо него, и упоенно кричит: «Ура!», размахивая саблей, при этом он попадает в ухо коту, спустившемуся с потолка. Кот орёт диким голосом: «Уберите от меня этого юнга!». Юнга носится по залу на пуделе и сбивает саблей фарфоровые статуэтки. Дама обмахивается веером, потому что в воздухе летают хлопья сажки. В доме полный кавардак. Сюжет разваливается на части. Явно не хватает железной руки автора, который бы расставил всё и всех по местам и навёл бы полный порядок в головах и действиях. Так как адмирала всё нет, а юный бог довольствуется ролью нерадивого юнга, опять появляемся мы. Мы возникаем в трёхмерном объёме возле дверей дома. Перед нами болтается бронзовый молоток с длинной деревянной ручкой. Остаётся воспользоваться ситуацией и просто постучать. Но это элементарное действие – самая большая проблема для нас. Так как мы давно поняли, что в общем-то, мы не авторы, наше участие в сюжете формально, мы не можем ввести в действие нового героя, но мы и сами не герои, а если и герои, то, скорее, статисты, так как уж очень мы схематичны, поэтому не можем действовать и в стуче в дверь нам отказано. Но что мы можем? И что же нам делать в затянувшейся сюжетной паузе? В который раз задаёмся мы этими вопросами. Ведь автор явно отбилась от рук и не хочет ничего менять. Его героев тоже устраивает полный сюжетный хаос и кавардак. Им всем от этого весело. Но мы, мудрые воспитатели, которых юное дарование так легко отстранило от участия в своих играх, мы же не можем позволить ему затягивать абсурдную паузу до бесконечности, всё-таки, мы его супер-эго, которое он свёл к функции формального наблюдения за своими играми. Но, позвольте, что же делать нам в таком случае? Видимо, остаётся одно, ждать адмирала. Во время паузы неожиданно появляется критик. Он заполняет паузу монологом:

– Что позволяет себе автор в своей творческой игре? Что это за обманчивый ход конём? Зачем понадобилось автору вводить в сюжет сказки совершенно не сказочных персонажей – свою собственную проекцию, очень слабую, амбивалентную, схематичную фигуру, то нависающую над персонажами, то нелепо зависающую в стороне? Это очень слабый авторский ход. И притом, это название – сказка для бога, игра в бога, автор – бог своего вымысла, – ведь это же всё уже давно у всех на слуху, об этом писали многие представители так называемой «новой» прозы. Как всё это вяло, скучно, вторично. И, наконец, а сказка ли это вообще, в таком случае?

Задав последний риторический вопрос, критик также неожиданно исчез, как и появился. Когда сказке отказывают в праве существовать по своим внутренним законам, она не умирает, сказка просто изменяется и превращается в историю или в притчу, иногда она становится аллегорией, иногда мифом. Если же сказку отрицают вообще, как антитезу, она тут же утверждается в своей тезе и становится былью. Итак, наш юный автор, будучи к тому же одним из героев своего произведения, решил, что так тому и быть. Пусть произойдёт оно, это полное превращение всех и всего. И сказал наш бог: «Да будет быль!» – и утвердил существование её. А дальше произошло вот что. В провинциальном приморском городе N произошло удивительное событие. В порт пришёл военный корабль. Мы не будем распространяться о том, как были изумлены горожане заходом в их цивилизные воды такого большого корабля. Не станем описывать расширившиеся от восторга глаза местных дам, увидевших великолепно сложенных моряков,



сбегающих по трапу на причал. Мы скажем о главном. О том, как на причал сошёл адмирал с букетом великолепных белых орхидей, привезённых, вероятно, из дальних жарких стран. Этот букет он с огромной торжественностью вручил гуляющей по набережной неизвестной даме. Эту даму горожане считали странной. Она вела уединённый образ жизни, не бывала в свете, не занимала никакой должности. Каждый вечер дама прогуливалась по набережной со своим чёрным пуделем. Часто останавливалась и смотрела неподвижным взглядом в море, будто кого-то ждала. Так продолжалось около года. И вот у дамы букет белых орхидей, она идёт по набережной под руку со своим долгожданным адмиралом. Изумлённые горожане остолбеневшими глазами смотрят на эту пару. К паре присоединяется юный капитан. Он держит за руку красивую девушку в розовом платье. Следом за ними увивается чёрный пудель. Все вместе они подходят к дому со знакомым нам всем бронзовым молотком с длинной деревянной ручкой на двери. Дверь открывается сама. Джентльмен во фраке провожает хозяйку и гостей внутрь. Гости располагаются в зале. У камина в кресле мурлычет чёрный кот. Хозяйка угощает всех чаем. Адмирал сообщает сестре, что их юный племянник со своей невестой, отправившись в свадебное путешествие на своём корабле, решил, наконец, нанести визит своей тёте. Все пьют за здоровье молодожёнов. Но вы, конечно же, всё поняли. Любой автор всегда желает самого счастливого разрешения всех своих проблем, не смотря на все ухищрения критиков подмочить его репутацию обвинениями то в слабости его желаний, то в их несвоевременности, а то и, попросту, отказывая ему в праве хотеть, опровергая все доводы автора в защиту своих желаний, говоря ему: «Ты не волен был хотеть, потому что не смог...». И объясняют автору по всем пунктам, что именно он не смог... Оставим в покое критиков с их злобными нападками на нашего автора и скажем в его защиту: Наш автор попросту бог, а потому волен делать в своём произведении всё, что ему захочется, невзирая на условности жанра. Бог может всё, что захочет.

ЛЮДМИЛА ШАРГА

МЕЖМИРЬЕ

*Я не хочу умереть. Я хочу не быть.
Марина Цветаева*

реки текущие вспять
люди зовут зеркалами
заглядывают туда
чтобы себя увидеть
а видят лишь отражения
живущие странной жизнью
и охотно им верят...
просто они забыли
чтобы себя увидеть
в себя и нужно глядеться
и там же – в себе – однажды
можно увидеть Бога
люди – большие дети
доверчивы и наивны
«по образу и подобию»
созданные когда-то
бродят в подлунном мире
отчаявшись
одинокими...
на небеса уповают
и носят в себе спасение

невыносимо больно
в себя заглянуть однажды
и не найти там Бога
и в зеркала вернуться...

Зажата меж двух миров:
привычным и тем, ничьим –
основой первооснов,
причиной первопричин.
В одном из них – суета,
любовь и свет – во втором,
а в целом: ни тут – ни там
родных не сыскать сторон.
А в целом: ни над – ни под,
в межмирье свой крест влачу,
сама себе антипод,
то плачу – то хохочу,



то падаю – то встаю,
 а в сущности – всё одно,
 ни в этом – ни в том «раю»
 забыться не суждено.
 Я выберу дальний свет
 и дольную суету,
 сто вёсен, сто зим, сто лет,
 а осень одну и – тут.
 Прочнее любых вериг
 соблазн «не быть»,
 не стать...
 да птичий тревожный крик,
 запёкшийся на устах.

Была в одном из воплощений
 свободной птицей,
 жила у скал, где из расщелин
 вода сочится,
 и вереск облаком лиловым
 легко вздыхает...
 Кому простор небес дарован –
 на том греха нет.
 Ни голубица – ни сорока –
 теперь не вспомнишь...
 но у ручья в лесу до срока
 расцвёл шиповник,
 И... девочка проснулась в доме,
 где плачут ветры,
 и, в кровь царапая ладони,
 сломала ветку.
 И вилась след по разнотравью,
 бело и ало
 через без-домье и без-славые –
 до пьедестала.
 Через тарусское двуречье,
 через Трёхпрудный,
 от бирюзового колечка
 да в дом безлюдный,
 по бузине, по землянике,
 дождём омытой,
 от коктейльских сердоликов
 да к доломиту...
 Одна, одна во мгле кромешной,
 весь мир отринув,
 шла девочка...
 она, конечно,
 звалась Мариной.

* Считалось, что под шиповником могут жить духи, уведившие человека на тот свет. По старым поверьям, шиповник растёт на границе двух миров.

Осень щедро расточает
 мимолётное тепло,
 день безветренный случаен,
 дождь прощalen,
 взгляд печален:
 было лето да прошло.



И уже плащом неброским
 скрыт изящный локоток;
 в папке – летние наброски:
 речка, роца, перекрёстки,
 чей-то милый шепоток...
 Будут летние эскизы
 от тоски зимой спасать
 от хандры и от капризов,
 от занятий по часам:
 от этюдов, экосезов,
 от сплошного «до-ре-ми»...
 Спит соседский кот облезлый
 под притихшими дверьми.
 Наступает воскресенье,
 значит можно до утра
 вспоминать...
 А день осенний
 исчезает во вчера.
 Там в Тарусе – на террасе
 самовар... душистый мёд;
 Летний полдень тих и ясен...
 Голос Тьо¹: «Маруся... Ася!»
 к чаю девочек зовёт.

¹Тьо – Сусанна Давыдовна Мейн. Вторая жена А.Д.Мейна – деда сестёр Цветаевых по материнской линии.

Разрываюсь в испугленье
 между светом, между тенью,
 между снами, между явью;

 зеркало напротив ставлю...

 Там, в заброшенном зимовье,
 чёрный ворон в изголовье
 крылья чёрные расправил...

 я прогнать его не вправе.

 Нет спасения от боли...
 Ворон, чьей ты жаждешь крови?
 Чей посланник ты?
 Не лги мне...

 пробуждаюсь утром зимним

 в ти ши не

 рассвет крадётся,
 солнце в зеркале смеётся.
 За окошком белый снег,
 чёрный ворон... –
 сон во сне.
 И опять душа в смятенье
 между светом,
 между тенью...



а меня – нет
даже не снюсь тебе
твой город и пуст и бел
хотя до зимы ещё
четыре полных луны

а меня – нет
мой образ почти истлел
есть только размытый след
хотя до зимы ещё
четыре тёплых дождя

а меня – нет
лишь имя моё живёт
в безмолвии синих вод
хотя до зимы ещё
четыре ветра разлук

а меня – нет
и не было никогда
был солнечный бриз
удар
хотя до зимы всего
четыре взмаха крыла

я помнится здесь жила
и кем-то тебе была
любимой
нет-нет
женой
рожала твоих детей
хранила тепло огня
и в будничной суете
забыла
как звать меня
стихи и страницы Вед забыла
но вспыхнул свет
и вот
меня
нет...

Сны стали сбываться реже, а сниться – чаще,
безжалостно утро режет сюжет, кричащий
о том, что было когда-то давно
со мною...
В межрамье – рябина, вата, и снег стеною.
И весело всё и ярко, как в детской книжке,
два раза в году – подарки, конфеты... мишка...
два раза в году – поездки в Москву и к морю,
а приступы боли резкой года размоют.
Стерильная грязь больницы и запах хлорки,
в кармашке пижамы – птицам – две хлебных корки,
ракушка, листок тетрадный, где восемь строчек,
написанные в парадном однажды ночью...
А после пойдут погосты, кресты да храмы,
дождями омытый остов, где в пояс травы,
где вороны в небе кружат
над тихой рощей,
где ветер осенний в лужах
листву полощет,
где вспясть уходящим водам зеркал старинных
рябиновый отсвет отдан строкой Марины.

ЛАЛА ТАРАПАКИНА

НАДЁЖНЕЙ, КОГДА ОДИН

ВЕЧЕРНЯЯ БОЛТОВНЯ В ЧАС, КОГДА ЦВЕТУТ КАКТУСЫ

Доктор, я буду жить. Буду сажать черешни. Весь мой подкожный жир – тот, что остался с прежней – он же ещё вполне, в этот раз тоже сдюжит... Доктор, не надо «не». Просто чуть-чуть покружит.

Просто чуть-чуть в висок – пылью об подоконник...

Доктор, хотите сок?

Доктор, не нужно джонни.

Рысью бежать под дых – мимо каких-то станций, сколько нас есть таких – дур, клеопатр, констанций, что не сбавляя ход, жмут в поворот на пятой –

Кто-то идёт на взлёт.

Кто-то летит обратно.

Помните, док, воон ту – Зинку Коваль, лахудру? По габаритам – ТУ, а поступила мудро – замуж пошла не так, а за почти доцента, может, он и дурак, но не на сто процентов – Зинка при нём жена, гладит ему рубашки – счастлива и нежна, даже не хуже Машки – эта-то красота замужем за старпомом...

Доктор, не нужно так.

Может, какая помощь?

Вы уж простите, док, я разболталась к ночи... Знаете, есть урок: камень ничто не точит! – я проверяла, да. Камень сильнее смерти, нас не возьмёт вода – доктор, вы мне поверьте.

Как я люблю вот так – кактус цветёт, и вечер. Всякий простой пустяк душу немножко лечит, пива попить «за жисть», смысл в ней искать трёхсотый, лёгкие слёзы лить под чьё-нибудь «ну что ты...»

Ладно, пора домой. Дома и чай, и булка. Дома любой – герой, с мыслью о переулках. Можно забыть понты, съесть заливную рыбу...

Доктор, давай на ты?

Жизнь – это только выбор.

ТЕ И ЭТИ

Такие не ломаются, а зябнут. Они – продрогший мелкий чёртов зяблик, скуривший на рассвете трын-траву.

И кутаются в собственные руки, не потому что не во что – от муки,
от воот такенной залежалой муки,

Которую никак не отзовут.

Другие ходят к психотерапевтам, на секс без мужа машут «прям уж, грех там!»

И пудрят в дамских комнатах носы.

И, кутаясь в шиншилловые шали, мечтают чтоб и дальше не мешали,

И виновато смотрят на часы.

А эти, кто постарше, из маршруток, с авоськой яблок для печёных уток,

Сидят устало, дышат на стекло

И безотчётно пальчиком рисуют – кружок, квадратик, палочку...

Такую,

С которой бы быстрее повезло.



Но есть и те, кому всегда дарили. По два ли литра на душу, по три ли,
По восемь пачек жёстких сигарет,
Травы какой, а может, шоколаду –
но есть они, кто счастливы и рады,
не ищут смыслов, не живут за правды...

А просто улыбаются в ответ.

Таких узнать в толпе легко и просто – они идут гуськом, согласно росту,
И слитно переходят перекрёсток,
Кредиты платят, не едят с ножа,
Им пофигу шиншиловые шали, и палочки, которых надышали,
А если их со всех сторон зажали –

Подохнут гордо, так и не сбежав.

ДА, НЕТ, НЕ ЗНАЮ

Гамлет вчера отмечал рубеж – тридцать своих апрелей.
Как и положено, Гамлет – свеж, мил и женат на Элле.
Гамлет успешен – кредит на дом будет вот-вот погашен.
Гамлет в постели читает «Ом», думает о Наташе.

Элла известна своим порше. Именем мужа. Ростом. –
Элла уверена, что клише – это гормон уродства.
Элла – удачливый финансист. Держит анфас на запад.
Муж или папа? – её спроси. Элла ответит – папа.

Гамлет и Элла хотят детей. Двух сыновей и дочку.
Элле пока времена не те. Гамлет поставил точку.
40 недель и положь на стол. Папа ведёт журнальчик.
Сын или дочка? Но папа зол. Значит, конечно, мальчик.

Гамлет скупает фруктовый ряд. Очень боится свёкра.
Элла – уже боевой отряд, ест огурцы и свёклу.
Делит продукты на раз и два: «наше» и «нет, не наше».
Гамлет считает, она права. Фрукты несёт Наташе.

Эта живёт в золотой клетке, принципов – три, не боле:
Ешь, высыпайся и всем свети. Гамлет вполне доволен.
Есть и четвёртый хороший пункт – нет вдохновенья к росту
(Элла считает, что тяжкий труд – тоже гормон уродства).

Тридцать девятая. Папа – нерв. Гамлет – бутылка рома.
Элла срывает напряг на стерв – медперсонал роддома.
Дальше – известно. Молитва, крик, первый шлепок по попе.
Папа уходит в звериный рык. Гамлету пофиг – пропал.

Девочка! – Элле хватает сил. Ставит большую точку.
Дочь или папа – её спроси. Элла ответит – дочка.
Гамлет трезвеет. Рука как плеть. И ни даёт, ни машет.
Гамлет не может пока трезветь, Гамлет бежит к Наташе.

Элла на выписку. Гамлет пьёт. Папа пошёл подальше.
Только Наташа одна живёт так, как жила и раньше –
Ест мандарины, нормально спит, чешет о клетку спинку –
Трудно держаться своих обид, если родился свинкой.

Вроде бы что-то пошло не так. Элла не спит от боли.
Гамлет на сцене – четвёртый акт. Чит вторые роли.
Он уже выбрал почти – «не быть». «Быть» – это слишком просто.
Элла на кухне печёт грибы. Не задаёт вопросов.



Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ

А помнишь,
мы ехали в Питер, в плацкарте, нас все ненавидели – видишь ли, рано – а мы хохотали и резались в карты, и пили вино из гранёных стаканов, и галича пели нахально и громко, коптились в дыму десяти дымоходов, а этот, из пятого, кажется, Ромка – подсыпал соседке немножечко соды в бутылку со спиритом, жестокая шутка, соседка попалась весёлая, Лиля – и эти вагонные длинные сутки мы много смеялись, и много чудили...

А помнишь,
мы просто хотели победы, работали долго, до выноса тела, начальник нас вызвал на, кажется, среду и выдал какое-то новое дело. Мы очень старались и много курили, в предбаннике офиса спорили матом, хотели как лучше, но нас победили – другого отдела другие солдаты. Они-то поопытней, справились лучше. А мы чуть не плача в родном вестибюле, с обидой вкушали горячий, пахучий, ужаснейший кофе. «Нас снова надули»... но мы ведь не знали, что это бывает... За всё, что когда-то случается с нами, за всё, что у нас из-под ног выбивает – в ответе мы сами, мы сами, мы сами...

А помнишь,
Когда ты женился на Юле, и я говорила – дурак ненормальный, ещё поживи с ней чуть-чуть до июля, а вдруг передумаешь – будет ведь жаль, но – Ты был уверен, влюблён и настойчив, доверчив, наивен и бескомпромиссен. Когда тебе двадцать, тебе между прочим – плевать на отсутствие видимых истин, женюсь и пошлаи все!.. далёкой дорогой, я сам для себя предсказатель погоды. Но здравые мысли приходят с тревогой, а часто – с болючим и быстрым разводом. Полгода спустя, когда вы разбежались, я капала Юле в стакан валерьянки. А мир окружал ненавязчивый август, такое отличное время для пьянки...

А помнишь,
Когда нам исполнилось тридцать, и мы эту дату решили игнорить, пошли заказали огромную пиццу и тут нас настигло глобальное горе – казалось, что это черта отчуждения, за ней – ни любви, ни работы, ни секса, и пенсия рядом, и все дни рождения отныне напичканы будут линексом...

А помнишь,
Когда нам маячило сорок, и мы вспоминали со смехом тридцатник, запрыгнули в поезд, поехали к морю – а в сумке халва и замыленный Ріатнік (какие же, всё же, отличные карты), и снова чудили, и так молодели... Хохочущий громко девятый плацкартный готовился к бурной рабочей неделе. И словно и не было лет и болезней, и словно бы нас не касались разводы.

А помнишь,
Какой замечательной песней тебя провожали лечиться на воды?
Тебе шестьдесят, ты спокоен и строен. А дети и внуки нам машут с перрона. Я всё-таки стала твоею женою, но еле успела с последним вагоном.
Мы едем и едем, не так, но отчасти. Мы стали потише, и чай вместо водки.
И ты говоришь – но ведь было же счастье...
А я выдыхаю тихонечко – вот как...

МОНОЛОГ МАЛЕНЬКОГО ДРУГА

Я быть бы хотела другом, но
Маленьким и карманным,
Которого ты носил бы за пазухой для тепла,
Советовался и спорил, и все бы считали странным
Что ты в никуда бормочешь какие-то там слова.
Слова ни о чем без смысла – «да тут дофига народу»,
«А ну-ка пошли и купим на вечер холодный квас»...
И в самое безнадежно прохладное время года
Карманная эта дружба за миг согревала б нас.

Я ела бы очень мало, одной калорийной крошкой
 Обедала бы и даже на завтрак хватало мне,
 И я б для тебя считалась любимей и мягче кошки,
 Прекрасней любой подушки
 И фикуса на окне.

А если бы наступила минута большой печали...
 Ну, или часы печали... а даже весь день-печаль...
 Я молча, но очень твёрдо стояла бы за плечами
 И каждый твой грустный выдох готовила мятный чай,

И чашек бы накопилось с полста или даже боле,
 Но полчища этих чашек не силах тебя развлечь –
 Я знала бы, что однажды и чай не спасёт от боли
 И чтобы обнять покрепче, я вышла бы из-за плеч.

И – стала бы – вдруг – великой! И стройной и распрекрасной...
 И всем своим средним ростом достигла твоей груди...

...
 Но ты бы пожал плечами и сам бы пошёл за квасом,
 И был бы вполне уверен – надёжней, когда один.

КОГДА Я ПРИЕЗЖАЮ

...когда я приезжаю, – тишина. Не пахнет абрикосовым вареньем... Вообще, едой не пахнет, и до сна иду пройтись местами преступлений – скамеечка про первый поцелуй, шелковица про содранную кожу... («Хорошая, родная, не балуй» – бабулю предсказуемо тревожит взросление внезапное моё, моё непонимание запретов... и блинчики с черникой подаёт, как панацею, лечащую это).

...когда я приезжаю – холодок – бежит по полу, трогает колени...
 И спальня с периной в потолок уже не тянет, призывая к лени, а так себе – прикрыта и строга, не помня ощущений и моментов...
 (А правды точно не было в ногах – перина для меня была плацентой. В ней снились безмятежнейшие сны, и я была клубком, цветком и внучкой. И, кажется, спала бы до весны, метель рисуя шариковой ручкой во сне своём. А бабушка пока самозабвенно делала пельмени – и я бежала ровно в два броска, голодные и юные мгновенья...).

...когда я приезжаю – пустота. В глазницах окон, в старом шифоньере. Пусты мои любимые места, закрыты многочисленные двери. И шахматы на дедовом столе слегка вразброс от сквозняка и пыли.
 («Ты молодчина, ты дралась, как лев! Ещё чуть-чуть – твои бы победили! Ну не реви, давай сюда свой нос...» – щекой к щеке, ладонью по косицам. И запах честных, крепких папирос прирос к моим подмоченным ресницам.)

.....
 ...а солнце кувыркается в траве. И, знаете? Не будем о могилах – они там есть, мои родные две, но тсссс – не в них немислнмая сила, не в памяти услужливой моей...
 а в том, что есть такое свято место
 и что сейчас я для своих детей уже умею тоже строить детство,
 что суть вещей, сдаваемых в архив, для нас уже потеряна навеки,
 что дом не умер, если город жив,
 что люди уходящие –
 как реки...

спасибо им.

ВАЛЕРИЙ СУХАРЕВ

ФОНАРИКИ КИТАЙСКИЕ НА ЛОДОЧКАХ

Снег примиряет с пустотой пейзажа,
особенно, на закате, когда посёлок
примерзает к воздуху; и даже
ведущий туда просёлок,
петляющий во всякое время года,
выпрямляется, выстужен, заметён...
Снег ложится на пруд, на воду,
меняя светлый на тёмный тон.

В такие дни, разговевшись рюмкой,
с дрожью думаешь об июне,
липких мухах, листве урюмой
и болезненной от накануне
стошпившего ливня; и исподнее
тут же льнёт к эпидермису, как летом...
Зима Господня, Лето Господне, –
хорошо бы помнить об этом

во всякую стужу души и под
метлой осеннего листопада.
Приоткрывается таинственный жизни испод,
даже ежели и не надо.
Остаётся внимательнее глядеть
в завтра, как на мосты Хокусая,
и догадываться на треть,
что опасно не все провисают.

Мельницы старой Литвы, широкий размах полей,
очи озёр, по тропинке кривой тарахтит престарелый старлей,
переделавший новый «урал» на самодельный «харлей давидзонович»; мята
моей подстилкой и крепким сном на ней (поют комары) измята. Я-то

хотел ночевать на мельнице, чтобы утром выйти на хутор в хлебной
пыли, а вышло – в лесу, где сумрак совинный и что-то свистит и поёт,
и постоянно всё растёт и передвигается; и нет, поди, целебней
этой натур-философии, этой, что ли, тайны, зеленеет мох, и к озерцу енот

подкрался и громко дышит, бьёт воду лапой; хорошо в лесу одному:
вепрь не тронет, собака не съест, дрозд не клонет, скворец в темя
не шарахнет, только пересмеёт весь ночной звукомир, вмятый только ему,
и по травам-муравам бегают разнообразное и мелкое племя.



А мельницы богов мелют поздно, но мелко; девочка лет двадцати, с каштановой косой, выпрыгнувшей из-под платка и голубо-серым взором, когда я её повстречал и спросил, де-где здесь можно поесть и как пройти туда, – угостила домашним хлебом и брагой, что в корзине несла. И хором

деревья пели, а после кланялись, собирался ливень, и мельницы размахивали руками, и аисты реяли в небесах, смешно подвися худыми ногами... Боже, когда всё это было, ты помнишь? А я помню отлично, но расскажу в другой раз; а после бражки я всё же дошёл до ночлега, на хутор, но сильно ушиб ногу о камень.

ЗАТАКТ

Затакт, полоса заката, словно порез на руке,
в реке купается месяц, не вмещаясь в волну;
снимай сарафан, выпьем за тёмную птицу выпь; на реке
заглянсь светляки, как фонарики китайские на лодочках; ну,

снимай скорей сарафан – какая ночь! – и как можно белеть
трусиками в этой фиолетовой тяжести; река, как рукав
измятой рубашки, морщит; и ивы сквозят на ветру, и если смерть
бывает – то пусть забирает обоих, тяжела душе, но на скорую ногу легка!

Что бы там ни было – жизнь происходит, в огороде, похож на фонарь, цветёт
укроп; коты и дети мечутся, не зная, куда себя деть; а ты сарафан сняла,
и ленивым жестом отбросила; над головою – до и от –
бесконечное небо, горизонта не ведая... Я думаю, ты поняла, –

ещё бы не поняла... И пусть в душе бывает такой уже магадан,
Богом или бесом данный; когда бы нам знать, откуда ноги растут
у наших горестей; но счастье объятий сильнее... Можно собрать чемодан
белых разлук, положить туда лук и копчёную курицу; и тут

ты надела очки и взглянула в глаза мне строго,
потом улыбнулась, как кошка на солнце сощурилась, глядя
на всю эту судьбу, возможно не одобряя; и только у Бога
получишь прощенье за все чудеса; и рассвет занавеску разгладил.

Утренняя птица говорит на своём, а переводя на урюмое наше
наречье, – то выйдет примерно так: «Уж когда уж, уж когда...»;
сочечка или синица, какая разнища; и ангелы в облачной каше
увязают, ризы теряя, и прячась то за дым из труб, то за провода.

В жизни, радость моя, не всем сестрам по серьгам и не
всем братьям по «бмв», а коли стало бы так, то повеситься можно,
модно одевшись (смена белья последнего), врубить Брайана Ино
или Игги Попа, что уже всё равно, и раскачиваться осторожно,

маятником над паркетом, а нету паркета, так над линолеумом;
пару дней вас не кинутся: мало ли – ушли в запой, словно в гости,
но МЧС плечью взрывает дверь, летят замки... и движется умом,
метафизически ужасаясь, но думая о своём, а у вас уже вылезли кости.

А утренняя соечка Богу поёт, свирисит на ветру, утирая носы
гунгивым и толстым птицам, класса «голубь-голубь, земля-земля»,
и лучше не знать и не видеть каштановых, на свечках, капель росы,
и не слышать мира вовне, и как через дорогу шумят и кланяются тополя.



Я пишу что-то вне эклоги или элегии, вне авто-эпитафии, вне стиха, как ни назови, зато – это кто-то прочтёт, если вообще возьмётся читать, до конца...
Ну не Вергилий я вам, родные, и не Пастернак; и эта трель о простой любви звучит, возможно, как дрель в стене, и не слышно конца буренино, и не видно лица

твоего и моего, за этой пылкой пылью, словно попал в лавину, но выбрался, на смех себе самому и самому же себе во спасение...
Я уже как-то писал, что человек человеку – бревно, и это так, но всё равно, я знаю другое, а вам не скажу, читайте Толстого, например, «Воскресение».

Душа, как бабушка, куда-то шла, а очнулась
неизвестно где, у забора унылого, и проснулась,
словно лошадь, ноздрями учуяв свежий овёс;
да нет никакого овса, и на кой её только принёс

сюда злой зефир, или эол гладкий собою, или борей?..
Ничего в ней от Эвридики, что на каменистом дворе
стирала б в ушате опорки придуманному Орфею;
от такой жизни даже анемичные Офелии худеют,

а после идут в кабак – съесть ростбиф, от которого в зобу горячо,
и зря тошиться не след, прикидываясь получившей детским мячом
по голове... А душа, как недужная дура, стучится во все ворота,
вроде, бы не шла, а всё тянет Вечностью изо рта.

И всей своей немотой, не оглядываясь на похожих,
судонепроницаемых, заведомо ненужных прохожих –
что всегда мимо зрячка, она, как все сородичи ей, к тебе прилетит...
И ещё не родился и не вырос – кто это ей запретит.

Куда нам податься, когда ничего не готово к движению, и вялый рюкзак
привалился на бок в прихожей, собранный кое как; в дому бардак; дурак-
торшер шершавит линолеум, всё как после погрома и ничего не найти
полезного, что смогло бы хоть как-то пригодиться в пути... Без двадцати

Вечность, кукушкой из форточки, но заело её, и сама спросила – который
век, год, час... ответить нечего, скоро, всё слишком скоро, а «литерный» оро-
шает уже пути циклоповым оком страшным; и рельсные стыки, с лёгонькой кривизной,
манят, как молоко котят, и семафоры подмигивают; и от локомотива перегар и зной.

За мной – ноево, но не ковчегово, былых разлук и неразборчивая чепуха
невнятных слов и объятий – долой это всё теперь: Господи, до греха
не доводи слабого, я и так, всё, что помнил и знал про это, забыл давно, и не надо
от прошлого мне ни куска простыни теперь, ни песка страсти в горсти, ни рая, ни ада.

Наяда не скажет – «да» или «нет» – она природой своей иная, сродни твоей;
хорошо, что не ундина или дриада: одна утопит, другая туда совлечёт, где пой или пей –
ничего не поможет уже, да и так выходит, почитай, что мне и не разобрать, как это
совместимо со мною; и хорошо, что так, пусть и останется в наших душах лепестком света.

В твоём далеке, на озере или на реке, где густые леса стоят, точно рота,
затаившись, как перед атакой, ты можешь мечтать о судьбе, рыбу удить, но кто-то
иной (он не зверь лесной), с рыжеволосой белочкой на седоватом темени,
будет всегда словно бы стоять за кустом брусники, и думать, как категория времени

не переходит в геометрические расчёты пространства, – напротив, их отменяет; я слышу, как юркнул енот, стрекоза прошелестела, «ахнул» крылом скворец, или стая аистов, пространство глотая, потянулась к родным гнездовьям, на гвозди столбов; я слышу твой звукомир, твой круг любовных примет, и вижу, как ленивое поголовье

туч тянется в сторону польской границы, пролёт без виз; пространство зевает, раскрыв над страной все небеса, что там скопились; меня там нет, но – есть я, точно некий нарыв на этой, однажды увиденной – вместе с тобою – и общим взором, местности... И не надо ума изощрённого или иного какого, чтобы понять, о чём я говорю... Иначе будет просто тюрьма

всему; поодиночке выжить, глядя на тот же закат и рассвет, на котов и собак, на нежных старух, сидящих под солнышком где-нибудь в скверике, на ценники в магазине, на всё – так перехватит дух, – не получится так, мир будет линять, как гуашь или старая акварель, терять тональность и звук... Я пишу эти строки тебе, километры мне нипочём, мы никогда с тобою не разнимали рук.

Голубинная ночь, возня и воркотня сизарей в листве; ты далека от меня, но ты рядом, и довольно этого мне, чтобы дышать майским терпким воздухом, сиренью; а в голове дурдом и банан в придачу, но зато в своей тишине я слышу твой голос, днём и ночами; каштаны свечами машут и кланяются, почти что выскочив на дорогу; нынче нет звёзд в небесах, но ангелы небо качают на спинах, меж крыл упругих, и тихо; и слава богу, что ты есть у меня; а если Он приберёт меня (а Он – мера вещей и закон), прости за самоочевидность яви – не покинь, схорони под стеною, и чтобы со всех сторон не истуканы гипсовые, а кусты сирени стояли. Аве, Отче, помилуй и даждь нам, и любимую мою упаси от всех напастей, елико возможно, ведь на облаках (как в детстве мнилось) – конечно, на небеси; Боже, приблизь меня к тебе, любимая! И эта строка, как шнурочек или ручеёк, вьётся, между пауз скользя; ничего словами рифмованными не рассказать, не передать, но попытка – не плита гробовая, а не пытаться нельзя, всё равно мы вместе в твоей и моей тишине, в нашей. И на стене дома напротив, за тенью листвы, белеет лепнина, как белые клавиши, что от бетховенского остались, на пузе лёжа, на пару с ним, то ли рояля, то ли пианино, просто, такая деталь, в сущности – малость. Жизнь оказалась длиннее, чем думалось, но не удачней судьбы; и кроме смерти пока ещё всё поправимо... Я написал, как сумел, тебе, в меру таланта, родная! А на даче у кого-то одно барбекю и тоска неизлечимая.

TE DEUM

Настрой мобильный на стаю, кружащую над крестами и шпилями города, над тополями и полями пригорода; воздушный их променад – лучшая связь, а не спутник, с его соплями

антенн, солнечными крематориями батарей, – всё это может и подвести... Хотя кому там рассказывать свои истории? – Бог пребывает везде: и после пяти,

и в половине восьмого – всегда обратиться можно, сиречь круглосуточно, пусть посредством птицы.



Однако же око зубу, как говоритья не кореш.
В жизни не только чужую брнетку нельзя обнять
(точнее – не стоит): наколешь дров, ерунды напорешь;
К главному не прильнуть, не достать, не понять.

То-то у дуба с осокой свои антиномии,
и в сорок решать эти ребусы запахло.
Жизнь вытекает из принципа экономии,
как и слабой кобыле трэба по силам седло,
и седок с деликатным нравом, да где же взять?..
Но и как птицы – не хочется, что скользят

своими стихиями: грозами, ухабами облаков...
Меня б укатало, как сивку – крутые горки;
и сам к себе на горгоши и на егорки
взобравшись, себя же волочишь туда, далеко...

А там, гляди, опять не случай, так тать
отберёт кобылу, мобильный и даст по дыне...
Тогда-то и позовёшь небесную рать,
рыдая не столь от боли, сколь от гордыни.
Но стая кружит, легка, и пока я их слышу и вижу, –
горнее мне ясней, хотя и не ближе.

От такого заката голуби сходили с ума,
уматывая – кто повыше, в слоистую вату его,
кто на карнизы и в слуховые окна, где тьма
была спокойнее этих тонов; и назвать волшебством

всё это было возможно, но более – магией; ей
только подвластно такое влияние на живое:
на птаху, собаку, прохожего; над соборами и далью полей
свисали цветные полосы и закат был, как ножевое

ранение из-за угла, и небо словно текло; и пекло
его сухожилья и мышцы, а меж домов, и роц, и
над пустотой жнивья, – охлаждающий, как ночное стекло,
вился ветерок, торопя этот вечер; и дышалось проще.

Я вообще не раз не замечал закатов, глядя куда
удобно: вокруг, в себя, в никуда, в абсолютно чужое лицо
или мимо него, под ногами могла проскользнуть слюда
асфальта, литься смальта грязи, а жизнь казаться концом

всего или началом; а нынче как-то особенно проняло;
ощущение, точно нечто лопнуло и стряслось в глазах;
может, такое надо бы запоминать – день и число,
но память возьмёт у зрения, как у сердца берёт слеза.

И весь тот длинный вечер, и всю невозможную ночь
я боялся потери тебя в себе и себя в тебе, и
закат так и остался во мне, и было не превозмочь
тревоги, и листвы ещё не было, только почки, побегу...

Береги себя для грядущей судьбы, как жизнь самоё
себя умеет хранить, как ухо – понимать тишину.
Тот закат точно орал на всё небо, но когда поёт
тишина, это дороже мне, словно радость в печаль обернул.

ВЕРА ЗУБАРЕВА

ОБЕРНИСЬ!

Постояли, оплакали. Всё, как в прозе.
Помянули кого-то, кем он и не был.
Кто-то горстку стихов на прощанье бросил,
И смешалось с землёю,
Что было небом.
Разъезжались,
Немного мучались смыслом
По дороге в своё продолжение, там где
Остывали уже электронные письма,
Дожидалась жизнь на одной из стадий.
Жил да был да ушёл, не прощаясь, как бросил.
Нараспашку судьба.
Осень вымела праздник,
Бусы ягод рвала, расплетала косы,
Чтоб закончить вьюгою сказку сказок.
Растворялось пространство, но вечер медлил,
Дописать хотел ещё что-то вроде
Колокольного солнца с отливом медным,
И по глади морской – куполов полновожье.
Росчерк света завис, где души не стало,
И сиял до потёмок струной одинокой.
И вздохнул кто-то: «Ангел отбился от стаи».
Город в ночь погружался подводной лодкой.

Он сказал: «Обернись!»
Поле жизни – как поле стрельбищ.
Впереди лишь надгробья от тех, кто сумел его перейти.
Он сказал: «Обернись! А иначе – окаменеешь.
Если в будущность хочешь – обернись!». И во всём бытии
Только он говорил, только ты лишь стоял и слушал.
Настороженно время взвело курок.
И зрачок у пространства был болезненно сужен.
Путь один за пределами трёх дорог.
Посему – нет распутия у смерти, а есть бездорожье.
Посему – есть распутия у жизни и выбор дорог.
Он сказал: «Обернись!»
«Обернись!» он сказал, и продолжил...
Но об этом писалось уже не раз между строк.
И тогда ты поверил, хотя не читал междустрочий,
И я видела как
Вдруг обмякли мышцы спины,
И я знала, что это – наступление ночи,
Что отобрано поле навек,
Но подарены – сны.



Елене Скульской

Рябь чернил, испещрённая гладь –
 Берег детства,
 И дремучею чашей тетрадь
 Манит в бегство –
 К штопке дома, в замедленный сон,
 В двоемирье.
 Две египетских бабки объём
 Растворили
 В предвечернем луче косом.
 Связи крепнут,
 Возвращаясь волшебным кольцом
 В жизни реку.
 Доски к ванной прилажены. Спать.
 Краткость вдоха.
 День – отрывок и повести часть.
 Сон – эпоха.
 Дремают рыбы с открытым ртом.
 Бродит строчка.
 И отец шелестит за окном:
 – Лиля, дочка...

Мама ходит по кромке земли и неба.
 Там гроза собирается, тучи лежат тюфяками.
 Люди спят на них. Лица бабки её и деда –
 Словно вмятины в тёмной небесной ткани.
 Смотрит, смотрит на них. То ли ждёт, что проснутся, то ли
 Заглянуть норовит им под веки, где бродят ветра.
 Мама ходит по кромке древнего поля
 Там, где небо с землёю сомкнулись, как завтра с вчера.
 Я стою на другом конце жизни её, наблюдаю,
 Как когда-то она наблюдала за мной из окна.
 – Не ходи, – говорю ей тихо, – по краю.
 («Не ложись на краю», – когда-то пела она.)
 Беспощадное поле растёт между мною и ею,
 Превращается в море, и брезжит за ним океан.
 Я ладони сложила в молитве о ней колыбелью
 И качаю в них время, чтоб тише несло по волнам.

ПРИШЕЛЕЦ

Опять ты здесь. Опять мой добрый сон
 Пойдёт по руслу не моих фантазий.
 Опять он будет полон безобразий
 И возмутителен изменчивостью форм.
 Прошу тебя, оставь меня, оставь!
 Мой сон – творец бывалых впечатлений.
 Равно как сны всех бывших поколений,
 Он – отголосок яви, но не явь.

...Иду к полузабытому окну.
 Колодец-дворик, как и в детстве, узок.
 В нём призрачное эхо лунных музык
 Способно вдохновить меня одну.

Старинный двор, ты скопище дождей,
 Вселенная размытых отражений,
 Обманчивый, угрюмый мир брожений
 Изменчиво-незыблемых идей.
 Любимый двор, сторонник вечеров,
 Ты верен лишь вечернему укладу,
 Где ветхость крыши твой составляет кров,
 Как сырость – вечную твою прохладу.
 Здесь вечно всё: коляска у двери,
 Старушка на скамейке у порога,
 Её молитва на день раза три,
 Вязание и ожиданье Бога.

Ах, двор мой, двор!
 Ты снишься мне не раз,
 И в сне моём себе ты уподоблен.
 Но нынче – сон с безумием помолвлен,
 Но нынче – в сон вклинился чуждый глаз.
 Он вывернет мгновенно наизнанку
 Все образы, пришедшие ко мне.
 И появленье это спозаранку
 Предначертали в заревом огне
 Тревожные багряные прологи.
 Вздвигались неба летнего ожоги
 И облаками проносились в дне.
 День полыхал июльским наваждением,
 Потрескивали остро провода,
 И ветер с неприкрытым вождельем
 Засматривался в сумерки, туда,
 Где я для встречи подобью подушку,
 Дабы увидеть незабвенный двор,
 Коляску, одинокую старушку,
 Пришедшую в бессменный свой дозор...
 И я могла, могла предугадать,
 Не впадши в морок полдня-погорельца,
 Что ветер – вестник, отраженье, тать,
 Забава вслед идущего Пришельца!

...Мой чёрный двор безмолвен и убог.
 Он отражения не-сущих мечет.
 В нём равнозначны двери и порог.
 Молчит дитя, рождённое под вечер.
 Неслышною молитвой сведены
 Натруженные челюсти старухи,
 И ангелы, которые должны
 Её услышать, – далеки и глухи.

Окочененье вечера. Пора
 Зажечь созвездий мутные лампы,
 Что заготовлены ещё с утра
 Чертовской пронищательностью взгляда.
 И там, где отражение моё
 Навстречу мне вечерний взгляд сулило,
 Старуха руки мертвенно сложила,
 И спит ребёнок справа от неё.
 И различаю я свои черты
 В чертах младенца и старухи, влитой
 В скамью. И у порога – у черты –
 Готовы к погребению, омыты
 Дворовой сыростью мои мечты.
 Былые дни теперь – надгробья плиты.



Что написать, ну что же написать!..
Скорей, пока с душой нерасторжима,
Пока загадка мной неразрешима,
А значит – можно кое-что сказать!..
Но что же, что? Старуха и ребёнок.
Порог и двери. Явь и сон во сне.
Неодолимый чёткий ход потёмок –
Как стрелок ход, направленный ко мне.

Кем я была? Сначала – этим тельцем,
Немогущим открыть заслон дверей.
Затем – желающей переступить скорей
Порог. Но между, помнится, с Припельцем
Мне доводилось по свету кружить
И на бумаге ночью ворожить,
И мнить не подмастерьем, но умельцем
Себя... Но как проверить, как дожить
До истины единственной, до знания
Зачем жила, кружила для чего,
И агнца невинного закланье
Коль было впрямь, то агнца – чьего,
Чьих стад? Припельца?
Кто пастух? Не ветер?
Кто очевидец? Не сожжённый ль день?
А нож – не месяц, сгорбившийся в дельте
Ночи?.. Но вряд ли эта дребедень
Надгробными могла бы стать стихами.
Прощаюсь с агнцами, их пастухами.
Смотрю в колодец скорбного двора –
Старуха безымянностью мудра
И сложенными в благости руками.
Младенец снами путаными мудр,
И предстоит ему немало утр,
Пока забудется он яви снами.

Припелец спутывает мыслей ход.
Он очерёдность знает и черёд.
И он не посягнёт на день грядущий,
Как на ушедший день не посягнёт.
Его владенье – настоящий миг.
Моё владенье – прошлое, и только.
Мы в этом с ним не сходимся нисколько
С тех пор, как этот мир со мной возник.
Весь этот мир, в котором добрый двор
Предметом стал полночных размышлений.
Припелец – гость. Я – узник посещений.
И вряд ли мне его оспорить вздор.

ЕЛЕНА БОРИШПОЛЕЦ

КРАСНАЯ ТЕНЬ ТВОЯ

ДОЛГ

Город вынимает меня мокрую из земли,
Распнуровывает детскую грудь, как спортивную грушу.
Город, город, ты три кожи моих сдери,
И три воли моих сотри,
Всё не моего ума дело: любить, моего ума дело: слушать,
Как дни плывут на единственном в мире плоту,
Связанном старой девой на новых спицах,
Чтобы пугать одинокую темноту,
Тело держать в поту,
Чтобы умом не маяться, а глупостям не присниться.
Украшай причалы белыми перьями голубей,
Как голову зимней ёлки, отрубленную на праздник,
Как телесные ткани клоунов и врачей,
Спуск к берегу ничей,
Он дикий, заросший и как мы с тобой – безотказный.
Когда от Пророка будет двенадцатое письмо,
Расступится белое море, вскричат цветные медузы,
Распорется брюхо песочное,
А на второе дно,
Лягут твои соловьи, их голоса и спаянные союзы.
Когда за нас не скажут единственный Отче Наш,
Мы проклянем все гавани, всех капитанов на корабле.
Обещай, что ты и тогда меня не продашь,
А возвратишь,
Как прощённый долг, тёплой живой земле.

ПОСЛЕ

До и после Вифлеемского мальчика было слово,
Серебряные черви любви,
Усмирение плоти, дорога в Рай через
Многолюдную и крошечную Голгофу.
Был день третий и тысячи дней потом,
Залитые тёплым человеческим потом
И сбитый навечно с толку, преданный, добрый Сын.
Была смерть во имя жизни в походах

На окровавленных шёлковых символах
Тысячи падали не для воскрешения
Падали, падали, падают всё ещё, как один.

После всякой истории о Царях и особенно, –
О небесных.
Люди выносят их на плечах
Люди уносят их на плечах
Только всё больше к бездне.



До и после Адольфа были словесные штурмы,
Был молодой Иосиф, который писал стихи,
А потом у того Иосифа были свои торьмы
(Мечтать нужно возвышенно),
Они излучали солнце, шаги в них были легки.

После голодных дней и бескрылых мух,
Слов было не меньше, как после Нью-Йоркских башен,
Всё разрывается глухо и немо. Вслух,
Делятся дети на очень чужих и наших.
Делятся округи на квадратные лоскуты,
Делятся головы на участие и на участь,
Распределяются степени под научность,
Двигается очередь в пост занимать посты.

После двенадцати ночи я дико хочу спать,
Но широко открываю свои глаза.
Мне нужно всё это себе сказать,
Мне нужно всё это тебе сказать,
Мне нужно две спички, всего ничего,
Для тех, кому завтра со мной стоять,
Для тех, кому завтра за мной стоять,
Но спичек нет и за мной никого.

РИМ

Никогда не будет столько твоих прохлад,
Столько твоих простуд, чтобы их стало вдоволь.
Мне не спокойно возле тебя так,
Словно черти поют про чужой Багдад,
И я этим песням – главный припев и повод.

Точно мой день – производная от греха,
И каждый закат мне сулит лишь двойную плату.
Что это крошится красное
В середину жизни с побеленного потолка?
Кто эти люди, что входят в неё, как в палату?

У кого ты пил из груди свою красоту,
Для кого держал её спящую в расписной колыбели?
Этот мир у порога Марса
Роняет свою единственную звезду,
А я нахожу её у острого края твоей постели.

Завтра я задушу себя твоей простыней,
Тёплой, как десять солнц, живущих не по системе,
И дорога в Рим
Доставит меня домой,
Где я стану ждать тебя, вместе с другими всеми.

ОХРА

В пальцах хрустнул Вермеер.
Девочка, остановись, ты моё спасение
И остаток остатков.
Если тебя другими заменят,
В мире оставляю только горку заплаток,
Ни одного полотна.



Я надрываюсь от твоей лёгкости
И боюсь видеть твои плечевые дуги,
В них – сила сил.
У моей охры не хватит плотности врезать
Их в холст, как раболепно бы я не просил
И не давал пить у себя из вены.

Ты светлее белого света
Опустив глаза, крушишь мою маленькую тишину
Много-много раз.
Сведи моё дрожащее существо с умом,
Выведи из говорящих язык, и уже сейчас
Ты получишь свой жемчуг.

Но не останься в моей петле.
Продай мне укус, подари пшалу из дома ралуги
Для сладкой крови,
Чтобы я жил без тебя,
Без тебя грунтовал свои дни и готовил
Красную тень твою
раненому себе.

ЗВЕЗДОПАД

Вот, сегодня мне демоны поутру говорят:
Надевай броню, догоняй отряд.
Там зияет дыра седьмой год подряд,
И простужен фланг, и закончился нафтизин,
И талоны расстреляны в продовольственный магазин.
Не растягивай аккордеон, не тяни резин.

Суженому-муженому не звони,
Не стучи свой SOS в трюм большой родни,
Не милуй, скажут, велят – казни.
Распластайся маслом на бутерброд,
Съешь его быстрее, чем возьмут твой дот,
Вытирай полынью свой сладкий рот.

Настели соломы в окопный ряд,
Здесь ещё заляжет притихший зад
И дождется кары под ивой гад.
Это вам не Зинке стелить шинель,
Это вам у ели – разбиться в ель!
Это мыться мылом, что для петель.

Я лежу нетоварной мордой своей в песок
И какой-то ангельский голосок говорит:
«Привет солдат, хватит сцать, солдат!
Выходи смотреть на утренний звездопад».

МЯГА

Вместительность шкафа имеет значение,
Когда все твои Диоры в нём на местах,
А я – глубоко в тебе,
И тонны нас заменяют рыбу, вино,
И хождение по воде,
А остальное – голод и разговоры.



Давай подпишем контракт, что
 Никогда не будет никаких контрактов.
 Всё только по образу и подобию.
 Без пробирок,
 Пустынь, задатков.
 Всё по-старому, всё по-новому.

Моя белая память станет тебе холстом,
 Безрамной твоей сублимацией
 От обратного,
 Спящим влечением вниз лицом,
 Освобождением от круга пятого,
 Друга тобой заклятого.

Слушается и гудит наравне с маяком,
 Дыхание твоей рубцеватой кожи.
 Спи не долго,
 Мой запёкшийся ком,
 Я без тебя – ничто.
 Вхожу,
 Чтобы и ты тоже
 Немела и плакала,
 Как мята под языком.

БУНИН

Три окаянных засова
 Голод в нарядном платье
 Перечеркнут два слова
 Лёгкую смерть на закате
 Через одну минуту
 Бунина вскроют в аллее
 На день рождения Анюты
 Между деревьев стемнеет
 Долгая жизнь у Ивана
 Я как Иван не умею
 Мне ещё рано для раны
 Я поливаю аллеи
 Курят смотрящие с тыла
 Режутся в карты и просто
 Поле, ковыль и кобыла
 Русский жуёт перекрёсток
 Русскую плачут песню
 Русского губят белой
 Господи, по лбу тресни
 Чтобы и я посмела
 Перекатиться с ветром
 Сплонуть четыре раза
 Русским остаться пеплом
 Русским быть ртом и глазом
 Ванечка, Ваня Бунин
 Снится Одесса-мама
 Что мне за это будет
 Рана, надеюсь рана

Ч.Б.

Белая магия, пусть твой бог
 Сделает из рыбьего скелета мечеть.
 Черная магия, пусть твой бог
 Сделает из рыбьего скелета мечеть



И кости помолятся со всех ног
За тех, кто не будет в них громко петь.

Сонная девушка пусть войдёт
В реку голая, как кинжал,
И откроется в ней кинжалом.
В долгой воде оставляя
Быстрому плавнику
Жизнь, которая – не начало.

Зыбкость всего утопит её ступни
Мягкие и сырые,
А внутри расколется минарет
На купола иные.

Без остановки рыба плавви
Магии будут всегда в крови
Мёртвые и живые.

ЕЛЕНА САВРАНСКАЯ

ПО ЗАКОНАМ ЖАНРА

рассказ

*Больше всего в любовь с первого взгляда
верят режиссёры короткометражных фильмов*

Он прокрался в магазин цветов, надвинув на глаза кепку и пряча лицо в поднятый воротник. Купил цветы – к счастью, продавщица попалась старая и нетрезвая, а то бы не пронесло.

Короткими перебежками, следя за тем, чтобы не дай бог никого не сбить, не зацепиться, не обратить на себя внимание, в магазин за тортом. Там было пару неприятных минут, пока продавщица изо всех сил улыбалась, упаковывая эту гору безе!!! и шоколада в коробку, но тоже пронесло.

Замызанная куртка, засаленный шарф, ногти, которыми специально перед выходом вскопал землю в горшке с фикусом – и в лицо уже никто не смотрит.

А лендровер он предусмотрительно оставлял подальше от мест покупок.

Фух, пронесло!

Он уложил торт на заднее сидение, к цветам и вину.

Теперь надо было только переждать тот час, пока все спешат домой и забита трасса. Он знал один ресторанчик в глубине сквера, малолюдный, тёмный, где за столиками на балконе вообще никого не бывает. Там и скоротает время.

– Пожалуйста, не надо со мной знакомиться, – твёрдо произнесла женщина за соседним столиком.

Он осторожно оглянулся. Женщина была так себе – невзрачная русая головка, серый свитер, а больше ничего не видно – всё загораживал огромный букет цветов в руках высокого bruneta в дорогом костюме.

– Прошу вас – не надо. Вам же будет потом от этого хуже.

– Неужели? – подумал он, покачав головой.

Встал, забросил за плечо свой драный шарф, вальяжно подошел к мужчине и похлопал его по плечу

– Ты, это, отвали от моей жены, да?

– Ну, наконец-то, Миша. Сколько можно тебя ждть? – женщина встала и бесстрашно чмокнула его в щеку. – Это мой муж, прости, пожалуйста, не хотела тебя расстраивать и всё такое... – скороговоркой проговорила женщина неудачливому поклоннику. – И пожалуйста, не надо никаких спен ревности, ладно?

Через пару минут они остались одни.

– Спасибо, – вымученно вздохнула женщина. – Не знаю, кто вы, да и не хочу знать. Просто спасибо.

Она повернулась и снова села в дальний тёмный угол.

Похоже, что у неё такие же проблемы, подумал он, глядя, как женщина нервным жестом поправляет тёмные очки.

Он заказал глинтвейн и горячий шоколад и без приглашения сел за её столик.

– Пожалуйста, не надо со мной знакомиться, – сказала женщина вымученно. – Это очень благородно с вашей стороны, помочь мне избавиться от навязчивого поклонника, но и с вами я знакомиться не хочу.

– Вы не поняли, – он снял потёртую куртку, под которой обнаружился полшарковский свитер. – У меня та же проблема. Вы ведь – счастливая героиня новогоднего фильма? Там, где по сценарию – любовь с первого взгляда и хэппи-энд?

Женщина стянула очки, застонала и ткнулась лицом в ладони.

– Вы-то откуда знаете?

– А я тоже – герой этого чёртового сценария. В кого я только не влюбляюсь каждый новый год! В домработницу, в продавщицу, в библиотекаршу, в учительницу..., – он вздохнул и помотал головой. – Это ужас, что такое. Как проклятие какое-то. Каждый раз я валяюсь в ногах, как последняя тряпка, везу их всех в Париж, вот вы не знаете, почему их надо обязательно в Париж таскать, а?

– Ужас наступает как раз потом. Когда месяца через три вы понимаете, что это было наваждение, блажь какая-то. Ну с чего вдруг вам бросать красивую женщину, с которой вы так или иначе научились существовать и вдруг влюбляться в тридцатилетнюю старую деву, у которой целлюлит во всех местах,



которая треплет вам нервы своим трагическим неверием в ваши чувства и не умеет вести себя ни в обществе, ни в постели. И вы сбегаете, как последний трус, от этого кошмара, пытаетесь помириться со своей женщиной, а перед новым годом всё опять начинается сначала.

– Э... мда. Тут вы правы. И чувствую себя как последний подлец и поделаться ничего не могу.

– А я? Вы знаете, как это ужасно? Каждый раз с наступлением нового года бояться выйти на улицу? Каждый раз знакомиться с какими-то олигархами, которые начинают возить меня по магазинам готового платья, салонам красоты и ювелирным, чтобы успеть привести меня в порядок, чтобы показать гостям. А потом, когда это новогоднее безумие закончится, просыпаться с ужасом и гадать: меня сегодня бросят, или завтра?

– Дома не пробовали запираяться?

– Пробовала! Так они ошибаются дверью, я заливаю их водой, у меня начинается пожар и прочие глупости, которые приходят в голову сценаристам. Если б вы знали, как я устала! Я могу кричать, звать на помощь, обливать их водой – они всё равно с блаженным выражением лица будут лезть ко мне с цветами и подарками, а я покоя хочу!!! Вот, забила сюда, и тут нашли. Этот с букетом – он был третьим, понимаете?!

– А вы похуже одеваться не пробовали? Вот, я сегодня у своего садовника куртку одолжил, вроде ничего – уже семь вечера, а я пока, тьфу-тьфу! – он постучал по столу.

– Похуже? Ну, я же всё-таки женщина, – она с сомнением оглядела себя и его. – Не-ет, на такие жертвы я не пойду.

– А вы чем вообще по жизни занимаетесь?

– Офисный работник, если кратко.

– Нравится?

– Нет. Думаю уйти на фриланс и на время этого дурдома сбегать куда-нибудь подальше. Хотя, путешествия – самое лакомое место для сценаристов.

– Да, опасно. Я пробовал.

– А вы кто?

– Председатель правления...

– Не надо! – быстро перебила она его и оглянулась. – Вот на этом стоп! А то мы снова влипаем в этот дурацкий сценарий. Сейчас мы найдём много общего, вам придёт в голову мысль попробовать еще раз, а я...

– Стоп-стоп! Всё! – он хлопнул по столу.

Она вздрогнула и остановилась. Медленно закрыла рот.

– Спасибо, – помолчав, сказала она.

– Знаете, в этом что-то есть. Если мы будем друг друга одёргивать, может нам удастся в этот новый год не влипнуть в очередной роман?

– К сожалению, мы не сможем просидеть тут всю ночь. Этот рестораник закрывается в одиннадцать. Они принципиально не работают в новогоднюю ночь. Да и потом, кто вас ждёт дома?

– Ну, она такая... он нарисовал в воздухе плавный изгиб. – И умная. И нервы треплет весьма профессионально, знает, когда остановиться. И в постели – ураган. И самое главное – она уже два раза меня простила. И я обещал ей, что в это раз – ни-ни.

– Вот видите. Ваша задача сегодня добраться до дома.

– А вы?

– У меня всё просто. Я живу с мамой и котом. Давно и счастливо. Меня устраивает моё одиночество и моя свобода. Конечно, я не отказалась бы от красивого романа, но только как приложения к моей жизни. А вот этот вихрь, каждый раз ломающий мои планы – это так противно. Я ведь влюбляюсь, честно влюбляюсь, и потом реву как дура, когда меня бросают. Ведь я совсем не красавица и времени у меня не так много, чтобы ухаживать за собой, как это делают все эти барышни.

– Ну, вы бы в салон сходили, – он окинул её профессиональным взглядом. – На фитнес, к парикмахеру. Ничего такого, сначала сложно, потом втянетесь. У вас глаза красивые и улыбка...

– Стоп!

Он вздрогнул и встряхнулся. Они рассмеялись.

– Вот видите?

– Да уж... кошмар какой-то. Лучше бы я не прогонял вашего ухажёра с букетом.

– Вот что, давайте расходиться, пока не началось.

Они встали из-за столика и пошли вниз. По мере того, как они спускались с балкона, их охватывало нехорошее предчувствие.

– В котором часу они закрываются? – окидывая взглядом пустой ресторан, освещённый только дежурным светом и уличными фонарями, спросил он.

– Господи! Сегодня же короткий день. Они нас, что, забыли, да?

– Твою мать! Я так и знал!

Она сбежала вниз и стала колотить в двери. Далеко вспыхивали новогодние огни, мелькали силуэты людей, но тут, в этой части сквера было пустынно.

– Ещё не всё потеряно! Сейчас сработает сигнализация и за нами придут.



- Нет у них сигнализации. И сторож запил. Я у них постоянная клиентка, знаю.
- Он сел на ступеньки и устало вздохнул.
- Вот и всё. Мы заперты с вами тут на всю ночь.
- И главное, нам никто не поверит, что это случайно.

Новогодняя ночь. Он и она в запертом ресторане – всё равно, что на необитаемом острове. Мобильные телефоны, по закону жанра, перестали работать ещё днём. А в ресторане телефон сломан со вчерашнего дня.

Всюду новогодние игрушки, гирлянды, в углу мерцает разноцветными шарами ёлка.

- Шампанское откроем? – тускло спрашивает женщина. – Новый год, всё-таки.
- Лучше водки, – мрачно отвечает мужчина. – И давайте хотя бы не будем целоваться?

Герои обречённо смотрят друг на друга и синхронно вздыхают. Сценарий неумолимо продолжает развиваться по законам жанра.

... В ЗВЁЗДНОМ НЕБЕ

рассказ

Солнце здесь – дикое. Ослепительное, яркое, жаркое. Вот только из-за горизонта его выманить каждый раз – большая проблема.

Каждое утро я сижу на старом каменном пирсе и жаду, пока яркий оранжевый мячик пугливо выглянет из-за горизонта. Выглянет, и тут же спрячется. Потом снова – выглянет. Я протягиваю руки, и оно осторожно протягивает свои лучи навстречу.

Помнишь, на площади святого Антония мы точно так же подманивали голубей? Сидишь неподвижно, с раскрытой ладонью, полной крошек и ждёшь...

Ожидание. Время, потраченное на него, я могла бы поменять на что-нибудь другое. Ты говорил мне: нельзя быть ответственной за всё на свете. Ты думаешь, солнце не взойдёт без тебя? А вот не взойдёт.

Улочки узкие, сбегают к морю, словно ручейки. Над головами прохожих нависают резные балкончики, похожие на гнёзда. С балконов свешиваются толстые разноцветные коты. Равнодушно следят за прохожими.

На набережной – маленькая кафешка. Пятнадцать сортов кофе. Тридцать сортов сладкой выпечки. Хозяйка приносит чашечки, и мы в полном молчании сидим и любимся медленно поднимающимся солнцем.

А свой обратный билет я порвала и выкинула. В кармане есть ещё три монетки. Три монетки здесь – это очень много.

Замечательный город – всё в одном экземпляре: один базарчик, одна аптека, одна почта. Почтальон ходит по городу с огромной кожаной сумкой, потёртой, заслуженной. Знает всех в лицо. Отдаёт письма на улицах. Заходит в аптеку, на базар – ему лень тащиться вверх по крутым улочкам, а на базаре можно встретить всех.

Мне он вчера принес залитую воском бутылку из-под вина. На просвет видна свёрнутая в трубочку бумажка, несколько ракушек и какая-то веточка.

– Это вам, – сказал он и поставил бутылку на стол.

– Но я не жаду никаких писем. Ни от кого. И потом, откуда вы знаете, что эта бутылка, на которой нет никакого адреса – предназначена мне?

– Я служу почтальоном уже двадцать лет, – с достоинством ответил он на это. – Я ни разу не ошибся.

Я сняла мансарду на Вишнёвой улице. Вкусно звучит, да? Вишнёвая улица. Можно произносить это название и облизывать пальцы. Вишнёвая улица, дом 12, во дворе по железной лестнице на самый верх, можно не стучать – не заперто.

Деревянный пол выкрашен вишнёвой краской. Я ложусь на согретый солнцем квадрат у окна, сворачиваюсь в клубок и пытаюсь превратиться в кошку.

У меня есть ещё три монетки, комната оплачена на месяц вперёд, и в запасе ещё целых тридцать дней, чтобы постигнуть искусство оборотничества.

Бутылка с письмом стоит на подоконнике, отбрасывая на пол острую тень. У меня не хватило сил вытащить пробку. Я просила почтальона, но он сказал, что не имеет права вскрывать чужие письма.

– Вы откроете её сами. Когда придёт время.

Я открою тебе тайну. Когда у тебя нет денег, нет времени, нет дома, нет семьи, нет работы, нет ничего, за что стоит беспокоиться, что страшно потерять, у тебя есть огромное потрясающее право – право выбора, и ещё у тебя есть мужество.



Я знаю, что будь я дочерью, сестрой, женой, матерью, коллегой по работе, владелицей дома, обладательницей хоть какого-то запаса денег – я никогда в жизни не гуляла бы по городу под дождём: как же, ведь можно простудиться. Я никогда не подошла бы к человеку, сидящему на набережной в шторм – чёрт его знает, кто этот парень в тонкой куртке, сторбившийся на холодном ветру. Может он сумасшедший, может он бомж. И никогда не забрала бы его к себе. Чёрт его знает, может он обворует меня, в конце концов, и что я скажу домашним...

Но я была той, кем была – без дома, денег, надежда и даже без имени. Всё моё имущество составляла сумка с вещами, три монетки и залитая воском бутылка с письмом внутри неизвестно от кого и непонятно кому.

Я была той, что каждое утро встаёт в половину пятого и идёт на старый пирс выманивать капризное солнце из-за горизонта.

Я была той, что гуляла под дождём и подумывала – не снять ли обувь, потому что бродить босиком...

Поэтому я подошла к одинокой фигуре на набережной, наклонилась, заглянула в пустое лицо с оставившимся взглядом и сказала: пойдём.

– Я..., – сказал он хрипло. – Я...

– Пойдём. Ты замёрз и простудишься. Давай, давай, – я дёрнула его за рукав. – Вставай. Ну же! Господи-боже, мне завтра вставать в полпятого, пошли!

Я открою тебе ещё одну тайну – когда ты вот так, одним движением руки и мысли, не раздумывая, решаешь что-то за другого человека, берёшь на себя ответственность за это, в этот самый момент мир вокруг обретает ясность. Мир вокруг обретает форму. Обретает цвет, вкус, запах, звук...

Секундная стрелка сдвигается с места.

– Пошли.

И мы пошли.

Набережная. Аллея. Два квартала по Вишнёвой улочке. Арка двора. Железная лестница на самый верх. Дверь.

Где-то во дворе ветер внезапно стих, и дождь теперь падал крупными тёплыми каплями, уютно стуча по крыше.

Пару дней назад, я – которая ничего не готовила дома – купила банку какао в магазине «Колониальные товары и минеральные воды». Большую жестяную банку, расписанную диковинными зверями и цветами.

И когда я сунула моему найдёнышу в руки толстую чашку с горячим какао, он начал смеяться. Он смеялся, запрокинув голову, встряхивая мокрыми волосами, сверкая узкими лисьими глазами, и я рассмеялась в ответ.

Утром небо было затянуто тучами. Я смотрела на открывающуюся из окна панораму залива, допивала остатки какао из чашки – катала на языке густую сладость и улыбалась. Потом потянулась, раздвинула тучи, словно занавески и вернулась в постель.

Я ещё думала, обзревая при поселении скудную меблировку моей комнаты: а на кой мне двуспальная кровать – металлическая, старая, с шинечками на спинках и скрипучей панцирной сеткой?

Оказалось – надо.

Я посмотрела на россыпь рыжих волос, похожих на перья взъерошенной птицы – ах, да, я забыла сказать – обсохнув, мой найдёныш оказался тёмно-рыжим, высоким, худым, с лисьими янтарными глазами на узком лице. Поставила чашку на подоконник и нырнула под одеяло, в кольцо горячих рук, ног, губ...

Ладно, дальше не интересно. Со времён сотворения мира люди не придумали ничего нового, что могло бы случиться между мужчиной и женщиной, оказавшимися под одним одеялом.

А солнце покапризничало немного и встало само. Я смотрела, как первые лучи вычерчивают прозрачные тени и думала, что ты был прав: солнце взойдёт и без меня. И это даже приятно – не нести за солнце никакой ответственности.

Быть ответственным за всё на свете – такая тяжёлая и неблагодарная работа.

Сыр, зелень, тонкие хрустящие лепёшки, помидоры, вино.

Жара, запах персиков, ленивое мявканье котов на карнизе.

Съесть кусочек сыра, запить вином и целоваться.

Денег нет. И высокое искусство превращение в кота я тоже не освою. Секундная стрелка острым лезвием отсекает от моего времени кусочек за кусочком.

Ещё один поцелуй. Ещё один глоток вина.

– Что это?

– Это письмо.

– В бутылке?

– В бутылке.

– Почему ты её не откроешь?

– Она не открывается.



– Давай я?

– Нет. В этом городе не принято вскрывать чужие письма.

– А откуда ты знаешь, что это письмо тебе? Тут нет твоего имени. И адреса нет. Кстати, как тебя...

Я накрываю его губы пальцами. У меня нет имени. Нет адреса. Нет и не надо.

Он ловит мои пальцы губами, прикусывает и лукаво щурится. В этот момент он похож на рыжего кота. Похоже, что искусство превращения мой найдёныш постиг в совершенстве. Откуда же он взялся и почему сидел под дождём, словно человек, которому некуда идти?

– Послушай, а...

Он накрывает мои губы пальцами и качает головой.

Когда ты берёшь за кого-то ответственность, нужно быть готовым в любой момент разжать руку и отпустить. Нужно уметь не придумывать никаких историй и не задавать никаких вопросов. Нужно быть готовым к тому, что следом за тем, кого ты подбираешь на пустынной набережной под дождём, в твою жизнь может прийти всё, что угодно.

Может быть ты... и есть... моя... смерть?..

– Хочешь какао? – спрашивает он.

Он чертовски красив в одних джинсах, босоногий, высокий, худой, гибкий. И пока он варит какао на маленькой плитке, я обнимаю его и целую между лопаток. Какао он варит значительно лучше меня и пусть будет, как будет. До конца месяца ещё одиннадцать дней.

Ветер свободно гуляет по комнате от окна к двери. Комната пуста. Редкие здесь облака украсили небо. Очень похоже на шарики пломбира. Протягиваю руку из окна и пробую ближайшее – нет, на вкус не очень. Или просто какао перебило всё своей сладостью.

Он оставил мне, уходя, чашку горячего какао.

Ни о чем не жалеть. Ни на что не надеяться. Ничего не искать. Вот что должно быть написано на клочке бумаги, запечатанной в бутылке, которую я так и не смогла открыть. Пробка вогнана плотно, не подковырнешь ножом, а штопора нет.

И зачем мне её открывать, если я и так знаю, что там написано твоим острым почерком? Ни о чём не жалеть. Ни на что не надеяться. Ничего не искать.

Я беру бутылку за длинное узкое горло и со всей силы опускаю на металлическую спинку. Взрыв, сравнимый по силе со вспышкой сверхновой. Крупные осколки стекла усеивают пол. Может быть, я только что уничтожила какой-то мир, спрятанный за стеклом, чью-то маленькую вселенную, состоящую из нескольких ракушек, хрупкой вишнёвой веточки и листка желтоватой бумаги с истрёпанными краями.

В определённый момент времени всё заканчивается, не так ли?

«Иди за ним» – написано косым острым почерком. Старой перьевой ручкой. Фиолетовые чернила выцвели от времени и порыжели, словно пряди волос.

Иди за ним!

Если ты однажды выходишь из дома в дождь, чтобы подобрать кого-то на пустой набережной... Если ты обладаешь достаточной смелостью, чтобы отдать себя без остатка, ложной скромности, мнимой гордости и ненужных сомнений... Тогда у тебя должно оказаться достаточно сил, чтобы идти за ним.

И пусть дурацкий вопрос: а нужна ли ты ему, никогда не придёт тебе в голову.

Это так смешно – кто-то оставляет после себя рожденных детей, построенные дома, написанные книги, добрую память.

После меня остались – прости, хозяйка – осколки бутылки, полбанки какао и невымытая чашка.

Да, ещё – радуга в звёздном небе.

СЕРГЕЙ ШАМАНОВ

МОТАНКА

рассказ

Игорь и Юля любили друг друга так сильно, что испытывали страх. Молодым людям казалось, что столь сильное чувство способна остановить лишь смерть. И пускай им было рано об этом думать, но шемещащая тревога порой омрачала бесценные мгновения их совместного счастья.

– Что с тобой? – спросила Юля, заметив, как он побледнел.

– Всё нормально, – улыбнулся Игорь, вынув ключ из замка зажигания.

Он посмотрел через окошко машины на пятиэтажный дом с фасадом из окрашенного кирпича и отыскал глазами тёмные окна своей квартиры. Улыбка против воли исчезла с его лица.

– Точно, всё нормально?

Игорь поцеловал девушку:

– Всё не просто нормально. Всё отлично! Ведь ты сейчас со мной.

Они встречались уже месяц, и он первый раз привёз Юлю к себе. Девушка, сжимая букет белых роз, бежала за ним по лестнице. Едва они разделись, Игорь принялся показывать госте свою квартиру. Через длинный коридор они прошли в уютную кухню, стены которой были выложены кафелем цвета кофе с молоком, заглянули в санузел с белоснежной чугунной ванной, размер которой казался больше стандартного и наталкивал на мысли о том, что в ней должно быть очень приятно лежать и плескаться вдвоём, и на её широких углах Юля сразу присмотрела места для свечей. Полки дубового шкафа гостиной пестрели корешками книг, а напротив кожаного дивана расположился домашний кинотеатр. Игорь собрал ладонью белый сноп из ткани полупрозрачной занавеси, и аккуратно отодвинул в сторону, чтобы открыть балконную дверь и выпустить свежий воздух в комнату. Юля полубоком высунулась на балкон и восхищённым взглядом окинула вид на уютный вечерний двор. Когда экскурсия дошла до спальни, с большой двуспальной кроватью, они в ней надолго задержались. Где-то в полночь Игорь встал с постели, чтобы проверить дверь, которая оказалась незапертой, и поставить цветы в вазу. Вернувшись, он лёг в постель, и только собрался чмокнуть возлюбленную в щёку, как она вздрогнула и проснулась. Приподнявшись на матрасе, она встревоженно посмотрела в сторону Игоря и, тяжело ворочая языком после пробуждения, произнесла:

– Зачем? Зачем ты мне это сказал?!

Он сразу понял, что ей приснился кошмар и попытался успокоить девушку. Юля резко схватила его запястье, так словно он хотел не погладить её, а ударить.

– Я ничего не говорил!

– Ты сказал: убирайся отсюда!

На его лице отразилось беспокойство.

– Тебе приснилось!

Во мраке глаза проснувшейся девушки приобрели осмысленность. Она поцеловала его руку с тыльной стороны и отпустила.

– Да, точно приснилось. Голос был женским, – вспомнила она, спрятав ладони под подушкой.

– Вот и хорошо, – кивнул он.

– Если ты только не прячешь здесь женщин...

– Утром я разрешу проверить тебе все шкафы и закутки квартиры, а сейчас спи, – распорядился он, улыбнувшись.

Юля послушно закрыла глаза, и он поцеловал её.

Игорь вскоре уснул, а она ещё долго ворочалась – так, словно Морфей не решался взять в свои объятия девушку на непривычном для них обоих месте.

Утром запах кофе разбудил Юлю, и она, боясь опоздать на работу, подскочила с кровати. Игорь, стряпая завтрак, услышал пронзительный девичий крик и опрометью выскочил из кухни в гостиную. Девушка застыла перед журнальным столиком, скатерть которого была усыпана лепестками роз. Некоторые стебли оказались, словно нарочно, сломаны.

– Зачем ты это сделал? – спросила она.



– Я ничего с ними не делал!

– А кто тогда? – спросила она.

Игорь растерянно пожал плечами. Он хорошо помнил, как ставил букет в вазу перед сном – тот был целым и свежим. Любые догадки относительно того, что случилось с букетом, порождали самые неприятные версии, и он решительно их откинул.

– Никто с ними ничего не делал! Наверное, такие цветы подсунули, не пережили даже ночь, – нашёлся он.

– Может, ты их уронил? – девушка выпрямила согнутый пополам стебель, который тут же, едва она перестала его поддерживать, откинулся вниз под непосильной тяжестью бутона.

– Вроде бы не ронял, – ответил Игорь. – Я куплю тебе новые цветы. Не переживай! – попросил он, прижимая к себе девушку.

Они переместились в кухню, пора было завтракать и спешить на работу. Игорь трудился в небольшой строительной фирме – работа не особенно нравилась, но пока устраивала. Юля работала продавщицей в спортивном магазине торгового центра, где они и познакомились. Девушка тайком читала книгу нового модного философа, и парень, словив её за этим занятием – разговорился с ней, и пригласил в театр. Юля заканчивала заочное обучение в университете и мечтала о чём-то большем, так же, как и он. Найдя друг друга, они поняли, что, как бы ни складывалась их дальнейшая жизнь и карьера – им уже повезло. В личной жизни они были счастливы и старались это счастье оберегать.

В машине Юля была задумчива – он списал это на недосып. Вечером, купив после работы новые цветы, он встретил девушку, и они снова поехали к нему.

Ночью кошмары продолжили мучить Юлю. Зловещие голоса, грозящие ей из углов спальни и тревожащие от неё убираться отсюда, сосредоточились в одном месте и даже обрели плоть. Грозная фигура возвышалась у изножья кровати и, забравшись на неё, поползла к девушке. Она была одета в мешковину, на лице маска, перечёркнутая крест-накрест широкой лентой с мрачным орнаментом. Юля хотела закричать, но руки в тканых перчатках закрыли ей рот, и она начала задыхаться. Игорь спал крепким сном, не подозревая об отчаянной борьбе. Юля протянула руку к маске и сорвала ленту, закрывавшую её глаза. Увиденное было столь ужасно, что девушка проснулась. Она села в кровати и прикоснулась рукой к мирно спящему Игорю. Он не реагировал, и тревожный страх овладел девушкой. Она положила руку ему на грудь и сразу успокоилась, ощутив биение сердца и мерное дыхание лёгких. Юле показалось, что за ней снова кто-то наблюдает. Обернувшись, она увидела на комодике перед кроватью куклу-мотанку. Кукла с чёрным крестом вместо лица вызвала у неё иступлённый ужас. Девушка подошла к комоду, и схватив невесомую куклу, спрятала её в шкафчике гостиной, заперев дверь спальни.

Она уже готова была заснуть, как вдруг дверь спальни резко распахнулась настежь, и в проёме застыла фигура в человеческий рост, костном которой в точности повторял внешний облик изгнанной из спальни куклы-мотанки.

Но, наверное, это всё-таки был сон. Юля в этот момент спала, свернувшись калачиком.

Утром Игорь решил сделать Юле приятный сюрприз и принёс завтрак в постель. Девушка пригубила кофе и поставила маленькую чашку на блюде с таким звоном, словно хотела разбить кофейную посуду.

Он спросил, что случилось, но девушка не видела его. Она смотрела на куклу, возвышавшуюся на прежнем месте, посреди комода.

– Зачем ты снова её здесь поставил? Мне снились кошмары из-за неё!

Игорь равнодушно глянул на куклу и покачал головой:

– Я не трогал её.

Девушка с недоверием покосилась на молодого человека.

– Я только собрал разбросанные книги на ковре, а к ней даже не прикасался. Тебе, наверное, приснилось...

Юля не знала, что ответить. Она помнила, что прятала куклу в шкаф, и разбросанные книги свидетельствовали об этом. Но в голове был такой сумбур, что она сама сомневалась в себе.

– Как мы можем быть вместе, если ты обманываешь меня? – спросила она. – Ты точно не трогал её?

– Точно! Клянусь! Смысл мне врать из-за такой ерунды?

Действительно, врать было не из-за чего, и Юля легко поверила ему.

Вечером того же дня она, собрав дома необходимые вещи, переехала к нему. Осваиваясь в квартире, она каждый раз испытывала дискомфорт в спальне. Когда читала книгу в свете торшера – ей казалось, что кукла смотрит на неё. Когда, взгромоздившись на ненадёжную конструкцию из двух табуретов, Юля вытирала пыль на шкафу, вставая на цыпочки, чтобы достать самые дальние закутки, ей показалось, что мотанка стоит иначе, чем раньше, словно обернулась в её сторону. В выходной день, оставшись одна, она, поливая на подоконнике цветы, снова почувствовала за собой слежку, и обернувшись, встретила устремлённый на себя крест. Теперь кукла была повернута в сторону, противоположную шкафу – это было трудно оправдать случайностью, и Юле было боязно вылезать из-за занавеси, разделявшей их, точно похоронный саван.

Капли воды упали на ламинат между босых ног девушки. Она не заметила, что жидкость пролилась из горлышка неловко опущенной лейки. Юля резко дернула занавесь и, подойдя к комоду, взяла мотанку



ку в руки. Сидя на кровати, она разглядывала куклу, прощупывая её, и понятно, что не нашла никаких механизмов, способных привести её в движение.

Кукла была шита и связана из белого полотенца, и одета в клетчатую чёрно-белую рубашечку и пышную юбку из чёрной джинсовой ткани; наряд такой имел мало общего с народными костюмами. Ленты, делавшие лицо на четыре части, проходя от лба к подбородку и вдоль глаз, были траурного цвета с мрачным орнаментом в готическом стиле. На шее висело подобие мониста – связка обычных женских браслетов из бус и камушков, какие носят на запястьях с весенне-летними нарядами. Юля попробовала отодвинуть в сторону ленту – та оказалась не пришитой. Из-под ленты на девушку уставились большие чёрные глаза! Холодок прошел по спине Юли – глаза, конечно, были не настоящими, вышитыми из чёрных ниток с нанизанными бисеринками, но производили гипнотическое действие. Тело девушки отяжелело, а потом перестало подчиняться ей. Застыв с куклой в руках, она сидела на кровати и до неё доносились голоса, фонающие по углам комнаты, и в этих потусторонних угрозах отчётливо было слышно последнее предупреждение, требование убираться из этой квартиры, сулящее в случае невыполнения – смерть!

Лицо куклы заколебалось маревом перед глазами девушки и начало увеличиваться, поднимаясь, как дым от костра. Из транса Юлю вывела острая боль, и она, вскрикнув, уронила мотанку на пол. Подушечка указательного пальца сочилась кровью. «Скорей всего, пронзила одной из булавок», – думала она, промывая рану под краном. Когда она зашла в спальню – кукла возвышалась на прежнем месте, но она не помнила, сама ли её туда поставила или нет.

Юля поборола желание спрятать мотанку – клин клином вышибают, нужно было просто перебороть в себе страх перед ней. Ничего эта кукла не может сделать, и привыкнуть к её присутствию будет более действенным способом борьбы, чем просто прятать её.

Юля читала в кровати книги по психологии, и поглядывала на куклу. Несколько дней ничего странного не происходило, не было кошмаров, и она перестала замечать её. Игоря на один день отправляли в командировку, и на вопрос – желает ли она остаться у него или поехать к своей маме, Юля уверено ответила, что побудет эти дни у него.

Проводив Игоря на вечерний поезд, девушка в непривычном одиночестве поужинала перед телевизором. Читая книгу, она, дав отдых глазам, незаметно заснула. Ей снились ножи, отвертки, полотенца – всё это хранилось в шкафах кухонного стола, которые она отодвигала, словно искала что-то, но не вещь, а ответ на вопрос. Ей слышался злоеший раскатистый смех, но проснулась она от приятной мелодии, слушая которую, не хотелось вставать, и она бы спала дальше, если бы не знала, что эта романтическая мелодия установлена на звонки от Игоря.

– Алло, любимая – всё в порядке?

Ей хотелось ответить ему, но воздуха в легких не было. Встрепенувшись, она резко встала на кровати и почувствовав запах газа, бросила телефон на постель и мигом выбежала из спальни.

Игорь кричал в трубку, а Юля, ворвавшись в кухню, не включая свет, услышала шум газа из конфорок и, подойдя к плите, перекрыла газовый клапан на трубе.

Настежь открыв рамы кухонного окна, она случайно опрокинула горшочки с цветами, которые со звоном обрушились на кафель. Девушка, проветривая квартиру, везде распахнула окна и даже парадную дверь.

Включив свет, она обнаружила, что забыла выключить конфорку, или та просто провернулась. Или... Нет, про куклу она даже не хотела думать, но недобрый смех, звучавший во сне, снова доносился до неё. Как доносился звонок Игоря, сбрасывавшего вызов и снова звонившего.

– Ты спас мне жизнь! – сказала она, и поведала о случившемся.

– Я не мог не позвонить! Хочешь, я вернусь? – взволнованным голосом произнёс он.

– Нет, что ты! Не стоит!

Произошедшее теперь казалось ерундой, но она вздрогнула, посмотрев на мотанку, возле которой лежала опрокинутая их общая с Игорем фотография. Забрав из спальни фоторамку и подушку с одеялом, девушка устроилась на диване в гостиной.

Следующую ночь она провела у себя дома, с мамой. А на следующий день Игорь вернулся и, достав из бара шампанское, предложил выпить за её спасение.

– Давай без алкоголя! – отказалась Юля. – Я хочу быть трезвой, чтобы понимать, что всё происходящее – не плод воспалённого воображения.

Ночью Игорь, засыпая, крепко держал Юлю в объятиях, а девушка смотрела на куклу.

Это была ещё одна бессонная ночь. Кошмары с новой силой навалились на Юлю так, словно злая сила, после неудачной попытки уничтожить девушку в отсутствие Игоря, решила досадить ей таким способом.

Связывая происходящее с мотанкой, девушка решила побольше разузнать о подобных куклах, и направилась в краеведческий музей, где когда-то их видела.

Старый паркет скрипел под ногами, Юля скользила взглядом по стендам с фотографиями и экспозициями, воссоздающими быт людей, живших в этих местах сотни лет назад. Безликий манекен в красном платке и вышитом национальном костюме застыл возле деревянной прялки, сабли, ятаганы и мушкеты висели за стеклом, как противопожарные принадлежности, дожидаящиеся своего часа. Девушка прошла



в комнату, где хранились различные игрушки из глины, музыкальные инструменты, и было несколько кукол мотанок самого неказистого вида. Возле двери, на стульчике, сидел работник музея – пожилой седовласый мужчина, которого она решила расспросить про кукол.

Мужчина прошёл к экспозиции, рывком открыл замок и извлёк одну из кукол, которую любезно протянул девушке. Юля с благоговением взяла игрушку-оберег и рассмотрела её на свету, который пыльными конусами проникал в это полутёмное помещение через мутное окно с деревянными переплётами.

Ничего особенного в мотанке не было – тряпка тряпкой, незамысловато связанная в виде человеческой фигурки.

– Обычаю делать такие куклы – уже несколько сотен лет, – сказал музейный работник, прокашлявшись. – Он пришёл к нам в стародавние времена с Востока. В бедных семьях они заменяли игрушки детям, но основное предназначение – обереги. Их делали с самыми разными целями, и во многом магические свойства куклы зависели от человека, который её создавал.

Юля провела указательным пальцем по полоске закрывавшей глаза мотанки.

– Скажите, а почему у неё нет глаз?

Мужчина кивнул, всем видом одобряя прозвучавший вопрос:

– Обрядным куклам не делали глаза – это считалось очень плохо.

Вышитые глаза мотанки, выглянувшие из почти траурных лент, вновь мелькнули в памяти Юли, и ей стало не по себе.

– Откуда у тебя эта кукла? – спросила Юля у Игоря во время ужина, рассказав о посещении музея.

– Мама подарила! – ответил он и, с недоумением глядя на девушку, сказал. – Нет там никакого злого духа! Тоже мне придумали...

– Отвези её к маме. Или выкинь, – попросила Юля.

Он насушился и вышел из за стола, вернувшись вскоре с мотанкой в руках.

– Тебя пугает эта тряпочка, связанная в виде человека? – усмехнувшись, спросил он и подбросил куклу в руке. – Если развязать – тряпка не будет тебя пугать?

– Лучше выкинь, тряпке место на свалке! – ответила Юля.

Игорь вышел в коридор, и входная дверь хлопнула за ним.

Юля прижалась к оконному стеклу и вскоре увидела Игоря, направляющегося к мусорным контейнерам. Его рука замерла в воздухе, но не решилась отпустить куклу. Он задумчиво посмотрел на мотанку и, достав из кармана телефон, кому-то позвонил. Следующий его звонок был адресован Юле – он сообщил о том, что ненадолго съездит к маме.

Мама пыталась накормить Игоря, извлекая из холодильника то кастрюлю с супом, то казанок с жарким, но он отказывался от ужина. Увидев яблочную вертуту, он согласился присесть за стол, выпить чай.

– Эта кукла тебе дорога? – спросила мать, ставя чайник.

– Очень, я не могу её выкинуть, – покачал головой он.

– Ты не хочешь рассказать своей девушке про неё?

– Думаю, что сейчас этого не стоит делать... Юле постоянно снятся какие-то кошмары, и она связывает это с мотанкой. Если я расскажу про куклу – она лишь утвердится в своем мнении, и я буду виноват. Пусть лучше эта кукла будет у тебя.

Мать поставила перед ним чашку с тарелкой и нарезала угощение большими ломтями.

– Девушки зачастую впечатлительны. А ещё есть женская интуиция, когда ничего не понимаешь, но чувствуешь так, словно кто-то на ухо правду нашептывает...

– Вот-вот, – согласно кивнул Игорь. – Я думаю, что исчезнет кукла – исчезнут и проблемы.

Вскоре Игорь отодвинул от себя чашку с тарелкой и начал собираться домой. Мать не хотела отпускать его с пустыми руками и вручила сумку, наполненную банками с домашними закрутками фруктов и вареньем. Едва он зашёл к себе, чмокнув Юлю в щёку, в коридоре зазвонил телефон, и он, сняв трубку, услышал голос матери. Женщина не могла найти куклу и подумала, что сын передумал оставлять её. Игорь осторожно поглядывая на Юлю, ответил маме, что ничего не забирал.

Повесив трубку, он озабоченно покосился на сумку, привезённую от мамы. Кроме законсервированных банок, там ничего не было, и он упрёкнул себя за легковёрность.

Ночью Юле приснилось, как со скрипом открывается дверь спальни, и что-то приближается к ней. Она всматривалась в черноту проёма, но ничего не видела. Чувство тревоги пробудило её ото сна, и девушка, глядя на дверь, привыкла к темноте, и переведя взгляд на комод, едва не закричала, увидев на нём мотанку.

Она растолкала Игоря. Он, проснувшись, включил свет и, взяв в руки куклу, не мог поверить, что она снова оказалась в квартире, да ещё и на старом месте. Его пугала не столько кукла, сколько он сам. Если до этого он мог обвинять Юлю в домыслах, то теперь боялся того, что с ним происходит нечто, неподвластное ему. Он пытался вспомнить, как брал куклу, но все действия последнего вечера помнились ясно, чуть ли не до секунды, не было ни одного мгновения, позволившего бы ему заподозрить, что он потерял над собой контроль. Но как же тогда?..

– Не могу в это поверить! – несколько раз повторил он на кухне.

– Но мне теперь верить?

Юля закурила сигарету из пачки, забытой друзьями Игоря. Облокотившись на кухонную столешни-



цу за спиной, она глубоко вдыхала дым, глаза бегали по сторонам, иногда останавливаясь на молодом человеке, согнувшимся на табурете.

– А может, ты просто разыгрываешь меня? – спросила девушка. – Признайся – это розыгрыш! Тебе нравится издеваться надо мной!

– Ничего подобного, – ответил он, качая головой.

– Врёшь!

– Не вру! Клянусь – не вру! – с обидой в голосе выпалил Игорь.

– Хорошо, раз клянёшься говорить правду, скажи – откуда у тебя эта кукла?

Он посмотрел на девушку затравленным взглядом и опустил глаза в пол.

– Подарок.

– Это я знаю. Чей?

– Бывшей девушки.

Глаза Юли округлились, хотя в этот момент она поняла, что всё это время подозревала нечто подобное.

Игорь достал из навесного шкафа бутылку коньяка и, плеснув немного в стакан, рассказал про подарок:

– У меня была девушка по имени Варвара. Она очень любила меня. И я её, – он осёкся, глянув на Юлю, потянувшуюся за новой сигаретой. – Однажды она подарила мне эту куклу, и просила дать клятву, что я эту куклу буду всегда хранить, как память о ней, что бы ни случилось. Мы не собирались расставаться, всё шло к свадьбе, но случилось так., – голос его задрожал, – что она погибла. Возвращаясь поздним вечером от подруги, она не справилась с управлением на обледеневшей дороге и попала в аварию. Это были первые дни зимы, её крохотную малолитражку в гармошку расплющило о столб.

– Мне очень жаль, что так вышло, – сказала Юля, глядя на Игоря. – Эта мотанка – её колдовской оберег. Она продолжает воздействовать на тебя, через этот предмет.

Он покачал головой, не соглашаясь с ней, а Юля несколько раз утвердительно кивнула:

– Скажи, ты её ещё любишь? Если любишь – эта кукла будет держать тебя в плену, и ты против воли можешь начать совершать поступки, по сравнению с которыми перепрыгивание этой игрушки покажется ерундой. Ты ещё любишь её?

Игорь, глядя на Юлю, молчал.

Сигарета догорала в руке девушки.

– Тебя я больше люблю, чем её, – наконец ответил он.

– Но её ещё любишь!

Юля раздавила окурочек в медной пепельнице.

– Пока ты не разлюбишь её, кукла будет иметь власть над тобой. Избавься от неё!

Девушка взяла со столика свой мобильный телефон и заказала такси.

Игорь пытался её остановить, но Юля была непоколебима. А когда он предложил отвезти её, она натрез отказалась и принялась спешно собирать вещи.

Игорь, проглотив комочек в горле, взглядом из окна провожал такси, увозящее девушку. Когда машина скрылась, он взял в руки мотанку и снова вспомнил данную когда-то клятву – хранить её. Варвара надевала оберег магическими свойствами, но это не пугало его. Даже самые рациональные девушки склонны верить в гадания и приметы, но он, даже будучи выше всего этого, не мог нарушить слово и выкинуть куклу. Держа её на руках, он проводил пальцем по монисту, когда-то украшавшему запястье девушки, иногда в те моменты, когда на ней ничего, кроме этого браслета, не было. Чёрная джинсовая юбочка напоминала о старых джинсах, обтягивавших её бедра на первых свиданиях. С новой силой он вспоминал Варвару и, поставив куклу на прежнее место, уснул. И бывшая девушка явилась ему во сне, там, где была неразличима граница между грезами и явью. Он говорил с ней, они снова были вместе, и он давал ей новые обещания. Проснувшись, он не помнил детали сна и даже не сразу понял, что в постели он один.

Юля, хоть и уехала от Игоря, ни на минуту о нём не забывала, как не забывала и о кукле. Непривычно одинокий вечер первого дня без своего любимого она решила посвятить поиску информации о куллах-мотанках. Она нашла женщину средних лет, которая занималась их изготовлением, и договорилась о встрече на следующий день.

Это была суббота, день, когда в центре города особенно много празднующегося народа. Юля, пряча руки в изысканной шелковой шали, шла по Приморскому бульвару мимо скамеек, облюбованных пожилыми людьми и влюблёнными парами, вдоль прилавок, заполненных всевозможным рукоделием, за которыми стояли молодые женщины, участницы ярмарки хэнд-мейда. Чего там только не было – часы со стеклянными циферблатами самых необычных форм – от хвостатых рыб и пузатых котов до зелёных бутылок с пейзажами вместо этикеток, многочисленные фигурки, выдутые из разноцветного стекла, окружали пока ещё пустые фоторамки с обрамлением из переплетённых цветов. Декупаж покрывал всевозможные поверхности от цинковых ведёр и бидонов до спичечных коробков, самодельная бижутерия поражала своим разнообразием. На одном столе буквально росли деревья разных размеров и родов, украшенные вместо листьев сверкающими самоцветами, другой стол был разделен полочками на несколько горизонтальных уровней, и на этой лесенке, укрытой серебристой скатертью, как в садах Семи-рамыды, стояли корзинки с цветами из бисера, от лютиков и ромашек до гвоздик и цветущих кактусов. На каждом втором столе был зоопарк из мягких игрушек, выполненных в разных техниках – зайцы и



слоники, котики и популярные мишки-тедди, без которых не обходилась ни одна подобная ярмарка. Оглядев столик с куклами в кружевных нарядах и шляпках, Юля обернулась на окрик и увидела за столом с куклами-мотанками чуть полную, темноволосую женщину в рубашке, вышитой национальными мотивами. Многочисленные мотанки на витрине сгущились, как зайцы в лодке деда Мазая, и не внушали страх, ведь они были такими же красивыми и яркими, как и всё вокруг, да и сама хозяйка не походила на мастерицу, способную вдохнуть в свои творения зло.

– Я вас узнала по фотографии, – сказала она.

– Здравствуйте, Квитана, – произнесла Юля её необычное имя, которое вряд ли было настоящим, но бесспорно шло цветущего вида женщине.

Мастерица предложила отойти в сторону пообщаться, и они, купив капучино у водителя переоборудованного под кофе-бар пикапа, устроились на скамеечке.

– Вы хотите приобрести мотанку? – спросила Квитана.

– Я хочу избавиться от неё, – возразила Юля и, увидев удивление на лице женщины, вкратце поведала ей приключившуюся историю.

Квитана, слушая, лишь качала головой, и поглядывала на своих кукол, словно думала, что и от них можно ожидать чего-то недоброго.

– Всё понятно с этой куклой. Это любовный оберег на верность, призванный оберегать любимого человека от измен и соперниц. Такая кукла очень ревнива и опасна для других девушек. Он должен вернуть эту мотанку бывшей возлюбленной и попросить уничтожить.

– Той девушки нет в живых, – ответила Юля.

– Есть фотография куклы?

– Я не подумала о том, чтобы её снять, да мне и не хотелось бы подобное фото носить с собой, – пояснила Юля, прикусив губу. – Но там есть одна особенность, которая может быть важной... Под лентой у неё вышиты глаза.

Квитана медленно покачала головой:

– Это нельзя ни в коем случае делать! Мотанки – ритуальные по своему назначению куклы, их специально делали без глаз. Считается, что мотанка, созданная для колдовства, с глазами отбирает часть души у того человека, который её сделал. А когда человек этот умирает – его душа переселяется в мотанку. Душа той девушки переселилась в эту куклу!

Юля содрогнулась от услышанного и натянула на плечи шаль, ей было жутко от того, что погибшая девушка могла наблюдать за ними все эти дни. И до сих пор наблюдает за Игорем.

– Та девушка погибла, скорей всего, из-за куклы, глаза, отбирающие часть души – ослабляют человека, рассеивают его внимание!

– Она разбилась за рулём, – подтвердила предположение мастерицы Юля.

– Всё сходится, – кивнула Квитана.

– И что мне теперь делать?

– Нужно вернуться к нему и самой выкинуть куклу. Парень вряд ли сам сможет избавиться от неё – мотанка влияет на него.

Юле страшно было представить, что Игорь находится под влиянием какой-то куклы, в которой к тому же обитает дух его погибшей возлюбленной.

– И это ещё не всё! – сказала Квитана. – Парень твой в серьёзной опасности! Кукла эта не только оберегает от соперниц – она хочет с ним соединиться на том свете! Душа у этой девушки достаточно сильная, чтобы покинуть мотанку. И раз она так сильно его хочет – то найдёт способы довести до гибели!

Юля вспомнила, как чуть не задохнулась от газа, и побледнела. Уж если на неё кукла повлияла, то Игорь, который, по её мнению, неосознанно перекладывал эту куклу – тем более находился в опасности.

Нельзя было терять ни минуты!

– Мне нужно идти, – сказала Юля, поднимаясь со скамейки.

– Если будет нужна помощь, вот., – Квитана протянула визитку. – Поторопись, душа этой девушки не может долго существовать в двух мирах. Но будь осторожна!

Распрошавшись с мастерицей, девушка сразу направилась к Игорю, укоряя себя в том, что бросила его наедине с куклой. Только бы не было поздно! Он не открывал дверь, и она, подёргав ручку двери, набрала его номер, и взволнованно ждала ответа.

– Ты дома? – услышала она его вопрос.

Игорь, купив цветы, подъехал к Юле, чтобы помириться, и включив поворот, уже высматривал место для парковки. Он удивился и одновременно обрадовался, узнав, что девушка стоит под его дверью.

– Никуда не уходи! Я скоро буду, – сказал он.

Юля присела на скамеечке перед детской площадкой. Она глядела на малышей, облепивших качели, и соседней выгуливающих собак, и не верила в реальность происходящего. Вспомнились школьные годы, когда она с подружками гадала на Крещение, во время этих занятий она чувствовала, что у знакомого мира появляется пугающая изнанка, на которую, тем не менее, так хотелось посмотреть, и казалось, что мир станет серым без неё.

Пока девушка окуналась в воспоминания, подъехал Игорь. Парень, выбравшись из машины, достал с заднего сиденья букет осенних цветов и с довольным видом направился к своей возлюбленной.



Расцеловавшись, они немного посидели на скамейке, и Юля поведала о встрече с мастерицей.

– Если эта кукла действительно может угрожать, то мои клятвы недействительны. Выкинь её! – твёрдо произнёс Игорь, протянув ключи.

Он остался внизу, а девушка поднялась в квартиру и, разобравшись с замками, осторожно вошла внутрь.

Мотанка возвышалась на своём месте, глядя чёрным крестом в стену над изголовьем кровати. Девушка нашла в кухне кулёк и брезгливо зашпихнула в него куклу.

Когда она вышла из парадной, Игорь почти демонстративно отвернулся в сторону, и она, пройдя к мусорным контейнерам, пропихнула кулёк в скопившуюся горку мусора.

– Теперь я буду твоей куклой! – радостно объявила Юля.

Он обернулся и заключил девушку в объятия. Целуясь, она приоткрыла глаза и увидела, как бродяга, вытянув кулек из контейнера, рассматривает куклу.

– Идём ко мне! – прошептал Игорь.

– Да, конечно! – сказала она.

В парадной, когда Игорь закрывал дверь, Юля успела разглядеть мужчину уходящего с выкинутой куклой. Игорь же взял девушку на руки и поднял на свой этаж.

До следующего дня они не выходили из квартиры. Юля смотрела на комод, не веря, что всё-таки избавилась от куклы, и думала о бродяге, забравшем её. Игорь тоже временами размышлял о кукле, испытывая урызения совести из-за того, что позволил её выбросить. Обоим теперь казалось, что они приписывали мотанке сверхъестественные качества, которыми та не обладала. Избавиться от куклы оказалось совсем несложно.

Вечером они пошли в кино на романтическую комедию, и Юля смеялась, чего с ней давно не было. Игорь нежно улыбался, глядя на неё в полумраке и весь сеанс держа за руку. Они вышли из кинотеатра, и казалось, что романтическое настроение фильма выплеснулось оттуда вслед за ними и распространилось на весь город. Домой они не спешили, весёлая музыка продолжала звучать в ушах, но вскоре в парадной словно кто-то сменил пластинку, и эта новая мелодия навевала тревогу. Юля, переодевшись, зашла в гостиную и увидела, что лицо Игоря, застывшего на пороге спальни – чернее тени.

Она догадалась раньше, чем он произнёс:

– Она там!

Девушка хотела пройти в спальню, но он преграждал ей путь:

– Ты мне не веришь?

Юля, протиснувшись мимо, заглянула в спальню и увидела мотанку, невозмутимо стоявшую на старом месте.

Девушка не могла вообразить, как утащенная бродягой кукла оказалась здесь снова. Разве что Игорь сам смастерил её, но Юля понимала, что хоть этот вариант и был более реалистичным, на самом деле всё было не так.

– На ней пару пятнышек крови, – многозначительно сообщил Игорь.

Дрожь прошла по спине Юли. Он взял девушку за руку и потащил в кухню, закрывая за собой двери.

– Надо сжечь её! – шепнул он ей на ухо

– Надо было ещё вчера это сделать! – прошептала в ответ она.

– Да кто знал! Не могу ничего понять...

Их лица радостно просияли от такого простого решения. Игорь, приободрившись, прижал к себе Юлю и заговорщицки прошептал:

– Поехали, сделаем это в каком-нибудь заброшенном месте...

Юля покачала головой:

– Я не хочу, чтоб ты с ней ездил!

Игорь согласился:

– Хорошо, здесь будет быстрее и надёжней. Я сгоняю за бензином, сожжём её в старой кастрюле. Сможешь побыть одна?

Юля кивнула:

– Возвращайся скорей!

Игорь побежал вниз, а Юля, на цыпочках пройдя в спальню, посмотрела на мотанку. Лицо перечеёркнутое чёрным крестом, внушало такой страх, словно крышка гроба стояла перед их кроватью. Потусторонний ужас охватил девушку и она, дрожа, на ватных ногах, вернулась в коридор. Сидя на краешке стула, она изнывала от нетерпения в ожидании Игоря.

Он принёс небольшую канистру и поставил на кафед в ванной. Юля приготовила спички – картонный коробок в руках стал мокрым.

Игорь прошёл в спальню и крикнул:

– Её нет!

Услышав это, Юля испытала злость. Вбежав в спальню, она посмотрела на пустой комод, заглянула за дверь. Игорь открыл шкаф, явно надеясь найти в нём кого-то, кто перекладывал куклу. Но в шкафу не было ни человека, ни куклы.



Едва он закрыл зеркальные дверцы, Юля радостно закричала:

– Она под кроватью! Я видела отражение!

Мотанка, действительно, отразилась в зеркале, только когда они сняли покрывало и полезли её доставать, исчезла.

Юля вытряхнула покрывало и тщательно его осмотрела, надеясь что кукла зацепилась за него каким-то образом, но не нашла её.

Она посмотрела под занавесью, под батареей отопления. Заглянула за комод, но и там её не было, да и не должно было быть.

– Я вижу! На шкафу! – крикнул Игорь.

Юля, встав на цыпочки, ничего не увидела, и, только несколько раз подпрыгнув, заметила светлое пятно под потолком и залезла на матрас кровати. Мотанка смотрела на Юлю, стоя прямо посередине шкафа, так словно её водрузили туда для красоты.

Игорь поставил возле шкафа табуретку и полез за куклой.

– Не спускай с неё глаз! – крикнул он.

– Я слежу за ней! – бойко отозвалась девушка.

Табуретка зашаталась под Игорем, Юля бросилась поддержать его.

– Тьфу-ты! Что-то я разнервничался... – посетовал он и, переведя дыхание, снова потянулся за куклой.

Юля запрыгнула на кровать и уже знала, что его ждёт неудача.

– Куклы нет! Что за чертовщина?! – не мог поверить он.

Игорь, ухватившись руками за карниз шкафа, подтянулся на нём и убедился, что там пусто. Мебельная конструкция задрожала под весом молодого мужчины, грозясь обрушиться, и он спрыгнул прямо на табурет, который завалился вместе с ним на ковёр. Юля с ужасом смотрела на Игоря, который поднялся с пола как ни в чём не бывало.

– Ты ничего не сломал?

– Ерунда! Всё в порядке! – отмахнулся Игорь, подмигнув ей.

С фонариком он оглядел пространство между стеной и тыльной стороной шкафа.

– Как сквозь землю провалилась! Может у нас была групповая галлюцинация?

Юля приложила указательный палец к губам:

– Ты слышал?

Игорь прислушался, и ему тоже показалось, что где-то в кухне раздался звук.

– Может быть, ветер?

– Сейчас посмотрим, что за ветер! – решительно сказала Юля.

Заперев спальню, они направились в кухню. Юля по очереди проверяла выдвижные шкафчики с полотенцами и посудой. Звякнувший ящичек со столовыми приборами она несколько раз открыла и закрыла, подумав, что именно этот звук, бьющихся друг об друга вилок и ножей, слышала из спальни.

– За холодильником! – крикнул Игорь.

Юля обернулась, успев разглядеть кусочек куклы, провалившейся за холодильник, словно упавшее с вешалки полотенце.

– Сейчас проверим, что это за массовая галлюцинация у нас! – сказала Юля.

– Ты тоже успела разглядеть?

– Это была она!

Молодые люди отодвинули от стены холодильник, за которым ничего не было.

– Я понимаю, что она может бегать! – сказал Игорь. – Ну ладно, пусть бегает! Но как она умудряется прыгаться?

– Но зато теперь мы точно знаем, что это не мы её перепрыгиваем! – попыталась найти что-то хорошее в происходящем Юля.

– Ага! – согласился Игорь. – А то я думал, что у меня проблемы с головой.

Он натянуто улыбнулся, и ещё раз заглянув за холодильник, затолкал его на место.

– Может быть, она боится? – спросил Игорь.

Юля кивнула:

– Просто скажи ей, что всё кончено.

Вымученная улыбка сошла с лица Игоря:

– Варвара, выходи! Не бойся, мы не будем тебя сжигать. Я отвезу тебя к твоим родителям...

Юля, слушая его, утвердительно кивала.

– Я люблю Юлю! Ничто не изменит этого!

Девушка, внимательно смотревшая на пол, перевела взгляд на Игоря, но не успела ему ответить.

В квартире погас свет.

– Чёрт! Наверное, пробки выбило! – хриплым голосом произнёс Игорь. – Тут старая проводка, а мы включили все лампочки в квартире.

– Я не думаю, что это пробки. Не ходи!

В крошечной тьме он нашёл её руку и крепко жжал, притянув девушку к себе.

– Это правда, что ты сказал?



– Чистая правда, – прошептал он ей на ухо.

Их губы слились в поцелуе. Было приятно и одновременно боязно оттого, что где-то под ногами скрывалась ожившая кукла.

– Я мигом, – сказал он, выпустив Юлю из рук.

Смутный очерк его фигуры растворился во мраке. Было слышно, как чиркнула спичка.

В дрожащем свете огня Игорь нашёл причину. Как он и предполагал – выбило пробку. Едва он опустил язычок рубильника, вместе со светом раздался пронзительный крик, сопровождаемый вознёй.

Игорь пулей метнулся в кухню. Юля, прижав руки к груди, смотрела расширенными от ужаса глазами на пол. У её ног, на кафеле, валялся окровавленный кухонный нож.

– Ты ранена?

– Она пыталась забраться на меня – я её скинула!

– Надо обработать рану!

Юля уселась на кухонный стол и подняла юбку выше колена. Игорь сел перед ней на табуретку и осмотрел сочащийся кровью порез. Он пришёлся на левую икру и оказался неглубоким. Девушка вскрикнула от жалищего прикосновения йода.

– Потерпи, – попросил он, и дуя на рану, обработал её и перевязал.

Юля сжав зубы, мужественно перенесла боль, не переставая думать о кукле:

– Что будем делать? – спросила она.

– Думаю, не стоит здесь оставаться. Переночуем у моей мамы. Там и решим.

Юля поняла, что другого выхода у них нет. Ночевать здесь было так же опасно, как в аквариуме с ядовитой змеей. Девушка могла снова вернуться к себе, но не хотела оставлять Игоря.

– Жди здесь, не слезь со стола! Я соберу необходимые вещи, и поедем.

Оглядываясь, Игорь шёл по коридору. Его привлек запах бензина, и он, заглянув в ванну, чтобы забрать канистру, увидел падающую на пол спичку!

Канистра была открыта – кукла хотела устроить пожар!

За шторками ванны что-то шевелилось. Игорь, глядя на петельки, играющие на натянутой веревке, не решался раздвинуть шторы.

Закрыв канистру, он глубоко вдохнув, отодвинул край занавески.

Куклы не было.

Едва он это заметил, что-то толкнуло его в бок, и он повалился в ванну, чуть не сорвав занавески.

Выбравшись, он схватил канистру, и вернувшись к Юле, жестом дал ей понять, что пора уходить.

Они выключили везде свет, и внимательно глядя под ноги, вышли в парадную и закрыли дверь.

Спускаясь по лестнице, они продолжали оглядываться. Игорь даже вывернул карманы куртки и капюшон, дабы удостовериться, что мотанка не забралась в них. Всё было чисто.

Во дворе они трусцой побежали к машине.

– Окно! Ты оставила открытым окно? – спросил он, садясь в авто.

Юля подняла глаза на фасад и увидела болтающуюся раму кухонного окна, за которым ветер, как паруса, надувал занавеску.

– Нет, я не трогала его! – возразила девушка.

Игорь мрачно кивнул, заподозрив худшее, и завёл машину.

Юля, устраниваясь в кресле, поправила салонное зеркальце и вскрикнула. На заднем сиденье она увидела мотанку.

– Мне показалось, что она была здесь! – перегнувшись через спинку сиденья, девушка осматривала салон.

– Раз показалось, значит, так оно и было на самом деле! – произнёс Игорь и, заглушив авто, вытащил на всякий случай ключ.

Они выбрались из машины и осмотрели салон, уделив особое внимание пространству под сиденьями.

– Всё чисто!

– Или она хорошо спряталась... – заметил Игорь.

– Извини, наверное, мне просто показалось, от страха...

Они сели в машину и тронулись.

– Вот мама удивится, – задумчиво сказал Игорь, вырulingая со двора.

Юля посмотрела на часы – было начало десятого.

– Не ожидала с ней познакомиться при таких обстоятельствах.

Дорога была свободной, и они быстро преодолевали расстояние. Внедорожник перед ними притормозил, делая правый поворот. Игорь резко вывернул руль на левую полосу, чтобы не влететь в него.

– Не работают тормоза! – крикнул он, давя на педаль.

Впереди зажёгся красный сигнал светофора, и он пролетел перед тронувшимися авто, как между зубцами пилорамы. Одна машина резко затормозила, остановившись, как вкопанная. От сигнальных гудков они чуть не оглохли.

Игорь бил по педали тормозов, надеясь, что они заработают. Но скорость не падала, ему приходилось лавировать между припаркованными в крайней полосе машинами и авто на дороге. Юля, вжавшись



в сиденье, смотрела на приближающийся красный шар над очередным перекрёстком. В последний момент он стал зелёным, и она облегчённо выдохнула.

Игорь свернул с главной дороги на второстепенную, и, царапая правый бок машины о кусты, тормозил ручником. Юля, прикрыв лицо рукой, тревожно смотрела на ветки, бьющие стёкла машины, точно плети. Наконец авто остановилось.

– Приехали! – сказал он, переводя дыхание.

Юля выудила из кармашка визитку мастерицы, и рассматривала её в тусклом свете от приборов управления.

– Придётся вызвать такси. Машиной займусь завтра.

– Не стоит ехать к маме! Тут есть адрес женщины-мастера, минут за пятнадцать мы до неё дойдём.

Игорь понимал, что у мамы они вряд ли спрячутся, а значит, надо искать какие-то способы борьбы с куклой. Им нечего было ей противопоставить, и приходилось надеяться на помощь извне.

– Идём к этой доброй ведьме, – согласился он, и они вышли из машины.

Квитана жила в районе частной застройки, и пройдя пару кварталов, они пошли по неровной дороге, хаотично засаженной кустами и деревьями, мимо одно-двухэтажных домов, огороженных заборами.

– Как твоя ножка?

– Идти могу, – ответила Юля.

Девушка уже и забыла, что нога её ранена и при ходьбе действительно немного болела.

Зелёные глаза сверкнули во мраке, и они заметили приближающегося к ним здоровенного пса, если не овчарку, то наверняка её помесь. Игорь навёл фонарик на морду зверя, и они поняли, что ничего хорошего от этой собаки не стоит ожидать.

– Только нельзя бежать! – крикнула Юля, тем не менее, припустив.

Игорь побежал вслед за ней, свет фонарика прыгал по земле, высвечивая их ноги. Собака, зарывчав, ускорила, отгалкиваясь от земли могучими лапами.

Молодые люди бежали, ожидая, что в любое мгновение в них вонзятся острые зубы. Собака их настигла, и тут же отпрянула в сторону – за забором яростно лаял огромный пёс, просунув морду между кольев ограды.

Игорь обнял Юлю и сказал:

– Идём! Собака не будет преследовать нас, они агрессивны только на своей территории.

– Там тоже могут быть собаки, – испуганно сказала она.

– Волков бояться – в лес не ходить, – пошутил он. – Мы уже почти пришли.

Они шли по проезжей части, озираясь на заборы, за которыми окрестные псы устроили настоящий гвалт, сопровождая их до дома мастерицы.

Окна Квитаны обнадёживающе горели, но кнопки звонка на воротах не было. Юля набрала номер женщины, но та не брала трубку. Если сигнальный звонок её телефона не был отключён – она вполне могла не слышать его из-за своего ротвейлера, который, прыгая на цепи, лаял на незваных гостей, поднявших переполох в квартале.

– Что будем делать? Попробуем пройти мимо пса? – упавшим голосом спросила она.

– Есть вариант попроще, – сказал Игорь и нагнулся к дорожке перед воротами, чтобы насобирать камушков.

Складывая камушки в ладонь, он увидел, как закачались стебли цветов в палисаднике у дороги, так, словно какой-то зверёк прошмыгнул там. Или спрятался.

Он подошёл к вызвавшему подозрения месту, но там ничего не было. Ни кошки, ни...

Чуть дальше от того места, где застыл Игорь, дёрнулись лопухи.

– Что там? – спросила Юля.

– Боюсь, мы не одни пожаловали в гости! – заметил Игорь, возвращаясь к ней.

Камушки сделали своё дело, и Квитана, открыв дверь, узнала Юлю и пригласила ночных гостей в дом.

У мастерицы было уютно, благоухало пряными травами, на окнах висели вышитые занавески, и везде было много кукол-мотанок. Угостив молодых людей чаем, хозяйка выслушала историю их злоключений.

– Никогда не встречалась с подобным, только в книжках читала, – удивлённо сказала она, и прибавила: – Да не смотрите так на моих кукол, они не нападут на вас!

Игорь отвлёк взгляд от кукол, а Юле, сидящей напротив окна, кукла, наоборот, померещилась в чёрном проёме. И снова шипящие голоса зашумели в её голове, казалось, они исходят от мотанок мастерицы, недовольных тем, что в окно смотрит мотанка, преследовавшая гостей.

Квитана, словно почувствовав то же, что и Юля, встала со стула и прошагала к окну. Собака снова разлаялась, так что видение Юли было небезосновательным.

Мастерица что-то прошептала в окно, до них только долетела фраза: «ишь, распалилась!», и вернулась за стол.

– Что же нам делать? – спросила Юля. – Есть какое-то средство?

– Вам противостоит очень сильный оберег, – озабоченно сказала Квитана.

– Ну, это мы заметили... – одновременно ответили гости.



– А как звали девушку, подарившую куклу? – задумавшись о чём-то, спросила Квитана.

– Варвара, – ответил Игорь.

Мастерица изменилась в лице и, заламывая руки, произнесла:

– Ох, я знала одну Варвару. Редкое имя. Эта девушка просила меня помочь ей сделать оберег. У неё был сильный характер, и сама она была чуть ли не ведьмой.

– Она рассказывала, что в роду у неё было много женщин, занимающихся травничеством, приворотами, – вспомнил Игорь.

– Нелегко вам будет, – снова вздохнула мастерица. – И хоть была она злым человеком, парня своего сильно любила. От этого и оберег её сильный.

– Что же нам делать? – спросила Юля.

– Способ противостоять ей есть, – сказала Квитана. – Ты должна в противовес ей сделать свой оберег.

Мастерица поднялась со стола и вернулась с большой книгой, обложка которой была украшена изображениями мотанок.

– Древняя книга? – восхищённо спросил Игорь.

Квитана покачала головой и скептически улыбнулась:

– Знания в ней древние, но сама книга не изедена червями и не пропитана кровью. Долгие годы я собирала эти знания по всей стране и напечатала в нескольких экземплярах.

Квитана открыла книгу на главе, посвящённой изготовлению мотанок.

– Я объясню тебе, как сделать свой оберег. Я к нему не буду прикасаться. Тебе придётся вышить глаза на кукле, а это ослабит тебя, лишит интуиции. Чтобы усилить связь между вами – тебе нужно будет дать ей какие-то свои вещи, украшения. Когда небезопасная связь с куклой будет не нужна, её будет легко оборвать. Это всё необходимые, но всё-таки производственные мелочи. Главное не это...

– А что? – с тревогой спросила Юля.

– Если твой оберег не справится – ты можешь погибнуть! Готова ли ты рискнуть? Любишь ли ты своего молодого человека? Если нет – это будет безнадежная попытка. А если любишь – достаточно ли сильно, чтобы твой оберег смог противостоять мотанке Варвары?

Сила мотанки, которую сделала Варвара, нарушала все физические законы и внушала страх. Юля на мгновение задумалась и, устремив взор на Игоря, уверенно произнесла:

– Да, я люблю его! Мой оберег будет сильным от этого.

Молодой человек, глядя на свою возлюбленную, готовую умереть ради него, покачал головой:

– Нет, я против! Я не хочу, чтобы кто-то ради меня погибал, рисковал жизнью! Если этот оберег так назойлив – лучше нам просто расстаться! Это не твоя проблема!

– Эта проблема уничтожит твою жизнь, – сказала мастерица.

– А я тебя спасу, – сказала Юля. – Это моё решение – сделать куклу. Я не погибну, и ты не погибнешь! Игорь решительно встал из-за стола и направился к входной двери, схватив на ходу свою куртку.

Юля бросилась за ним и догнала уже во дворе.

– Остановись! Что ты делаешь! – возмущённо крикнула она.

– Я не хочу, чтобы ты это *делала!* – ответил он, обернувшись к девушке.

Юля шагнула к нему и впилась в рукав куртки.

– Она всё равно доберётся до меня! – произнесла девушка. – Лучше встретить её, приняв бой.

Игорь задумчиво смотрел на Юлю. Глаза девушки решительно сверкали, за спиной ветер хлопал входной дверью.

– Думаю, ты права, – согласился он.

Они вернулись в дом.

– Не теряем времени, – сказала мастерица, беря книгу подмышку. – Тебе потребуется вся ночь.

Она за руку отвела Юлю в свою мастерскую – прохладное помещение, заставленное большими цветами в горшках и украшенное мотанками. Расстелив на полу коврик, она положила на него книгу и зажгла вокруг свечи.

– Тут я тебя оставляю, – произнесла она. Взяв со стола тетрадь, она открыла её на закладке и протянула девушке: – Будешь делать всё, как здесь написано...

Снабдив Юлю наставлениями, она вернулась к Игорю. Мастерица отвела его в небольшую комнатку для гостей, и помогла устроиться.

Игорь ворочался на старом матрасе и глаз не мог сомкнуть. Нарядная мотанка на столике в темноте стала чёрно-белой и злобной. Глядя на неё, он ждал, что вот-вот она выкажет признаки жизни или, исчезнув, внезапно окажется возле него.

Несколько раз он вставал с кровати и осторожно выглядывал в окно. Рассматривая двор Квитаны, он увидел подозрительную фигуру, напоминавшую мотанку размером с человеческий рост. Поднимающийся от земли туман прятал её ноги, и молодой человек, почувствовав на себе тяжёлый взгляд, спрятался за оконный откос. Разглядывая оттуда грозную фигуру, он вскоре понял, что его напугало чучело, стоящее посреди огородных грядок.

Юля тем временем, сидя на коврике, шила и перевязывала свою мотанку. В танцующем свете свечей она придирчиво оценивала получившуюся работу и снова и снова переделывала, добиваясь совершенства. Размотав перевязанную рану на щиколотке, она вплела окровавленный бинт в туловище своей куклы.



Чёрными нитками вышивая глаза мотанки и продевая в нить изумрудные бисеринки, она до боли напригаала свои глаза – глаза куклы должны были быть похожими на её глаза. Пожертвовав шалью ради кукольной юбки, она также надела на мотанку свои серёжки, а браслетом украсила её шею.

Юля сидела на коврикe с оберегом, как с грудным ребёнком на руках, и вместо колыбельной проговаривала заклинания. Едва забрезжил рассвет и пропел соседский петух, Игорь вошёл в комнату и, обняв девушку, спросил:

– Готово?

Юля встретилась с ним взглядом и кивнула. Он провёл пальцем по перетянтому красной лентой лику изготовленной куклы и ещё крепче прижал к себе девушку. Ему не хотелось разжимать объятия, и так же сильно, как в это раннее утро, он обнимал Юлю поздним вечером у себя дома. Они лежали на кровати, разметав в стороны одеяло с покрывалом, а изготовленная девушкой мотанка стояла в изножье кровати, охраняя покой влюблённых.

После бессонной ночи они незаметно задремали. Юля вздрагивала в объятиях Игоря, ей снилось, что мотанка Варвары проникла в квартиру, и готовится причинить им зло.

Мотанка Юли в изголовье кровати пришла в движение и покинула спальню. Серая фигура застыла над кухонным столом, выбирая ножи. Кукольная рука прикоснулась к ней и, ухватившись за голову, сняла ткань, легко, как капюшон. Из-под ткани высыпались чёрные волосы, и женщина, обернувшись, уставилась на мотанку Юли злым взглядом. Девушка не знала, как выглядела Варвара, но была уверена, что в реальности бывшая невеста её жениха была именно такой. Перед ней стояла Варвара. А перед Варварой она! Неизвестно как это произошло, но теперь и Юля была без маски, и немного неловко ощущая себя в кукольном костюме, смотрела на свою соперницу.

Юля понимала, что это не совсем сон. Но щелчок дверного замка прозвучал на самом деле, и она, проснувшись, обнаружила отсутствие мотанки в изножье постели.

– Нашей куклы нет, – сказала она Игорю, разбудив его.

– Мы остались без оберега? – растеряно произнёс он, и попытался включить свет.

Свет не включался. Он поднялся с кровати, и подёргав ручку замка, не смог открыть дверь.

– Они там! – сказала Юля.

В доказательство её словам, из-за двери донёсся шум, как будто что-то упало. Игорь снова дёрнул ручку запертой двери.

Юля вскрикнула и схватилась за горло, словно кто-то невидимый её душил.

Игорь метнулся к девушке, не понимая, что происходит, но верно догадываясь.

Откуда-то, по всей видимости из кухни, снова донёсся шум и звон разбитой посуды, всё говорило о том, что там идёт борьба.

Юле снова вспомнились слова мастерицы Квитаны: *«если твой оберег не справится – ты можешь погибнуть!»*. Но оберег справлялся, удушье отпустило девушку!

– Я не могу ждать! Надо что-то делать! – нервничал Игорь.

Он подскочил к окну, явно просчитывая возможность пробраться через окно на балкон гостиной.

– Не надо, ты ничего не добьёшься своим вмешательством! – остановила его Юля.

Игорь сел на кровать, обняв девушку. Удушье больше не мучило её, но возможно, это не было связано с борьбой за дверь напрямую, а случилось от нервного перенапряжения. Она сама этого не знала, как не знала о том, что происходило за дверью, и к чему всё это приведёт.

Юля встала с кровати и крадущимися шагами прошла к двери, приложив к ней ухо.

– Что там? – спросил он.

– Мне кажется, всё кончилось, – ответила она.

– Не надо, не открывай! – попросил Игорь, увидев, что рука Юли легла на ручку двери.

У них обоих возникла уверенность, что дверь больше не заперта.

– Нам придётся открыть эту дверь, – сказала она голосом, не предполагавшим возражений.

Игорь протянул руку к проводу настольной лампы и, нащупав выключатель, несколько раз нажал на него. Свет не зажёгся, и это не внушило ему оптимизма.

– Давай откроем вместе, – попросил он.

Его рука легла поверх её руки, и надавив на ручку замка, они открыли дверь.

В руке Игоря загорелся фонарик, которым он водил по ковру гостиной. Тонкий луч осветил лоскуток – невозможно было понять, чей. Больше ничего, кроме поваленных на пол стульев, они не увидели и, крепко держась за руки, переместились в коридор.

Причина отсутствия электричества оказалась в выбитом предохранителе. Игорь повернул рубильник, и они зажмурились от яркого света. В кухне им открылись следы яростной борьбы – кусок размотанной ткани белел на кафеле между осколками посуды, а с ножки опрокинутой табуретки свисал джинсовый лоскуток от кукольной юбки. Несколько бисеринок от вышитых глаз темнели возле плинтуса, Игорь, наклонившись, взял их в руки и увидел, что они чёрного цвета.

– Смотри! – крикнула Юля.

На кухонном столе гордо возвышалась мотанка. Девушка схватила её и прижала к груди – это был её оберег.

То, что осталось от мотанки Варвары, они собрали в коробку, добавив туда фотографии бывшей



девушки, а также пару галстуков, которые та подарила Игорю, и даже носовой платок. Они вынесли коробку в безлюдное место, чтобы сжечь.

– Честно говоря, мне не верилось, что твой оберег справится, – признался Игорь, вороша палкой костёр из старых вещей и пожухлых листьев.

Чёрный дымок поднимался над огнём, растворяясь в прохладном осеннем воздухе.

– Иначе не могло быть, ведь никто не любит тебя больше, чем я! – сказала Юля, и лицо её просияло, озаряя сумрак.

Игорь знал, что она говорит правду. Поднявшись от костра, в котором догорала часть его прошлого, он шагнул к Юле.

– Ты рисковала жизнью ради меня. Я теперь не знаю, как мне доказывать свою любовь...

– Это был небольшой риск. Моя кукла была сильнее, потому что ею двигала любовь. А любовь – более сильное чувство, чем ревность.

Игорь понял, почему мотанка Юли была непобедима. Держась за руки, они смотрели на догорающий костёр.

Дома Юля установила свой оберег в изножье кровати. Талисман напоминал молодым влюблённым о смертельных испытаниях, которым были подвергнуты их чувства, и охранял покой будущих новобрачных.

ЕВГЕНИЙ КУЗЬМИН

СВЯЩЕННАЯ ЗАГАДКА

рассказ

С недавних пор я ощутил острую необходимость рассказать историю, приключившуюся со мной много лет назад. У меня проявилась внутренняя потребность поделиться с посторонними людьми тем, что мне теперь внезапно и одержительно стало представляться как нечто чрезвычайно важное и любопытное.

В тексте я раскрываю ряд секретов, имеющих отношение к некоторым очень близким мне людям. Кроме того, я разглашаю тайны, выходящие за рамки простых человеческих отношений. Много лет назад я поклялся молчать. Разумеется, я не иду против близких мне людей, дорогого мне сообщества. Я не предал сам себя клятвопреступлением. Я переговорил со всеми заинтересованными людьми, со всеми членами организации, в верности которой я клялся. Мои доводы были не только услышаны, но и с энтузиазмом поддержаны. Мы пришли к согласию, что наша жизнь протекает в эпоху безразличия. Люди перенасыщены информацией. И раскрытие любых загадок наталкивается на равнодушие. Получается, нет никакой беды в публичном разглашении тайны. Она всё равно не раскрывается перед равнодушными людьми, не желающими ничего знать. Однако, яркая и неожиданная информация способна пробудить хоть какой-то интерес в чей-то душе. Всё равно, какой интерес и к чему. Главное, вырвать хоть кого-нибудь из состояния пассивности и индифферентности.

1. ВРЕМЯ И МЕСТО

«Учители учителей». Сотни магистров и ни одного рядового мага. А если колдун, то непременно в третьем поколении. По телевизору повторяет арифметику Кашпировский, молча разводит руками Чумак. А Лонго в прямом эфире воскрешает. И это не случайно. Этой мертвенной блеклости существования ожить бы и преобразиться...

Матерные слова на стенах заклеены афишами, анонсирующих выступления никому неизвестных всемогущих кудесников и чудотворцев – мат и шах. В подземных переходах, в этом нижнем мире, орошённом мочой, продают плакаты с изображением Кашпировского, мирно соседствующего с обнажёнными, как оружие, готовое к бою, девицами, с известными исполнителями тяжёлого рока.

Ощущение – мир деформировался. Но и остался прежним. Трансформация? Мутация? Трансмутация? Сознание расширяется. Но внешне всё без изменений. Шатания, метания и неразбериха среди невозмутимо обшарпанных зданий и кружащихся по городу алкоголиков, тихо устремляющихся к Матери Земле, чтобы говорить с ней мирным храпом. Всё стало предельно уподобляться декорациям. А что за ними? Неизвестно. Ни мне, никому. Возможно, это к лучшему. А вокруг ощущение мощи бытия и неслепость существования.

Теперь, много лет спустя, я понял, что таким и должно быть время перемен. И магия – его неизменная спутница. Эпохи повального увлечения магией в прошлом – Римская империя перед крушением, Ренессанс в Европе, 17 век в Англии и Германии... Что-то из этого рождается. Не обязательно хорошее, не обязательно плохое. Главное, новое. Мир не умрёт, состарившись, а помучившись, лишь перейдёт в другое состояние.

Так было на рубеже восьмидесятых и девяностых. Сменялись десятилетия, но казалось, что весь мир преобразается.

2. ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

Сергей, мой давнишний знакомый и единомышленник по музыкальным увлечениям, активно стремился к обогащению, не понимая, впрочем, как добиться своей цели. Разумеется, существует множество инструкций на этот счёт. Их сообщают нищие сплетники и сплетницы на каждом углу, а любой книжный лоток с радостью предложит подробные письменные рекомендации. Однажды я сам задумал поправить своё материальное положение сочинением книги с соответствующими советами. Но читают такое только умничающие глупцы. Чем больше думаешь о путях обогащения, тем меньше шансы вырваться из



бедности. Важны быстрые и решительные действия. Мысли же, как балласт, задерживают, тормозят. Побеждает только дерзкий... если ему подвернется случай.

Сергей обладал всеми необходимыми для обогащения качествами. Он был решительным, умным. Настойчиво умным, что лично осознавал, в каких случаях думать категорически противопоказано. А вот случай не подворачивался. Судьба уготовала ему другое. Наверное, это к лучшему... Только мы этого не понимаем, не чувствуем, находясь в конкретных ситуациях. Судьба нас закаляет, обучает. А время пожинать плоды обычно наступает практически одновременно со смертью. Что ж... спасибо судьбе. Она умеет подбирать нам красивые некрологи.

Я же искал путей самоутверждения. Это бывает как-то особенно сложно, если не имеешь ни малейшего представления, в какую сторону двигаться. Я читал классическую литературу по магии. Люблю классику. Мишюра новых аферистов раздражала, в то время как у старых аферистов она приобрела мягкий коллекционный привкус, как у вин после трёхсотлетнего хранения.

И вот однажды, Сергей поинтересовался у меня, можно ли заработать при помощи магии... Ну, способ есть, и он всем известен... Но я не стал его предлагать. Использовать почтенные старые книги – что может быть оскорбительнее! Это как издевательство над стариками, пусть даже с безупречной молодостью.

– Есть много способов. Можно сделать талисман, чтобы всё время выигрывать в карты или создать неразменный рубль...

– Неразменный рубль! Ха. Да кому нужен рубль! А можно неразменную сотню? Или, хотя бы, пачку неразменных рублей?

– Не знаю... Но можно попробовать...

– А что для этого нужно?

Выясняется, что обряд проводится в заброшенной бане. «Ах, где я в городе найду заброшенную баню?!» – сокрушался Сергей. Чем помочь? Отправить его в баню? Я не мог.

3. ПЕРЕКРЁСТОК

Впрочем, он нашёл... Перекрёсток. Их и искать не надо. Они везде и нигде. В них абсолютные очевидность и небытие. Они естественно образуются пересечением улиц – ведь есть только улицы, а сами перекрёстки – условность. Их словно и нет вовсе. Но всем они видны, все предполагают их наличие. Указывая на пересечение улиц, говорят: «Вот перекрёсток». Все с этим согласны. Но есть только улицы. Ничего более. Наверное, поэтому маги и любят перекрёстки, так как чувствует в них связь между видимым и невидимым.

У Сергея же было продвижение. В «Практической магии» Папюса отыскался простой рецепт, позволяющий неизменно выигрывать в карточных играх. Это не прямой путь к богатству. Но Сергей и не искал простых и коротких дорог. Итак:

«Напишите на девственном пергаменте “Lo+ma+na+pa+quo+ra+sata+na”. Заверните в него монету и в воскресенье до полуночинесите и закопайте монету в перекрёстке, топните три раза по этому месту левой ногой и произнесите те же слова, перекрестившись девять раз, потом возвращайтесь, не оглядываясь. На другой день в тот же час выньте монету. Имея при себе эту монету, вы всегда будете выигрывать».

Сергей выполнил все инструкции. Завернул монетку в бумагу (в советской традиции магии она давно заменила пергамент) с текстом, сунул амулет в клумбу. Трижды топнул левой ногой по этому месту, прочитал заклинание, девять раз перекрестился. Всё серьёзно, по всем правилам искусства. Вот только забрать талисман на следующий день он не решился. Точное место он не помнил, так как, выполняя обряд, был слишком занят оглядыванием по сторонам, опасаясь, как бы люди на улице не отметили его странное поведение. Стоять же и долго ковыряться в клумбе, в центре города, возле филармонии – это не для солидного человека, который вот-вот станет миллионером. Увидят соседи, начнут коситься, задавать вопросы, распускать слухи.

Сергей мне всё это обстоятельно рассказывал, а мы стояли на улице, не очень далеко от его дома, но уже в другом районе, так сказать «на канаве». Это – балка и её окрестности, тянущиеся от Таможенной площади вверх. Тут всегда было место нереспектабельное, хотя и возле шикарной улицы Пушкинской, недалеко от новой биржи, ставшей в советское время филармонией, практически в самом центре города. Здесь когда-то селились сезонные работники порта, а впоследствии, район превратился в подобие притона.

Мы же стояли недалеко от завода «Эпсилон», прямо возле гастронома, широкая площадка перед которым – удобное место для встреч. А в самом гастрономе развлечения. Там наливают кофе, коньяк, водку, продают пиво. Но нам не до напитков. Мы оживлённо беседовали, а я лихорадочно думал: «Чем же помочь другу?». Боже, дай знаменье. Я стал вслушиваться и всматриваться. До меня доносился диалог двух подвыпивших обитателей «канавы»:

– И?

– Ну!

– А!

«Господи, – подумалось мне. – Спасибо!». Инуа! Сила! Инуа! Жизненная сила, согласно эскимосской мифологии. Иногда он ассоциируется с интеллектом. Кажется, в этой ипостаси он может завести заправ-



шихся детей в тундру. Всё ясно. Ответ готов: «Сергей, духи не готовы дать тебе богатство, слишком серьёзные умствования увлекают тебя в сторону... далеко, ты запутаешься, потеряешься, ничего не получишь; лучше продавай, спекулируй».

4. ЛИЧНОСТЬ И ТОЛПА

«Человек – политическое животное», как и Аристотель – Философ с большой буквы, Философище. И уже содержится парадокс в том факте, что он, личность стоящая над всеми, «я» которого реет над удивлённой толпой, обозначил всех людей, а, значит, и себя как животное внутри стада. Маги тоже имеют сложности с самосознанием и общением. Всё здесь эгоистично и антиобщественно. В самом дерзковении стать выше всех, проникать в недоступные для абсолютного большинства людей дали есть отвержение обычных человеческих отношений. С другой стороны, и вознестись над толпой невозможно, если нет самой толпы. Маг должен быть сам, должен быть одинок, но ему нужен и зритель, признание его способностей людьми. И ведь как мучительно быть отверженным, не имеющим настоящих единомышленников! Мне хотелось найти подходящий орден, выучиться, а потом быстро возглавить соответствующую организацию под аккомпанемент долгих и продолжительных аплодисментов.

А ещё я ощущал себя в пустоте, где не на что было опереться. До всего нужно было доходить самостоятельно, листая отпечатанные на машинке, написанные чудовищным языком, дореволюционные переводы французских книг. И никто ничего не подскажет. Не у кого спросить, нет возможности проверить догадку, кроме как опытным путём.

В Одессе была старая тусовка колдунов. Об этом я знал, но не имел ни малейшего понятия как её искать. Поразительным образом выходило, что мои знакомые не вращались в этих кругах, равно как и знакомые моих знакомых. А попытки выйти на сборища, как мне казалось, беспроницаемым и быстрым способом, то есть, расспросив продавцов на книжном рынке, не приводили ни к каким результатам. Советские газеты тоже хранили секрет. «Вечерняя Одесса» и «Знамя Коммунизма» не разглашали оккультных тайн.

Но однажды, случайно, я разговорился с неким студентом, имевшим знакомых чудотворцев, но ненавидевшим их при этом всей душой. Он тянулся к тайным знаниям, но не мог наладить нормальных отношений с их носителями. «Все маги – жуткие эгоисты и мизантропы, они ненавидят весь мир и постоянно угрожают меня заколдовать за любое непонравившееся им слово», – жаловался студент. Мне не удавалось уговорить его представить меня волшебникам, которых он не желал видеть: «Зачем они тебе? Там каждый сам за себя. Ищи свой путь».

И вот Сергей, заявившись ко мне в гости, рассказывал о недавно вычитанной им информации об использовании магами наркотиков: «Как думаешь, если наглотаться таблеток и явится чёрт, то можно будет вступить с ним в контакт?». Я был на своей волне и бурчал невнятные ответы. «Ах, да, хотел тебя познакомиться с одним занимательным человеком», – привёл меня в чувство Сергей фразой, столь верно угадывающей мой ход мысли. Мне сразу подумалось: «Не выход ли это из вакуума в круг подобных мне? Не перспектива ли это ученичества?». И я стал задавать Сергею вопросы, а он лишь мычал в ответ. Мы поменялись местами, продемонстрировав истинность старой и банальной идеи – в социуме есть определенные ниши, которые непременно должны быть заполнены. Если ниша освобождается, её заполняет другой человек. Люди играют социальные роли, которые вовсе необязательно напрямую связаны с их личными данными.

5. ГЕНИАЛЬНОСТЬ И ПОМЕЩАТЕЛЬСТВО

Человек, с которым меня познакомил Сергей, оказался личностью крайне неуравновешенной психически. Хотя... Боже, что я пишу! Есть ли у меня моральное право попрекать кого-нибудь психическими отклонениями? Да, и может ли выдающийся человек, а таким Сергей представлял мне нового знакомого, быть нормальным? В самой постановке проблемы уже содержится очевидный парадокс. Коль скоро речь идёт о выдающейся личности, она выделяется из масс, она отличается от других людей, а значит и не соответствует норме. Иными словами, такой человек глубоко ненормален.

Однако помещательство моего нового знакомого было с гнильцой, позорной для любого честного сумасшедшего. Корень её таился в совершенно невообразимой любви к себе. Это даже не эгоизм, а простая уверенность, что мир создан лишь для тебя. Человек, никогда не испытывающий угрызений совести. Ему нужно, он украл и обосновал это какой-то философской доктриной или Библией.

Звали моего нового знакомого Захар. Редкое имя. И он всё время бахвалился этим, утверждая наличие здесь особого высшего смысла. Захар верил: он новое воплощение библейского пророка Захарии.

Впрочем, поначалу мне импонировала та опшеломляющая лёгкость, с которой Захаром отвергались все возможные запреты. Я-то всегда относился к ним с огромным трепетом. И эта моральная щепетильность бывает крайне вредной в подростковом возрасте. Соблюдать правила взрослых позорно, а несоблюдение тоже ведёт к угрызням совести. Мой же новый знакомый стоял выше обывательских установок. А что? Он смел подойти к пожилому человеку и рассказывать ему о якобы написанном в книгах Сократа и Пифагора, как бы говоря: «Старый, а ума не нажил, а я молод, но уже являюсь умнейшим человеком на Земле».



И я хотел быть таким, наверное. Не наглым, но личностью и не «тварью дрожащей». А здесь таилась западня. Выходило, что желание подражать подразумевало доверие в ситуации, когда доверять нельзя, когда предо мной патологический обманщик.

6. СЕМИНАРИСТ

Однажды, вместе с Захаром, я болтался по книжному рынку в Городском саду. Ни он, ни я не искали ничего определённого. И это располагало к беседе.

- У меня есть знакомый семинарист, который занимается магией.
- А религия ему позволяет?
- Он получше тебя преуспел.
- И в чём это выражается?
- У него доступ к старинным рукописям. Он свободно читает на латыни, греческом, древнееврейском, арабском.
- Я слышал, что в двадцатые годы в библиотеку монастыря на Шестнадцатой станции свезли часть неблагонадежных книг, принадлежавших прежде университету...
- Семинарист дал мне несколько любопытных заклинаний, но я дал клятву никому их не передавать.

Было ясно, всё это чушь. В Одессе очевидная проблема со знатоками греческого. А тут свободное чтение... Ха-ха. Но легко увязать владение древними языками с мифом о запредельно высоком уровне образования в семинариях. Думаю, это из-за запретов на религию, которая является основой нашей цивилизации и культуры. Получилось, человек желающий понять корни практически любого культурного феномена неизбежно наткнулся на абсолютный запрет. А религиозные деятели могли свободно читать Библию, книгу, на которой стоит наша цивилизация. Захар оперирует глупыми мифами. Ладно.

Так мой разум сразу распознал ложь. Но сердцу хотелось верить. Рассказ так хорошо накладывался на мои ожидания, что был своего рода истиной, пусть и лживой. Ведь обман был гармоничной частью действительности, а значит, он и являлся истиной в моей реальности, в моей системе координат.

- Ты познакомишь меня с этим семинаристом?
- Не знаю... Мы говорили о тебе... Захочет ли он?

Далее Захар выдал «опровержение всех ересей». Он, ссылаясь на «семинариста», обвинял меня в практическом подходе к магии, вместо благостного постижения вечных истин. А у меня в ушах звучали слова Брюсова, которые он сам критиковал: «Истинная магия есть наука наук, полное воплощение совершеннейшей философии, объяснение всех тайн, полученное в откровениях посвящёнными разных веков, разных стран и разных народов».

После этой беседы знакомство с семинаристом мне периодически обещалось, но в ответственный момент непременно откладывалось. И эта странная ситуация продолжалась несколько месяцев, пока я не махнул рукой на глупую выдумку Захара.

7. LADY OF THE LAKE

Она мне нравилась. Очень нравилась. Как-то особенно нравилась, проникая в глубину моего сердца, околдовывая. Но я все время ощущал её отчуждённость. Словно мы из разных миров. Я не смог бы за ней ухаживать...

Хотя она как-то особенно твёрдо и уверенно ступала. Она была частью **этого** мира, даже в большей степени, чем я, чем все мои знакомые. В ней не было ничего призрачного, тусклого, романтического.

Если попробовать изобразить её внешность, легко выяснить – она не была красива. Она была вся как-то нелепо сложена, с большими руками, у неё всегда было красноватое лицо. Но когда она была рядом, она казалась идеалом. Собственно, я даже не выяснил, как её зовут и кто одарил её странным прозвищем «Lady of the Lake», в какой части города она жила. У нас не было ни единого общего знакомого. Для такого небольшого городка, как Одесса, это довольно необычно. Здесь всегда на улицах видишь одних и тех же людей. А «Lady of the Lake» появилась ниоткуда, а потом внезапно исчезла. Нет. Не так. Я встретил её два раза в библиотеке... И всё.

Мы говорили обо всём. О рае и аде, о небе и о земле. Я рассказал и о своих оккультных увлечениях, сетуя на окружающий меня вакуум: «Разве человек способен разобраться в столь тонких и трудно поддающихся описанию сферах самостоятельно, не имея учителя?».

- Этих сфер допустимо касаться только чистыми руками. Людям кажется, что они способны достигнуть необходимого духовного уровня, вести особый образ жизни... Один маг – грязь, а два мага, учитель и ученик – удвоенное количество грязи.
- Книги о магии предписывают соблюдение ритуальной чистоты.
- Но этого, увы, недостаточно. Недостаточно! Нет абсолютно чистых, святых людей, чтобы безна-



казанно практиковать магию. Попробуй жить безгрешной и ритуально правильной жизнью... Вначале будет получаться, но вот ты случайно оступился, разозлился, позавидовал – тебе конец.

– А если не оступаться?

– Жизнь будет тебя испытывать. Чем выше ты будешь подниматься, тем больше соблазнов будет возникать перед тобой. Среди религиозных людей поразительно много крайне злобных личностей. Не замечал?

– Не думал об этом.

– Они поднимаются высоко. И если они не готовы, недостаточно духовно чисты, соблазн зла уничтожает их. Они ищут спасение в религии, но находят в ней лишь гибель, теряя связь с Богом. В Святой Святынь мало, кто может проникнуть. А творить чудеса – это занятие не для людей.

– Для чего же написаны магические книги?

Но Lady of the Lake, обернувшись, встрепетнулась, как испуганная птица, схватила меня за руку:

«Извини, мне пора». Больше я её не видел.

8. ЧЁРНЫЙ ТАМПЛИЕР

Я стоял на улице. Не могу припомнить, на какой именно, и что я там делал. Кажется, был занят. Чего-то или кого-то ждал? Сейчас уже трудно восстановить это в памяти.

Ко мне подошёл человек: «Вы желали со мной видеться?». Это точно была неожиданная для меня встреча, – я оглядел незнакомца и сразу подумал: «Да ведь это настоящий маг!». Нет, нет, он не был похож на сказочного волшебника из современного фильма в стиле фэнтези. Такой образ не приобрел ещё популярность в ту далёкую эпоху. Толкиена уже читали, но экранизация ещё не появилась. И идеальный позанесоветский волшебник, кажется, вовсе не был обязан быть бодрым стариком с длинной бородой, в балахоне и с посохом. Такой бы больше ассоциировался с иллюстрацией к сказкам для детей младшего дошкольного возраста, а значит и не был бы воспринят серьёзно. Мой же собеседник имел внешность советского мудреца, то есть советского непартийного интеллигента, лет тридцати пяти. Он мог быть физиком, математиком, инженером, а мог оказаться и в рядах пролетариата по финансовым причинам, в силу обстоятельств, из-за невозможности поступить в ВУЗ ввиду анкетных данных. У него, как у настоящего мага, конечно, была борода. Но не густая. Советскому магу шла эспаньолка, «козлиная борода», покрывающая полоской скулы или любая другая, непременно не на щеках, такая как была у «старых большевиков», у Ленина, Дзержинского, Троцкого, Бухарина и других. Что-то такое обрамляло и лицо человека, подошедшего ко мне. Я ещё подумал: «Перевернутая аура». Но я не помню деталей. Важно, что внешне он походил на «старого большевика», но добрые и умные глаза выдавали в нём диссидента-анти-советчика. Одежда на незнакомце была вся чёрная, из дорогой, поблескивающей ткани. Это придавало ему какую-то мрачную торжественность.

– Я рад с вами познакомиться. Как вы меня нашли?

– Когда приходит время, мы находим нужных нам людей. Даже не мы находим. Случайностей в мире нет. Когда наступает срок, люди встречаются.

– Мне нужно многое у вас спросить, но я даже не знаю с чего начать...

– Когда вы будете готовы к получению ответов, вопросы сами собой возникнут в голове.

Для меня, для человека, который всегда не ладил сам с собой, последнее утверждение звучало вызывающе возмутительно. Но я не подавал виду.

– Я бы хотел пройти посвящение... А, впрочем... вы наверное розенкрейцеры? – не знаю почему предположил я вдруг.

– Нет – нет. Мы тамплиеры. Те самые. Настоящие. Не так называемые «Восточные Тамплиеры» или представители какого-нибудь другого сравнительно нового оккультного ордена...

Между тем мы проследовали к кафе «Джинистра», где заказали кофе и взбитые сливки. Там тамплиер изложил мне презабвную историю.

9. ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ТАЙНОГО ОРДЕНА

В 1119 году наш орден создали девять благородных рыцарей, истинно верующих и богобоязненных. Двигало ими исключительно желание бороться за справедливость, оберегая паломников и вообще любых жителей Иерусалимского королевства от лихих людей. Основатели ордена были ошеломительно бедны. Первоначально орден и назывался «Нищие рыцари». На своём гербе тамплиеры начертали двух всадников, скачущих на одном коне. Это отражало печальную реальность и оптимистичное отношение рыцарей к своему положению. Они демонстрировали: у нас нет даже достаточного количества лошадей, но мы готовы друг с другом делиться. И эта бескорыстность каждого обеспечит всем, в чём он нуждается.

Иерусалимский король Балдуин I, его приближённые и патриарх со своими прелатами сразу обеспечили ордену поддержку, выделив ему некоторые из своих земельных владений – одни пожизненно, другие во временное пользование – благодаря чему тамплиеры могли бы получать средства к существованию. Исключительно важным, поворотным моментом в судьбе ордена стал тот факт, что главная резиденция ордена расположилась на святейшем и важнейшем библейском месте – на Храмовой Горе.

Отсюда и другое название рыцарей – тамплиеры, рыцари Храма, храмовники. Именно на этом месте расположен краеугольный камень, с которого Бог начал создавать Землю. Здесь и находятся ключи к пониманию смысла всего сущего.

Правда в том, что рыцари получили знания не из-за удачного расположения их резиденции и не из-за попыток основателей Ордена открыть какие-то умопомрачительные тайны. Причинно-следственная связь другая. Рыцари имели чистые помыслы и добрые сердца. За это Бог привёл их к открытию величайших таинств. За это же он позволил им подняться на Храмовую гору. Разные святые открывались перед рыцарями одна за другой. Вначале это происходило случайно. Но скоро рыцари осознали всю важность своей миссии и приступили к целенаправленным поискам. Вы обнаружите ещё в наших соображениях множество прелюбопытных текстов.

Ситуация с великими тайнами привела к проблеме с приёмом новых членов и написанием устава. Есть вещи, которые непросто открыть другому человеку. Даже если неопыт внешне вызывает доверие, непонятно, как он себя поведёт, узнав нечто, перечёркивающее весь его предшествующий опыт. Как оговорить в уставе испытания, но так, чтобы об их наличии не догадался обычный человек, не посвящённый в тайны Ордена?

В течение довольно продолжительного времени, до собора в Труа в 1128 году новые члены не принимались в орден на равных правах с основателями. Фактически, был введён мораторий на полное раскрытие тайн. Однако невозможно было и не подпускать к истине действительно достойных неопытов, лишая людей того, что им следовало бы знать. Такие рыцари до 1128 года становились чем-то наподобие терциариев у францисканцев. На таких правах в 1120 году в орден был принят Фальк Анжуйский, отец Жоффруа Плантагенета, в 1124 году граф Шампанский, а к 1126 году посвятили ещё двоих.

Между тем, мистик и великий посвящённый в оккультные тайны Бернар Клервоский, симпатизирующий катарам католик, взялся покровительствовать Ордену. Он защищал и прославлял рыцарей на соборе в Труа, способствуя притоку большого числа новых братьев. При этом, Бернар составил такой устав, который бы позволял отсеивать нежелательных, случайных людей.

Взятые морально-этические установки были чрезвычайно высоки. Хронист Ибн-Алатир оставил свидетельство, что Саладин и все мусульмане относились к слову тамплиеров с большим почтением, хотя и не доверяли другим христианам. Другой арабский хронист... эх, я позабыл его имя..., рассказывает с неким оттенком благоговения о том, что из шести сотен тамплиеров, захваченных Бейбарсом и получивших предложение сохранить жизнь в обмен на принятие ислама, лишь один согласился. Стефан де Бурбон немало сообщил о тяжёлой жизни братьев-рыцарей в Святой Земле, которым порой не разрешалось пользоваться лошадьми из-за всё тех же строгих предписаний, которыми они окружали свою телесную жизнь

В течение короткого времени тамплиеры богатеют, увлекая Европу и Ближний Восток вперёд, по пути быстрого развития, закладывая основы новых отношений, способствуя развитию экономики, увеличению безопасности.

Как это ни парадоксально звучит, высокие моральный и интеллектуальный уровни, культивируемые орденом, и стали главной причиной гибели. У тамплиеров было поразительно много ренегатов, бежавших из Ордена, сложивших с себя под разным предлогом обязательство. Жизнь храмовника нелегка. Требования Ордена к своим членам чрезвычайно высоки. Не каждому даже очень достойному рыцарю такая ноша оказывалась по плечу.

Система взаимоотношений с внешним миром тоже непростая. Во все известные эпохи численно преобладает биологический мусор. Праведность и доброта ему представляются умением скрывать пороки и злобу. Подлец не может понять, прочувствовать внутренний мир порядочного человека. Ему представляется, что все похожи на него, что хороших людей не бывает, а, значит, некоторые просто успешно маскируются. А раз так, существует некий заговор. Иначе, с чего бы так искусно скрывать пороки, которые присущи всем и каждому, «что естественно, то безобразно»?

Очевидно постепенное нарастание безосновательных обвинений против тамплиеров. Так, поползли абсурдные слухи, что тамплиеров подкупили мусульмане с целью убедить немецкого короля Конрада III начать осаду Дамаска в июле 1148 года. Хронист Гийом Тирский обвинял Орден и его членов во всевозможных грехах, которые не так-то легко перечислить. А Матвей Парижский, доходит до полного абсурда, инкриминируя рыцарям намеренное продление войн против сарацин, (какая чепуха!) ради сохранения предлога для получения денег. Он опускается до утверждения: храмовники развлекают в своих домах султанов и позволяют им совершать свои молитвы. А чего стоят двусмысленные рассказы, что тамплиеры сорвали взятие Иерусалима Ричардом Львиное Сердце! Сплетни не обошли и тех, кто героически погиб. Тамплиеры, оказавшиеся в мусульманском плену в Цфате в 1266, были в полном составе казнены за нежелание перейти в ислам. Эту историю передал Фиденций Падуанский. Между тем христианские хроники пестрят вздорными обвинениями, якобы тамплиеров убили за нарушение условий капитуляции.

Во всех этих рассказах очевиден общий мотив. Дерзкие тамплиеры виновны в том, что умнее и лучше других. Что они себе позволяют, давая советы королям, заключая мирные соглашения и развязывая войны!?

И развязка наступила. Французский король Филипп IV Красивый отреагировал на распространявшиеся инвективы, опрашивая некоторых беглых тамплиеров и ведя с Папой переговоры о возможном



расследовании. Осенью, 22 сентября 1307 года Королевский совет принял решение об аресте всех наших братьев, находившихся на территории страны. Три недели в строжайшем секрете велась подготовка к этой совсем нелёгкой для тогдашних властей операции. Утром 13 октября 1307 года повсюду хватили рыцарей, не готовых к сопротивлению, не ожидавших такой подлости. Абсолютная конспирация, понятное дело, невозможна. До храмовников доходили слухи о замыслах короля. Но чистые и благородные люди, каковыми являлись тамплиеры, не могли в это поверить. Подобная низость со стороны короля, интересы которого они ревностно отстаивали, казалась им невероятной.

А в 1312 году папа Климент V, пешка французского монарха, официально распустил Орден. Главные чины погибли. Но многие рыцари остались в живых. И они проявили твёрдость в желании продолжать общее дело.

Есть легенда, утверждающая: сокровища вывезли через порт в Ла-Рошель на восемнадцати галерах. Основание очевидно. Наши рыцари обычно арендовали флот, практически не имея своих судов и портов. Исключение – Ла-Рошель. И всё же действительность отличается от легенды. Сокровища вывезли в Бургундию на подводках. В этих местах Орден имел наиболее сильные позиции.

Несмотря на сумятицу, был принят целый ряд стратегических решений. Стало ясно, что возвращение на Ближний Восток откладывается или отменяется. По сути, для христианского мира это означает начало тенденции, ведущей к гибели. Ведь именно на Ближнем Востоке зародилась данная религия. Уход из Леванта и Египта означает отсечение корней. Всё это грозило гибелью и иудаизму, и исламу. Окончание религиозной борьбы одних против других – путь к унификации, к сворачиванию плюрализма. Для инакомыслящих возникает состояние постоянной физической опасности, а для господствующей догмы – это путь к застою и маразму. Но ничего не поделаешь. Назад пути нет. Европа отказалась от Ближнего Востока, погрязнув в мелких комплотах. Вот рыцари и решили нести культуру в Восточную Европу. Там уже ранее обосновался Тевтонский орден, с которым у нас были тесные связи. Мы даже передали им один из важнейших наших замков на Святой Земле, Монфор. Теперь только на помощь братьев тевтонов мы и могли рассчитывать. В данном регионе мы раньше не были особо укоренены. Нашим рыцарям до ареста принадлежал лишь один замок в Восточной Европе, точнее – в Закарпатье. Так нам пришлось выстраивать практически всё заново, хоть и при поддержке братьев из другого ордена.

Мы обосновались южнее Ливонского ордена, частью которого к тому времени стал Тевтонский орден, на территории современных Польши и Украины. Наши рыцари приняли участие в таких важнейших битвах, как битва на реке Ирпень, в 1324 году, и битва на Синих водах, в 1363-м. Но в целом мы не стремились к содействию в войнах, сосредоточившись на просвещении населения и охране дорог. Ведь именно безопасность путей сообщения способствует единению людей, а значит и развитию их устремлений к взаимопониманию. Ах, совсем забыл... Вы, наверное, слышали о бегстве тамплиеров в Шотландию или в Германию, слышали о Карле фон Хунде, Теодоре Менцдорфе... Да... Это всё – чистые выдумки. Не заслуживают они внимания. Вы, надеюсь, понимаете? Ну не буду больше испытывать ваше терпение, останавливаясь на сложных перипетиях путанной орденской истории в течение столетий. Важно, мы сумели просуществовать в тайне, творя историю. Центр наш переместился в Восточную Европу, что избавило нас от разоблачения, которое бы непременно случилось бы на Западе. Со временем возникла необходимость разделить организацию на эзотерическую и экзотерическую части. Это позволяет «внешним» рыцарям действовать, не обличая, не указывая праздным зевакам на духовную составляющую. Ведь ничто не вызывает у людей, твёрдо держащихся животной жизни, такой ненависти, как духовность. Это глубоко укоренившееся у многих качество личности, зовущее их ломать, крушить, портить, издеваться над интеллигентами и очкариками. И это прекрасно демонстрирует история каменщиков. Почему-то обычные строители материальных зданий не вызывают особой ненависти, о них не сочиняют пасквили, их не обвиняют в захвате власти над миром. Совсем другая ситуация с «вольными каменщиками», с масонами, с зодчими, работающими над духовными конструкциями.

10. ЭКЗОТЕРИКИ

Я выслушал фантастическую историю. А моя привычка оспаривать любое, даже самое банальное утверждение, не сработала. Ну, да, сам себе я объяснил причину. Это нормально для советского человека – не верить общезвестным фактам. Ведь они-то как раз и сфальсифицированы. «Общезвестное» – это порождение агрессивной пропаганды. И всем это отлично известно. С безумной историей всё иначе. Она достойна внимания, как нарратив, не покорёженный цензурой.

Ещё. Реальный вес фактам придаёт обыденность, привычка к набору однообразных происшествий. А теперь, в эпоху развала СССР, когда действительность динамично мутировала и каждый день одаривала людей всё новыми и всё более неожиданными сюрпризами, безумие казалось нормой. Существование нетривиального хода событий подтверждалось личным опытом.

Итак, я страстно и беззаветно верил. Возражать и задавать вопросы боялся. Ах, я ведь могу стать натуральным тамплиером! Мне так не хотелось обнажить собственную глупость, несостоятельность, личные качества, делающие меня недостойными рыцарского звания.

Но пауза затянулась. Тамплиер, завершив историю, мягко и немного растерянно улыбался. Пил кофе, ел взбитые сливки, жевал пирожное... Я не выдержал:

– Вот вы говорите о двух частях Ордена. О, я, конечно, даже на уповаю на немедленный рассказ о хранителях великих загадок...

– Отгадок, – поправил меня тамплиер.

– Э... ладно... тайн. Но я, наверное, могу спросить... а что это за экзотическая часть Ордена? Они ведь всем видны?

– О, да. Конечно.

– И вы можете мне на них указать.

– Да, это ГАИ. Точнее ДАИ. Изначальным является именно украинское написание. Нам удалось его протащить, несмотря на то, что, конечно, наше влияние на советское правительство было минимальным. Поразителен и факт создания нами своей структуры при НКВД СССР в 1936 году! В те годы Орденом руководило ещё другое поколение. Что это были за люди! Мы им в подмётки не годимся. Мы лишь карлики на плечах великанов.

– Мне казалось, что среди первых революционеров были интересные люди...

– Чем могут быть интересны фанатики? Они – как заевшая пластинка. Они застряли на какой-то одной идее. Истинный интеллект всю жизнь мечется и ищет истину. Революционеры же сознательно отказались самостоятельно думать, изобрели какие-то свои догматы, которые якобы научные и одновременно неизменные... Научное знание не может быть неизменным... Любое знание динамично меняется. Оно зависит от человека, оно выводится человеком для собственных нужд. А люди эволюционируют или деградируют. Они не могут оставаться неизменными. Попытки законсервировать свою жизнь неизбежно ведут к деградации личности... Ах, ну потом представители «народа» поубивали фанатиков, заняв их места. Это снизило градус кровожадности. Новые коммунисты были подлыми интриганам, но они уже и не раздували «пожар мировой». Это «социализм с человеческим лицом», без массовых казней и изопрённого садизма. Новых коммунистов хватало только на подлое паразитирование... Нам, конечно, нечего делать в этом сообществе. И своего человека невозможно иметь в этой банке с пауками. Если агент не ведёт себя подло, его разоблачат. Если же он станет поступать как советский функционер или чекист, то не сможет оставаться тамплиером, то есть высоко духовной личностью.

– А что значит ДАИ?

– Это *Damnum absque injuria*. Смысл такого, на первый взгляд, «юридического девиза» в следующем. Мы не тщимся истребить зло, потому что оно коренится в материи, в нашем материальном мире. Оно бессознательно и естественно. Оно – это часть нашего мира, другая сторона добра. Само добро без него невозможно. Свет и тьма, жизнь и смерть – разные стороны одного явления. Без тьмы нет света, без смерти нет жизни. На зло бесполезно жаловаться, его бессмысленно осуждать. И девизом мы говорим: «Зло, мы обнаружили твою сущность и потому мы, понимая, что тебя не уничтожить, что ты гармоничная часть нашего мира, смиренно выбираем пребывать в добре». Кстати, сплетение воедино света и мрака символически отображено и в главном атрибуте инспектора – в милицмейской палочке. На ней чередуются белые и чёрные полосы, то есть свет и тень, добро и зло. Сама же палочка – фаллос, зарождающее начало, нечто дающее жизнь нашему миру, нечто зачинающее его.

– Должен ли вначале вступить в ДАИ, чтобы, впоследствии, возвыситься до духовного тамплиерства?

– Нет, вовсе нет. Люди неодинаковы от рождения. Одни предназначены самой природой для практической деятельности, другие для теоретизирования. Мы не считаем, подобно некоторым гностическим сектам, одних выше других. У каждого своя миссия в этом мире. Из вас милиционер не получится. Это мне абсолютно ясно. А вот в духовные тамплиеры мы бы могли вас принять, если вы, разумеется, сами этого пожелаете, а братья, обсудив вас, отнесутся к прошению благосклонно.

Услышав это, я ощутил себя так, словно каждый атом моего тела возносится в небо от счастья. Я медленно попросил зачислить меня в Орден.

11. ЦЕРЕМОНИЯ

В одной из комнат коммунальной квартиры в центре города собрался капитул. По понятным причинам я не могу здесь сообщить адрес или даже приблизительное местонахождение. Я ждал в коридоре. Один из рыцарей вышел и сказал мне: «Брат, просишь ли ты общества Дома?».

– Да.

– А знаешь ли ты, что тебя ждёт?

– Это мне неведомо. Но я готов узнавать и искать.

– А между тем, на тебя будет возложена огромная ответственность, ты приобретаешь тяжкое бремя, которое никогда не сможешь сложить с себя. Даже прекратив участие в жизни Ордена, ты останешься нашим братом в глазах Бога и людей. Невежды сочтут тебя заговорщиком и конспиратором. А Орден снабдит тебя непростыми поручениями. Тебя ждут тяжёлые обязанности, ограничения и лишения, учёба. Тамплиеры отказываются от благословения от людей во имя благословения от Бога.

– Я переживу порицания, – сказал я с улыбкой, подумав о своём полуеврейском происхождении. – А к знанию и работе в Ордене я стремлюсь всей душой. А моя конечная цель – познание Бога.

Тогда рыцарь зашёл в комнату, в которой заседал капитул. Через несколько минут он вернулся с обнажённым мечом и снова спросил:



– Ты по-прежнему желаешь?

– Да.

Отконвоировав, рыцарь втолкнул меня в комнату. Я преклонил колена перед магистром, возглавлявшим капитул. Глава Ордена, такой довольно типичный, старый одесский интеллигент, сидел на особенном, высоко старинном резном стуле. Затем я соединил в молитве ладони и сказал: «Сир, вот я пред Богом и вами, и перед братьями, и прошу вас во имя любви Господней ввести меня в ваше общество, и под покровительство Дома, как человека, который желает быть слугой и рабом Господа вовеки». Магистр встал и ответил:

– Добрый брат, ты просишь о великом, ибо в нашем Ордене ты видишь лишь внешнюю сторону. Ибо суть внешность – то, что ты видишь у нас: прекрасные автомобили и возможность брать у зарвавшихся водителей штрафы, и хорошую пищу и питьё, и красивые одежды, и кажется тебе, что легко тебе будет. Но ты не знаешь о суровых заповедях, что лежат в основе, ибо тяжело будет тебе, кто сейчас хозяин себе, стать слугой для других. Ибо вряд ли когда-нибудь ещё ты будешь делать то, что хочешь: если захочешь ты пребывать в землях далёких, исполняя сложнейшие миссии, не получая за это платы, но ради одной любви Господа. И если ты пожелаешь спать, тебя разбудят, а если ты пожелаешь бодрствовать, тебе прикажут лечь в постель. Ты будешь много трудиться, исполняя чужие поручения. И многие поношения, что ты услышишь не единожды, должен ты перенести. Теперь решай, добрый благородный брат, смог бы ты вынести все эти трудности?

– Да, я вытерплю их все ради Господа.

– Добрый брат, ты не должен просить общества Дома, чтобы иметь богатства, ни чтобы иметь телесный отдых или честь. Но ты должен просить его по трём причинам: во-первых – отойти от грехов этого мира, во-вторых – служить Господу нашему, и, в-третьих, чтобы быть бедным и принимать наказания в этом мире, для спасения души. И с этой мыслью ты должен просить его. Желаешь ли ты быть отныне все дни своей жизни слугой и рабом Дома?

– Да, сир, если это угодно Богу.

– Сейчас выйди и помолись Господу нашему, чтобы Он наставил тебя.

Я вышел в коридор, где сымпровизировал текст произвольной молитвы. Обращение к Богу давалось мне трудно, от переполнявших меня чувств. Оно шло от самого сердца. Затем ко мне вышел тот же рыцарь, со мной говорил в самом начале и вводил меня в капитул. Мы вместе вернулись в комнату. Я стал на колени перед магистром, молитвенно сложил ладони и произнёс:

– Сир, вот я пред Богом и вами, и братьями, и прошу вас во имя любви к Господу ввести меня в ваше общество и под защиту Дома, духовную и мирскую, как того, кто желает быть слугой и рабом Дома всю оставшуюся жизнь.

– Хорошо ли ты подумал, добрый брат, что ты хочешь оставить свою волю и исполнять волю других? Желаешь ли ты перенести все трудности, что установлены в Доме?

– Да, сир, если это угодно Богу.

– Добрые господа, встаньте и помолитесь Господу нашему, чтобы он преуспел в этом.

По комнате разнеслись слова молитвы на неведомом языке. Я склонен думать, что это была глоссолалия. Теперь следовало плонуть на распятие, что я и сделал. Символический смысл, как я потом выяснил, следующий. Четыре стороны креста – это четыре стороны света. Их соединение в одном предмете – это материя, земля. Плевок означает пренебрежение. Таким образом, неопит выказывал презрение к материи, утверждая примат духовного начала. Ещё плевков напоминает семя, выброс которого на землю символизирует оплодотворение. Это же конъюнкция, соединение двух начал, женского (земля, распятие) и мужского (плевок, семя), пробуждающего жизненные силы, лежащие в основе всего мироздания.

Потом мне принесли бутафорскую голову, словно отрезанную. Рыцарь держал её за волосы. Вокруг раздавались голоса. Некоторые шептали, что это Бафомет, но были и разные другие имена. Я должен был поцеловать голову, что я и сделал. Потом я узнал, что она обладает особыми плодоносными свойствами. Если поднести её к голой земле, то на этом месте сразу быстро начинали подниматься растения. Сам поцелуй, прикосновение головы к голове, был нужен для роста моего мозга.

В конце мне выдали плащ и зачитали правила Ордена, которые непросто привести здесь целиком. Помимо обычных утверждений, основанных на десяти заповедях, в уставе было множество сложных правил. Например, перед регуляровками (так назывались ритуальные собрания) необходимо семь дней не есть мяса, а последние три дня предписывалось питаться лишь варёными овощами. Вставая и ложась, рыцарь обязан совершать определённые ритуалы, чтобы Господь ему сообщил свою волю, наставления, которые рыцарю необходимо выполнить в течение дня. И многое другое.

Завершила всё пирушка с салатом «Оливье», холодцом и рыбой «под шубой».

12. СРЕДИ КНИГ

Орден хранил целый ряд рукописей, доставшихся ему от славных средневековых предшественников. Частью – это были открытые, известные тексты. Например, огромная иллюстрированная латинская Библия. Её часто использовали в ритуалах, для всевозможных присяг. Два симпатичных манускрипта сохранили устав, один латинскую версию, другой французскую. Это потрясло воображение, придавало

авторитет Ордену в глазах его членов... Поразительный парадокс. Орден и является объединением людей. Выходит, что никто и ничто кроме них и не может быть честью и позором организации. Но люди склонны видеть в разных ярких побрякушках ум, честь и совесть, оправдание своей жизни, своей деятельности.

Особый интерес представляли записки, бумаги членов Ордена, живших в былые времена. Среди эзотерических тамплиеров было много незаурядных личностей, выдающихся учёных, политиков, мыслителей, людей искусства, всех тех, кто оказал очевидное и внушительное влияние на все стороны развития человечества. Для себя я это объяснил тем, что ищущий человек, пробуя и узнавая, скорее вступит в тайный орден, чем простой обыватель.

Так вот, многие мыслящие члены Ордена, одни очень известные, другие оставшиеся в тени, что, впрочем, не умаляет их интеллектуальных способностей, завещали Ордену различные свои бумаги. Ввиду особого статуса книжных хранилищ тамплиеров, сюда сдавались такие бумаги, которые сами авторы считали наиболее ценными, удачными, сокровенными. Однако сам характер подобных неоформленных записок привёл к тому, что листы со временем могли перепутаться, а изначальный характер и жанр текста был непонятен. Так сатиру с лёгкостью могли воспринять на полном серьёзе, а серьёзный трактат счесть шуткой. Не исключено, что некоторые тексты вообще не были призваны нести определённую информацию. Их единственным достоинством были стилистические особенности.

Наиболее сокровенные тайны Ордена передавались устно при посвящении в новую степень. Поэтому с трудом верилось в их достоверность. Учитывая все те катаклизмы, которые приключались в истории, и изменчивость самих основ жизни человечества в европейской истории, неискажённо передавать не вполне понятную и чёткую систему знаний и ритуалов – задача титанически сложная.

Но на записки, на библиотеку ограничения не распространялись. Орденские бумаги закрыты для профанов, но открыты для всех братьев, независимо от степени посвящения. А мне доставляло глубочайшее удовольствие копаться в сокровенном, первозданном хаосе мнений, который, как мне тогда казалось, способен открыть мне нечто такое, что изменит всю систему моих взаимоотношений с миром, Богом, людьми, определит мне достойное, даже выдающееся будущее, которое в мои, тогда ещё юные годы, представлялось важнейшей целью.

Мои интересы были подмечены рыцарями и на меня возложили обязанность каталогизировать библиотеку Ордена. Под неё выделили целую комнату одного нашего очень активного брата. Двери его дома всегда были открыты для тамплиеров. Так что, можно сказать, у него в квартире расположился наш практически официальный офис, в котором, словно по недоразумению, ещё и жил один из наших братьев. Владелец квартиры часто бывал в разъездах. В этом случае он просто передавал кому-нибудь из братьев ключ.

Моя задача оказалась непростой ввиду необычности материалов, которыми мы располагали. Как я выяснил, в старых одесских библиотеках, в «Горьковке» и в университетской, пользовались старыми, ещё дореволюционными системами. Под латинской цифрой «d» шло православное богословие. Отдельным пунктом вычленилось «сворачивание в другие вероисповедания» (впрочем, в абсолютной точности формулировки сегодня я уже не уверен). Новые библиотеки пользовались системой, выработанной в Питере, в библиотеке им. Салтыкова-Щедрина. Конечно, эта классификация книг была инспирирована советской идеологией и плохо соответствовала нашим запросам. Это вынуждало меня придумывать собственную систему классификации, которую я строил, отталкиваясь всё-таки от кодов петербургской библиотеки. Выбор основы был предопределён наличием у меня хорошего справочника по данной систематизации книг.

Работа мне очень нравилась. Никто меня не торопил. Я мог спокойно разбирать бумажные сокровища, изучая их.

13. НЕДОСТАЧА

Однажды, перебирая бумаги, я обратил внимание, что недостаёт двух текстов, каталогизированных мной ранее. Меня охватил ужас. Не боязь наказания или чего-то в этом роде. Отношения между братьями были доверительными, практически семейными. Наверное, узнай кто-то о пропаже, он не дал бы делу никакого хода. Возможно, даже не пожурил бы меня, а лишь посмотрел с укором. И всё это создавало в моей душе безумный дискомфорт. Я ощущал себя крайне виновным в жуткой халатности. Тексты пропали, а я и не подозреваю, как и почему это могло случиться.

В голове у меня не укладывалось, что кто-то из братьев способен на кражу. Значит, либо я сам выдал бумаги, но забыл сделать об этом запись в журнале, либо я их куда-то засунул и теперь не могу их обнаружить.

Я старался блюсти формальный порядок и фиксировать в специальном журнале все перемещения книг. Мог ли я нарушить заведенный мной же порядок? Теоретически, да. Братья, в большинстве своём, – люди очень интересные. Кто-то вполне мог увлечь меня занимательной беседой. А я, внимая словам, способен позабыть о простой, чисто технической обязанности. Меня всегда тяготило механическое исполнение обязанностей. Мне автоматизм даётся трудно.



Теоретически, кто-то мог позаимствовать тексты и в моё отсутствие. Комната библиотеки никак сама по себе не запиралась. Любо́й брат без всякой помощи с моей стороны имел возможность войти и взять какой угодно текст, нигде не зафиксировав информацию об этом.

Наконец, речь шла о маленьких, непереpletённых рукописях. Так что их легко куда-то поставить и потом не заметить. Когда-то в детстве я засунул «екатеринку», дореволюционную сторублевку, между страницами какой-то книги. С тех пор я тщетно ищу эту кушурку. Она исчезла, словно бы и не было её вовсе.

Один пропавший текст – выписка, длиной в одно предложение, на отдельном листе. Непонятно, зачем это брать домой. Там была какая-то фраза на латыни, о смысле которой я даже и не задумался, из-за сложного почерка. Я разобрал имя – Лактанций и атрибутировал текст как «О Лактанции». Наверное, выписка представляла историческую ценность. Лист – пергамент, а почерк явно средневековый. Но уносить это домой ради чтения одной фразы – это нонсенс. Затеряться же такой короткий текст мог легко.

Второй – короткое аллегорическое сочинение на трёх листах, написанное мелким почерком по-русски. Рукопись имела в конце дату и место, хотя автор не был указан. Сочинение написано в Одессе, в 1924 году. Там рассказывалось о некоем сыне вдовы из Москвы. Известно о его отце одно – то была очень неординарная личность. Сын вдовы отправился искать некую жемчужину у моря. Так он оказался в Одессе. Город его очаровывает и дезориентирует. В тексте есть такая цветастая фраза: «Сын вдовы замкнулся в этом очаровании города, словно бы оказался на острове посреди моря, а вокруг острова лежит змей, отпугивающий всех пронзительным свистом». В Одессе искатель жемчужины знакомится с некой развесёлой компанией. С ней он распивает каждый день спиртные напитки, так что вскоре забывает о своих целях, намереньях, устремлениях и происхождении. Но дома у «гостя из Москвы» узнают обо всём. И, желая выручить начинающего алкоголика, шлют ему письмо: «Твой отец <sic>, король королей, и твоя мать, владычица Востока, и твой брат приветствуют тебя, наш сын! Проснись и восстань ото сна и выслушай слова нашего письма. Вспомни, что ты сын короля. Посмотри, в какое рабство ты попал. Вспомни о жемчужине, ради которой ты послан в Одессу». Сын вдовы, получив и прочитав письмо, пробуждается от алкоголического дурмана. Он вспоминает всю свою миссию и отчётливо осознает, куда и как он должен следовать за жемчужиной. Далее, в тексте описываются довольно запутанные и иногда выраженные иносказательно маршруты (например, «он прошёл по улице с одним деревом»). В конце концов, он побеждает некоего змея и овладевает жемчужиной. Хотя заканчивается рассказ словами: «А сокровище и ныне там». Этот текст хоть и длиннее первого, но тоже вполне мог куда-то завалиться.

Так что два дня я занимался тем, что убирал в библиотечной комнате, заглядывая в каждый угол, пролистывая каждую книгу. Мои поиски не увенчались успехом. И я решил намёками, навоящими вопросами выпытать у братьев, не держит ли кто-нибудь эти тексты у себя.

14. СЛЕДСТВИЕ О ПРОПАВШИХ РУКОПИСЯХ

На моё счастье, большая часть рыцарей на момент обнаружения пропажи была в разъездах, исполняя различные миссии. В Одессе оставалось, помимо меня, всего пять духовных тамплиеров. Такой численный состав сложился неделю назад. Конечно, я мог не замечать исчезновения рукописей в течение достаточно продолжительного времени. Значит, невозможно полностью ограничиться пятёркой подозреваемых. Однако же неделя – немалый срок. Вероятность того, что взявший рукописи, если, конечно, они действительно украдены или выданы без записи, находится среди этой пятёрки, чрезвычайно высока. Поэтому логично пока опросить пятерых братьев.

Первым ко мне явился Дима, невероятно умный человек. Он никогда не учился хорошо из-за своего наплевательского отношения к любой системе. Но его способности к математике, физике просто поражали. Кроме того, он очень много читал на самые разные темы, неплохо ориентировался и в гуманитарных дисциплинах. В жизни он был спокойным, незлобивым, любил поесть и поспать. Я с самого начала пытался вывести разговор с ним в нужное мне русло.

– Всё хотел тебя спросить, как ты относишься к Лактанцию?
 – Кто это?
 – Философ-рационалист...
 – Не люблю рационалистов. Все они, кстати, мало жили, кроме Лейбница. Этот оказался живучим.
 – Нужно знать врага, чтобы с ним бороться.
 – У меня, увы, не хватает на всё времени. Приходится читать то, что мне действительно важно... Да, и философы – не враги мне... Мне нужен текст обряда посвящения в первую степень.

Да, следовательно из меня никудышный. Я не умел правильно задавать вопросы. После зашёл второй читатель, Владимир. Он напоминал комсомольского активиста. Очень «правильный», «душка», «хороший парень». И я его опарашил вопросом:

– Здравствуй, брат. Ты не читал текст о поисках жемчужины, который у нас есть?
 – Что это? Что-то интересное?
 – Кому как.

- Почему бы тебе не подготовить доклад об этом?
- Да, действительно. Я подумаю.

Уже перед моим уходом забежал нервный и всегда беспокойный Андрей, визионер и экспериментатор в области магии. Он бросился к полкам и что-то лихорадочно искал. Я предложил помощь.

- Я бы прочитал Герметический корпус. Это важно.
- Гностические тексты тебя тоже интересуют?
- Да. Пожалуй.
- А «Гимн жемчужине»?

Андрей замешкался и покраснел. Он помялся какое-то время и бросил: «Знаешь, я бы хотел заниматься вопросом последовательно, не хватая тексты беспорядочно».

В этот день никто больше за книгами не пришёл. Оставалось двое братьев. Один – Саша, очень благодушный человек, располагает к себе, общительный, всегда улыбается, быстрый на реакции. И, наконец, Олег. Он энергичный, эксцентричный, хорошо учился, но благодаря умению списывать в любой ситуации. Он отличался необычайным эгоцентризмом и, в принципе, он, пожалуй, был способен на кражу.

Итак, из пяти я опросил троих, тщательно, насколько это возможно, изучая их лица и реакции. Конечно, слишком пристально пялиться на собеседника тоже было неудобно. Но я старался хорошо разглядеть лицо в самый ответственный момент. Один брат, Андрей, много смущался. Но он, в принципе, нервный человек. Он всегда такой. Однако сама неуравновешенность уже внушает подозрения. Я взял его на заметку, под особое наблюдение.

Здесь же в квартире нашего брата, где расположилась библиотека, в вечер того же дня мы вместе ужинали чаем с хлебом и маслом. Говорили о Марксе, Штейнере, гомеопатии. И вдруг я всех поразил темой:

– Интересно, а как можно отыскать вора... ну с чего всё начинать. Мы же, в некотором роде имеем отношение к милиции...

На меня все посмотрели с изумлением. После небольшой паузы в разговор вступил брат Андрей, нервно и отрывисто заявив:

- Я не знаю даже... Ну, «руку славы»... там... применить. А в Папгоса ты заглядывал?
- Пример нужно брать с Шерлока Холмса... внимательный читатель ухватит схему рассуждений или из детективных историй... вот «Наука и жизнь» когда-то перепечатывала из какого-то французского журнала детективные загадки, – подхватил брат Дмитрий.

– Я не думаю, – мямлил я, – что по подобным «текстам» можно научиться ведению следствия. Проблема с загадками в том, что они не создают атмосферу полной изначальной неизвестности и неопределённости, но практически формулируют готовый вопрос, на который существует один абсолютно ясный, однозначный ответ. Следователь же движется в своих рассуждениях иначе. Ему необходимо выработать общую стратегию. Он вынужден прежде всего сформулировать вопросы. Шерлок Холмс же, равно как и другие вымышленные детективы, не даёт никакого представления о реальном ведении следствия, об оперативной работе. Многие литературные тексты абсолютно фееричны. Например, рассказ «Союз рыжих». Разве такому есть место в реальной жизни?

Саша бросился заглядывать под мебель с воплем: «Где же ты, доктор Мориарти?!».

– Дружище, – похлопал меня по плечу сангвиник и неизменно «хороший парень» Владимир. – Давай побеседуем на интересную всем тему.

Эти слова сразу вывели Владимира в разряд подозреваемых. Но я не подал виду. Мы переключились на обсуждение музыки.

15. ПЕРВЫЕ ВЫВОДЫ И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Итак, скорее рукописи украдены, чем честно взяты с получением моего разрешения. По крайней мере, можно считать, трое из пяти практически продекларировали, что рукописей они не брали, при этом двое попали в разряд подозреваемых. Хотя, конечно, разговор с Сашей и Олегом может запросто опровергнуть мои довольно слабые допущения. Необходимо с ними побеседовать, даже если они не явятся в библиотеку.

В краже никто с лёгкостью не сознается, если это кража. Это продемонстрировал мой разговор со всеми пятью братьями.

Наконец, мои главные подозреваемые в настоящий момент – Андрей, Владимир и Олег. Ситуацию с первым я уже описал. Владимир слишком правильно себя ведёт, взяв менторский тон. Я нахожу это противоестественным. «Правильность» не может быть настолько правильной. Логично допустить, что Владимир лишь пускает пыль в глаза. Наконец, Олег. Он вполне способен взять чужую вещь и не сказать об этом. Я раньше замечал за ним подобное. Так что он в любом случае в числе подозреваемых... А вот и он. Я столкнулся с ним просто на улице. Мы обменялись приветствиями.

- Олег, я тут пишу статью о Лактанции... Что ты мне можешь посоветовать?
- Что? – с безумным удивлением посмотрел на меня Олег. – Я? Я не знаю.



– У него есть образ жемчуга в одном тексте. Об этом интересно было бы рассказать.
 – Эти вопросы не ко мне. Вот придет великий магистр. Поговори с ним. Через три дня он возвращается в Одессу.

Сашу я встретил на следующий день в библиотеке, куда он забрёл рассказать мне новые анекдоты. Я с радостью воспользовался случаем:

– Ограбили банк. Пока милиция приехала, преступники скрылись, но у порога лежит алкоголик. Его схватили, притащили в участок. Но на все вопросы он только мычит, потому что спит и не может проснуться. Ну, милиционеры его давай обливать водой с криками: «Где жемчуг, гад?». На что медленно приходящий в чувство пьяница как завопит: «Я ничего здесь не вижу! Найдите себе другого нырятьщика!».

Саша никак особо не занервничал после этого анекдота. Он посмеялся и продолжил меня веселить.

Итак, события дня позволили мне подвести итоги. Но, при этом, расследование явно зашло в тупик. У меня теперь двое подозреваемых, Владимир и Андрей. Но что с того? Пойти и ухватить их за руку? Они мне скажут, что ничего не брали. А я не смогу доказать факт кражи.

16. МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА

Прошло два дня. Ещё трое братьев вернулись в город. Пропажу могли заметить. Завтра возвращается магистр. А я пока ничего не предпринял. Не хватало решительности. Да, собственно, и в ней могло оказаться мало прока.

В растрёпанных чувствах я отправился в Александровский парк. Хотелось прогуляться и всё обдумать. Прошёл мимо памятника Шевченко... Мне навстречу двинулся незнакомый подросток моего возраста, с манускриптом о Лактанции в руках... Я схватила этого парня и заорал: «Откуда у тебя это? Откуда?». Несмотря на то, что вопрошаемый был значительно крепче меня и, наверное, судя по жлобской внешности, довольно склонным к насилию, привычным к дракам, он явно перепугался. Подозреваю, я смотрел на него безумными, полными злости глазами. Парень дернулся, но, не освободившись, запричитал:

– Мне Таня дала.

– Классно. И что? Текст-то у тебя откуда?

– Говорю же, мне его Танька дала.

– Какая Танька?

– Толстая...

Ах, конечно. То была подруга сестры Сашы. Чрезвычайно полная девушка, десятиклассница. Она недавно забегала в наше нынешнее основное место сборищ что-то передать Саше. Я слышал, классный руководитель девушки жаловался её родителям на плохую коммуникабельность их чада. Мол, она мало дружит со сверстниками и нужно бы как-то исправить ситуацию. Я сразу придумал теорию, согласно которой у Тани, ввиду её чрезвычайной полноты, возникали проблемы коммуникативного свойства. Возможно, она выкрала документ для какого-то парня, желая привлечь его внимание. Впрочем, проверять все эти построения не было возможности. Выспрашивать девушку о смысле её поступка не было никакого желания. Между тем, пойманный жлоб очнулся от пережитого шока и стал вести себя агрессивно. Присмотревшись ко мне, он принялся орать: «У меня ваш древний документ! Я разоблачу вас, гадов, жидама-сонов, предателей родины! Это вы, суки, продали всё Израилевке, расстреляли царя, отравили Сталина, убили Гитлера! Пусть все знают!». Оценив ситуацию, я выхватил пергамент из ослабшей руки жлоба и убежал. Неожиданность и быстрый бег обеспечили благоприятное для меня разрешение ситуации.

Итак, один документ удалось вернуть. Но как теперь вызволить второй? Похитители – не члены Ордена. Это даёт мне мандат действовать любым способом, прибегая к помощи братьев. Да, собственно, ситуация не так уж и сложна, как могло показаться. До обсуждения проблемы со всеми братьями, я поговорю с Сашей. Он через сестру выйдет на Таню. И из неё можно будет тихо и спокойно выбить всю информацию.

А ещё меня заинтриговала ситуация с текстом. Что же там за тайна такая, о которой кричал злобный парень в парке? Я принёс пергамент домой и, немало потрудившись, разобрал почерк: «Lactantius iura defendunt, quod terra flat est». М-да. Поэзия и правда.

17. КЛАД

Я обо всём рассказал Саше. Вначале он в одиночку, а потом и совместно со мной, пытался выяснить судьбу второго манускрипта. Таня вела себя удивительно мужественно, неженственно. Она не плакала, не билась в истериках, но односложно и нервно реагировала на вопросы. Рациональные утверждения, высказанные во время наших продолжительных бесед, можно суммировать следующим образом:

1. У Тани было мало времени, чтобы что-то украсть. Поэтому она просто схватила ближайшую бумагу, которая показалась ей наиболее старой и потому самой ценной.

2. Она взяла лишь один документ. У неё попросту не было времени и возможностей похитить ещё что-то. Ей было важно что-то схватить и тут же, без всяких промедлений, спрятать.

В какой-то момент я очнулся от этих допросов. Боже мой, я предсказывал судьбы, а просиживая за книгами, я превратился в детектива! Получается, получив вспомогательные инструменты, то есть нужную литературу и учителей, я не приобрёл, а утратил? Нет, наверное, человек должен развиваться, а интуиция вещь ненадёжная, на чувства нельзя особенно полагаться. Важно идти к осмыслению, которое на первых порах будет мешать, как в известном рассказе теория вредила сороконожке танцевать, но потом я, несомненно, сумею овладеть и чувствами, и разумом. Я вернусь к интуиции, но другим, мудрым человеком. Если не пройти путь знания, то я, опираясь лишь на чувства, деградирую. Ощущения – плохая опора, нетвёрдая. Знание сделает меня сильнее, но на это требуется время.

Однако мне очень опротивело всё это следствие, глупые разбирательства, и я твёрдо решил рассказать всё магистру Ордена. В самом деле, как оказалось, я не так уж и виноват. Мне нечего стыдиться. А теперь важнее всего вернуть утраченную рукопись.

Магистр, выслушав меня, созвал совет, на котором я изложил проблему перед всеми братьями. Тогда, смущаясь и краснея, встал Дмитрий:

– Тania не брала рукопись о жемчужине. Текст у меня... Я решил, что попользуюсь и верну... На то у меня были веские причины. Да и выдача у нас свободная. Никак и ничем не ограничена для братьев... Не хочу вас всех утомлять сейчас долгим рассказом. Говоря коротко, изучая самые разнообразные сочинения, я пришёл к выводу, что в манускрипте указано место, где спрятаны реальные сокровища. Мне удалось обнаружить множество ключей к истории о жемчужине. Мною овладела безумная страсть. Больше всего на свете я желал найти сокровища... Даже не просто ценности, хотя и они для меня были важны, но, в первую очередь, я ликовал от ощущения лёгкости, с которой я решаю непростую головоломку.

– И ты знаешь, где клад?! – воскликнули все присутствующие.

– Можно сказать и так...

Дмитрий вытащил из сумки рукопись, передал её мне. Я был возмущён наглой кражей. Взять без разрешения – это воровство. И зачем? Что мешало ему попросить эту бумагу у меня? Никакие загадки мира не могли служить оправданием столь подлому поступку. Между тем, Дима продолжил:

– Если вы соблаговолите последовать за мной, я вам его покажу.

В комнате послышался гул. Всё смешалось, радость, удивление, недоумение, восторг. И, разумеется, все пожелали тут же отправиться вслед за Димой. Я тоже пошёл, хотя чётко понимал, что ненависть к этому человеку, подлому воршишке я пронесу сквозь всю жизнь.

18. ВЕЛИКАЯ ТАЙНА

Мы долго плутали по центру города. На первый взгляд этому не было никаких оправданий. Центр Одессы очень компактный. Здесь легко и просто попасть из одной точки в другую, не расходуя на это много времени. Дима, однако же, считал, что если в описании даётся очень запутанный маршрут, то необходимо его точно воспроизвести. Ведь и в легендахклады не лежат на одном месте, но открываются, закапываются, сами собой перемещаются. Для современного человека всё это звучит довольно необычно. Однако в старину люди не были дураками. Напротив, не имея телевизоров, они пристальнее наблюдали за окружающим их миром. И оставленные ими предания, наверняка, имеют под собой реальную основу или, по крайней мере, они точнее отражают окружающую действительность, чем наш беспочвенный «здравый смысл».

После долгих блужданий, мы выбрались на Соборную площадь, а от неё пошли на Коблевскую. Мы немного прошагали по левой стороне улицы и свернули во дворик одного из доходных домов, построенных в «надатые» годы двадцатого столетия. Затем мы спустились в подвал, вход в который был слева от ворот. Удивительно, но в глубоком подвале был хоть и тусклый, но свет. Я так и не понял, откуда он сюда проникал, как ни силился решить данную проблему. Тогда мне хотелось найти рациональный ответ, а теперь я склонен считать, что в освещении было что-то магическое, что-то сверхъестественное. Впрочем, само место не представляло собой ничего особенного. Когда-то оно использовалось для хранения угля, остатки которого лежали у нас под ногами. Кажется, в доме давно есть центральное отопление, а подвал забросили в далёкие времена. Жильцы же давно забыли о его существовании.

Но вернёмся к основному действию. Мы спустились следом за Димой. Наш проводник выдерживал паузу, пока мы с любопытством озирались по сторонам. В конце концов, общее молчание нарушил нетерпеливый Андрей: «Ну, где же твои сокровища, брат Дима?». Дима молча указал на стенку. На её поверхности отчётливо чернела выведенная углём надпись: «Наташа бл.[...]ь. 1924 год».

– И что это?! – удивился я.

– Это вечность. Это неизменная тёмная сторона сущности человека, спрятанная глубоко, как этот подвал под землёй. Важно её найти, осознать и держать взаперти, не позволяя вырваться. Я полагаю, что осознание этих истин – это и есть сокровище, о котором говорится в тексте. Хотя, конечно, не исключено, что я неверно расшифровал рукопись.

Тогда я подумал, что Дима явно что-то напутал с дешифровкой. Но потом я свёлся с этим толкованием, согласился с ним, когда окончательно к нему привык.

ИЗ СОВРЕМЕННОЙ АРМЯНСКОЙ ПОЭЗИИ

НЕРСЕС АТАБЕКЯН

в переводах Гургена Баренца

... մենք ենք փանդիպում,
և ամեն մինորու չհանդիպում
վիշտն ու յնեքիաթնե.
բոլորը գիտեն,
ոչ ոք չի հիշում...

...мы не встречаемся,
и каждая новая наша не встреча –
всё та же сказка:
все её знают,
но при этом никто не помнит...

ՎՐԻՊԱԿ

Ցավը՝ բուրուշատակեր,
լավը՝ սակավիկ,-
Արարիչը շտապեց՝
աղամակավից
ուրիշ բան էր թրծելու,
ստացվեցին
վրիպած ու վարանոտ...
Ե. Չարենցիպետ:

ОПЕЧАТКА

Боль – тупая и ненасытная,
Радость – щупленькая и маленькая.
Творец поспешил:
Он собирался из глины
Изготовить что-то другое,
Но в итоге получился я –
Неправильный,
Снедаемый сомненьями,
Как Е. Чаренц...

ԹԻԹԵՌՆԱԿՅԱՆՔ

Բարիլույսիպեսեծուլուսավոր
 ումիանգամից -
 տեսավՍկիզբըուՎերջըտեսավ,-

մահըչմիկերպչինումկիսատ,
 կյանքըչմիկերպչիպարունակում
 խոստացվածԿյանքը,-

ուերթթներինոյիրափոշին
 մնումէվերջինմատներիվրա,
 որսիրովրիպան,

տիեզերականփլուզումների
 համանվագում
 խմբավարումէ
 ՄեծՀառայանքը...

ЖИЗНЬ БАБОЧКИ

Большая и светлая, словно «доброе утро»,
 она внезапно
 увидела Начало и Конец, –

смерть на полпути не остаётся,
 жизнь никогда не содержит в себе
 ту самую обещанную Жизнь, –

и когда пыльца с её крылышек
 остаётся на последних пальцах,
 что с любовью коснулись её,

то в возвышенном хоре
 космических катаклизмов
 дирижерскою палочкой машет
 Великий Вдох...

ՀՈԳԻՍ

Ջղալարերովշրջանկարվածամայությունէ,
 ուրաստվածները
 մարդակաղապարցանկություններեն
 ձուլումոչնչից,

հետոգալիսւտառաջինձյունը,
 վերջինանձրևիցանհապաղիտոտ,
 որկաղապարներնարագհովանան
 ուձեռքերնիրարչարզենհանկարծ,
 ուչմտածիտարածությունը
 ժամանակիպինդկրծքերիմասին
 ուչկարոտիարունքներբաց,
 սևարեգակը՝ սևքարանձավում,
 ուքամիներիքառատրոփը
 քառաթննիդուրսև - անվերադարձ,

իսկմնացյալըդեռությունէ,
 որիրբծիլիծումըլսվի
 ումահաձերմականվերջությանմեջ,
 սևինէտալիս
 Ավերակացտո՝ մթագավորեմկայսրությունը...



МОЯ ДУША

Пустота, очерченная нёрами,
В которой боги
Из ничего выплавляют
Желания по образу людей;

Затем, вслед за последним дождём,
приходит первый снег,
чтоб созданные образы остыли,
друг другу не протягивали руки,
чтобы пространство даже не мечтало
о юной, выпуклой груди эпохи,
не тосковало о её сосках;
чёрное солнце прячется в чёрной пещере,
и завыванье ветров –
многокрылое и безвозвратное,

всё остальное – всего лишь мертвый покой,
чтоб якобы было слышно, как растут ростки,
и в смертельно белой бесконечности
чернеют
развалины заброшенного замка...

ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Շշուկներինէջ, երբկեսգիշերնանցէ,
նշունեցածայգիդգաղտնապահէուզոց,
շշուկներինէջմիձայնանիշկաանվերադարձից,
որհատկապեսսիրումէթուփրանտոհմ
ամաչկոտապահվածտոհմիկներիցայնկողմ,
ընկեցիկը՝ ծաղկածպատահականսերմից,
որագռավըզգեցմիերեկո
ցանկապատիհեովում, ստվերներումնեղիկ,
ուշիվտվեցհանկարծբարակոտն...

Ուերազեգալիսնրանհեռումիկյանք,
ուրհայրնագռավըչէ, դիպվածը՝ մայր,
հովորորումէամայիթեթնձոճքը,
կանձրննէխշումավազներիվրա,
նիրներսումնյուսվում-ծանրանումէխոսքը,
որդեռանունունիտոհմածառին,
նգիշերներնայնտեղոչմիտողչիստում
տերներինստածցողըմանրիկ,
կլուսիննէշաղվումփշուր-փշուր,
նարննէմաղվումհատիկ-հատիկ,
նհեքիաթիկեսինմիիննախատատիկ
իրառաջինսիրուցինչ-որքանէհիշում,
ուտխրումէհանկարծ,
ուլինումէաշուն...

БИОГРАФИЯ

В полночном шорохе и шёпоте слышны
Секреты сада, которого нет у тебя,
И в шёпоте слышатся потусторонние звуки,
Которые облюбовали безродный куст,
Стыдливо спрятавшийся за незримыми родословными,
Подкидывш, возникший из случайного семени,
Которое как-то вечером выронил ворон,
У отдалённой ограды, где покоится узкая тень,
И вот он вырос – тоненький росток...



Ему во сне привиделась дальняя жизнь,
 В которой не ворон отец, а случайность – не мать,
 Ветер легонько покачивал облака,
 И дождь шелестел на песке,
 И в нём бродило, созревало слово,
 Что попадёт на древо родовое,
 И ночь не говорит ни строчки лживой
 Росе, рассевшейся на листьях;
 И луна рассыпается на тысячи мелких кусков,
 И солнце просеивается по зёрнышку,
 И посреди сказки какая-то древняя бабка
 Вспоминает первую любовь,
 Внезапно становится грустной,
 И наступает осень...

Լույսը կմարեմ,
 որչտեսնի Մութին շանառուն,
 կնստեմ խավարում
 ու կհաշվեմ մատներս
 ... մեկ... երկու... ութսունչորս... հարյուր...
 ու բոլորն էլ հատ-հատ պարտվել են
 ձեռքերումս ից,
 սիրուց,
 հատուցումից,
 պարավել... մատնությունից,
 խուլ ենարդենուկույր,-
 հիշողության տեղը
 միմաս-մաքուր
 անհայտություն
 ու մատնություն
 վայթե՞Գեթսեմանից վերան,
 երբդե ու Առաքյալը
 տեսավարդե նՆրան
 ու մատներ հսպե սեռավ
 հիշողության գնդավառածազարակում:

Выключу свет,
 чтоб не видел меня снайпер Тьмы,
 буду сидеть во мраке
 и считать свои пальцы:
 ...один... два... восемьдесят четыре... сто...
 они все до единого проиграли –
 от рукопожатий,
 от любви,
 от возмездия...
 стали жертвой предательства,
 стали глухими, слепыми, –
 вместо памяти
 частично-полная
 безвестность
 и предательство
 почище Гефсиманского,
 когда будучи ещё Апостолом
 уже увидел Его
 и умер, как мои пальцы,
 на холмике, который куплен был
 ценою памяти.



Միանգամ,
Երբ կեսօրն անցեր
ուստվերն անծայր,
ամպկար ճախրող կեղծամ,
և աղջիկ կար անցյալ,
ումիքիչ էրքամին,
ումիքիչ էրբույրը
բուրմունքի ծաղր,
ուղադարը հայացք,
ուկյանքը միպուճուր,
բայց դարձյալ...

... Երբ կրկնակդասում է՝ եկա,-
մահրիմացյալ Ավարայրը չէ,
այլ Ամենօրը,
մանավանդ էրբանց է կեսօրը,
ուստվերն անծայր,
մինչև հորիզոն,
ուրառաքյալը թռչափն է առնում
ջրերի նաջված ռոտնա հետքերի,
ուպատրանքներ փլեկի վրա
Ջոնաթան ճայն է վիատսավառնում:

Однажды,
когда полдень уже прошёл,
и стала тень бесконечной,
появилось облако – парящий парик,
появилась девушка – прошлое,
появился ещё ветерок
и лёгкий такой аромат,
не аромат, а пародия;
И был паузой взгляд,
и жизнь была также маленькой,
но вернувшейся снова...

...Когда твой двойник говорит: вот он я,
смерть перестает быть осознанной,
она становится каждодневной,
особенно,
если полдень уже прошёл,
и стала тень бесконечной,
до самого горизонта,
где апостол пока измеряет
следы, оставленные на воде,
и на руинах иллюзий
парит тшедушная чайка Джонатан.



ИЗ КНИГИ «ПО ЛУННОМУ СВЕТУ... БЕЗ СЛОВ»

Իմ տողերի մեջ
 Մի մեծ դատարկ է-
 Միրո լքյալ դաշտ,
 Միրո հույզերի
 Չփոխարինվող մի տարածություն,
 Որ շատ ավելի ծանր է կշռում,
 Քան թե ողջ լեզունն...
 Եվ տողերիս մեջ
 Այդ բացակայի
 Չայնն է ամենից բարձրագույն
 հնչում Իր թափուր, տեղով
 Հենց նա է դարձյալ
 Ամենաթանձր ստվերը ձգում,
 Ցանցերն իր փռում է և տողապակում.
 Եվ չլինելով, առանց անցաթոն տղթ-
 Սյուրի հետ, քամո ւ,
 Բոլորից շատ է տողից - տող
 անվերջ երթն-եկ անում...
 Դե, էլ ով կասի,
 Թե., սիրո մասին Ես արդեն ինչ-որ
 երկա փ եմ լրում...

В моей строфе
 зияет пустота –
 Любви безмолвное
 пространство,
 Вселенная растрченных
 тревог,
 В которой больше сути,
 чем в словах...
 И громче громкого
 взывает пустота
 В моих стихах;
 И в запустении своём
 Она глухую темень простирает
 И ставит сеть,
 и сокрушает слог;
 Влекомая – дыханьем или
 ветром? –
 Неумолимо катится
 со строчки на строку...
 Кто упрекнуть меня теперь
 посмеет...
 Что о любви давно я
 не пою?..

Էլչեմ սպասի...
 Բոլոր մոմերս մինչ վերջ,
 Մինչ մրուր
 Արդեն հավեցին,
 Ու թե փորձես էլ չես գտնի ըդեն
 Դու ճանփաղ դարձի...
 Էլչեմ սպասի...
 Հն չե Վրարանա հանց արձան միջում
 Այս մութ աշխարհի.
 Վերջին արցունքս թափեմ
 Մեր սիրո
 Փլատակներին
 Ու... թափ տալով իսկ
 վերջին հյուս փոշին –
 Գնամ այստեղից...
 Կյանքը փռել է
 Ամեն բան իմ դեմ՝
 Քեզանից բացի –
 Կհյուսեմ բախտս այդ մնացյալից
 Ո՛ր վերջ...
 ու... բավ է... էլչեմ սպասի...

Не буду ждать...
 Последняя свеча
 тоскою истекла;
 И тщетно будешь ты
 Искать пути назад...
 Не буду ждать...
 Среди вселенской пустоты
 Я не остыну изваяньем;
 Последняя слеза
 не воскресит любви,
 И... прах её стряхнув –
 Пойду я прочь...
 Жизнь обещает всё –
 но только не тебя.
 Вплету в судьбу я
 То, что мне осталось,
 И всё... и... хватит...
 И не буду ждать...

Օրերը գալիս
 ու... չեն բերումքեզ
 Բայց դու անշուշտ կաս –
 Հեռվում ինչ-որ տեղ.
 Անորոշ սիրուս ուկեզկարոտիս
 Միակ հյուրն ուտերն...
 Եվ թվում է միշտ,
 Թե ամեն անլուրջ հպանքով անսեր –
 Դավաճանում եմ, հեռավոր իմ, քե՛զ.
 Դավաճանում եմ –
 փոխելով թերմը
 Դեռ չճանարաչաճ քո տաք ափերի –
 Այս պահին հուզող,

այս պահին պարզված
 Այլ զգվանքի հետ.
 Լոկ անրջանքիս մարմաշով պատված
 Կերպարանքը քո –
 Իրական, շնչող, սարսուռն մեկով...
 Բայց խաղ է ողջը.
 Սրտիս բանալին ձեռքերում է քո,
 Բախտիս ամենահրե արեգակն
 Փակված գալիքով...
 Եվ, սակայն, քանի
 Չես դուրսում դեմքը հոսողներկայիս
 Դեռ քո քայլերով
 Իմ ամեն շեղի ու գայթի համար
 դո ւ ես մեղավոր...

Приходят дни и...
 мимо ускользают,
 И всё не принесут тебя с
 собой.
 Но где-то далеко
 ты всё же есть, я знаю,
 Моей любви с тоскою пополам
 Единственный и гость и
 господин...
 И всякий раз, касаясь не любя,
 Далёкий мой, тебя я предаю,
 Творя подлог: тепло твоих
 ладоней
 На жар споминутных
 праздных ласк,
 Твой образ, сотканный из
 грёз,
 Земным до боли кем-то
 заменяю...
 Всё вздор! Игра!
 Ключ сердца моего в твоих
 руках,
 Зарю мою неволит горизонт...
 Пускай тебя и нет,
 и не было со мной –
 В моих терзаниях
 Один лишь ты виною...

Ես դեռ կամ, դեռ կամ.
 Դեռ զգում եմ ծույլ պտույտը երկրի
 իմ ոտքերի տակ,
 Դեռ տարբերում եմ աչքերս՝ ստվեր և լույսի ձերմակ,
 Ինձ հանում մահճից
 ամեն բացվող օր
 Հազար հոգս ու պարտք...
 Ես դեռ կա մ, դեռ կա մ
 Աշխարհն է միայն շուրջս իրական,
 Իսկ ես մի դատարկ,
 մի մեծ բացակա,
 Կյանքի տեղ լոկ խաղ,
 Մտքերի միայն փախուստի հնար,



Յանկութիւնների՝ շինելու ճար...
Բայց դէռ հոսում են օրերը անկանգ,
Ինձ հանում մահճից
ամեն բացվող օր
Հազար հոգու ուշարտք...

Жива ещё, ещё жива,
Ещё ленивую земную
круговерть
Стопа моя умеет разгадать,
И в слепоте ещё не слились
Свет и тень;
И тысячей долгов и дум
Меня с одра подьмает
Новый день...
Жива ещё, ещё жива?
Мир – явь, я в нём –
небытие,
И жизнь – игра,
Побег от мысли
И от желаний забыть...
Но дни скользят ещё
И тысячей долгов и дум
Меня с одра подьмают...

ВИТАЛИЙ МОЛЧАНОВ

ДЫХАНИЕ ТРОПИЧЕСКОГО ЗВЕРЯ

ДОКТОР ЙОЗЕФ

– Доктор Йозеф, залейте, пожалуйста, солнце.
Солнце чёрное, злое в глазах моих бьётся,
Спрыгнув с кончика Вашей блестящей иглы.
Вы сказали: «Укол – и ты станешь арийцем,
Называть тебя будут по-новому – Фрицем,
Ты уедешь отсюда, из лагерной мглы,
В чудный город, как в сказку, где небо в алмазах,
И детишки упитанны, голубоглазы –
В мир, где море и люди не знают войны».
В правом... В левом... – Поймайте страданье пинцетом,
За буйки его, прочь. Этот город – не гетто?
В этом городе – мама? Мы встретимся с ней?
«Пляж» бетонный: бордюры, решётки, бараки.
В детской мёртвой ладошке – обрывок бумаги,
Фантик, – Менгеле¹ добрый, он дал шоколад.
«Морфология рас». Жертва новой науки
Будет брошена в печь.

– Фройлен, вымойте руки,
Картотеку сюда – мне в Берлин на доклад!
За окошком фонарь захлебнулся в тумане.
Тени, тени застыли, как йоги в нирване –
С именами листок: кто ещё, кто уже...
Доктор Йозеф сбежит от петли – затаится,
Но утонет по пьяни в бразильской водичке.
Вечно пить слёзы жертв непрощённой душе.

¹ По собственному почину Йозеф Менгеле, в юности увлекшийся расовой теорией, проводил опыты с цветом глаз. Ему зачем-то понадобилось на практике доказать, что карие глаза ни при каких обстоятельствах не могут стать голубыми глазами «истинного арийца». Сотням узникам он делал инъекции голубого красителя – крайне болезненные и часто приводящие к летальному исходу.

Город зевнул, потянулся устало,
Лёг и заснул глубоко.
Губы часов из резного металла
Времени пьют молоко.
Звонко считают глотки поминутно,
После – растянутся в ряд
И улыбнутся, предчувствуя, – утро
Снова плеснёт в циферблат.
Каркнет ворона, и месяца рожки
Спрячутся в звёздном стогу.
Город разбудят довольные кошки,
Спев про любовь на бегу.



ЧУЖИЕ МЫСЛИ

/по Г. Г. Маркесу/

На зыбкой почве памяти моей бунтует сельва –
 пламя древомыслей потомка неизвестных мне людей,
 чьи обезьяны – злобные, как гризали, гоняют попугаев
 прочь с ветвей, клекочущих о птичьей глупой жизни,
 коверкая испанские слова акцентом
 старожилов-гуахино. Вновь сыграна звенящая глава...
 Из броненосца сделанная лира молчит – колышет
 кроны ветерок... «Ищи Макондо...» – шёпот между
 строк, дыхание тропического зверя: «Бери копьё, мачете,
 Столп Империй, – иди, ты многорук и многоног, сто лет
 рубить дорогу к океану, теряя годы в чащах цвета лжи,
 чтоб в дуло посмотреть, как игуана, бесстрастно –
 без надежды и души».

На зыбкой почве памяти моей бунтует сельва – жгут
 чужие мысли, сажает лес писатель Габриэль, сплетаются
 побег, еле вызрев, пускают корни яростно и зло –
 до боли мозговой, до глаукомы... А кажется, что бабочки
 крыло касается сознания невесомо.

ДУДУК

Скупно плакала осень в неполный бокал,
 Прижимая к глазам тучи скорбный сатин.
 «Закрываю кафе... Я за лето устал, –
 Мне сказал подошедший старик-армянин.
 И ещё он промолвил: «Послушай дудук,
 Как страдают по близким, не в силах вернуть».
 Скупно плакала осень – не громко, не вслух,
 А мотив проникал острым лезвием в грудь.
 Сотрясались от плача руины души,
 Так срывается с круч родниковый поток,
 Превращается в сель, собирая гроши
 Капель слёз дождевых в миллионный оброк.
 Скупно плакала осень... Шипела листва,
 Словно змеи проснулись от быстрых шагов:
 «Не догонишь – ушла, круче нет волшебства,
 Чем испить пресный яд предстоящих снегов».
 Встать бы, стол отшвырнуть онемевшей рукой,
 Смыть с которой загар злым дождём добела,
 Побежать и вернуть... Змей шипящий конвой
 Проводил и улётся опять у столба.

– До свиданья, вернее, до лета, старик.
 Вот тебе, дорогой, за вино и дудук.
 ...Скупно плакала осень – не в голос, не в крик,
 Как мужчина, с любовью простившийся вдрут.

КОФЕ

Чёрный-пречёрный, и кровь горяча –
 знаешь, я кофе,

Сорван, отборный, рукой палача,
 смолот в Европе.

В чашке печаль свою паром укрыл –
 облаком тайны,



Маниакально глаза ты скосил,
словно я крайний...

Выпей текилы, смолистую жуть
рома el negro

Лей избыточно в широкую грудь –
пеклом на пекло.

Пепел сигарный на столик упал...
в злобе ли, в плаче?..

Гринго вульгарный, пузатый нахал,
спит у мучачи.

Мажет слюнями податливый рот,
комкает тело,

Платит хрустами. А ты, идиот
осоловельи,

Слушаешь кофе, где сахар шипит
злобные враки:

– Смолот в Европе, не мешан, не шт...
Хочется драки.

Плоти толчёной кипящий настой –
кофе отведай.

Сталью калёной грозит выкидной,
сбудутся беды:

Гринго дрожащий, мучача в слезах –
тонкие вены.

Вытрешь хрустящей купюрой тесак –
платой измены.

Кровь заструится, подпев, сторяча,
мне асарелла.

Чёрный-пречёрный, рукой палача
сорван Отелло.

ВОРОНЁНОК

Он просто выпал ночью из гнезда,
Комочком перьев раздирая ветки.
Лиловая небесная мездра
Дождём сочилась, сукровицей редкой,
Прилипнув гематомой облаков
К ладошке остывающей вокзала.
А рядом, потревожив светляков,
Упавшего трава к груди прижала.
Сначала было страшно и темно:
Кричала мать, отец шумел крылами,
Пока, привычно вывернув руно,
Не прикоснулось утро рукавами,
Вернув тепло, спокойствие и свет.
Червяк исчез проворно в жёлтом клеове.
Семейный мигот порешил совет
Кормить поочередно, в карауле



Стоять, храня от алчущих клыков
 И хищных лап, свою беднягу-детку.
 Малышки с прилегающих дворов
 Птенцу несли кто муху, кто конфетку.
 Смеялся тихо городской вокзал,
 От бликов шуря вычурные окна.
 А день в одеждах солнечных дрожал
 Над парком, развалившимся дремотно.
 Когда комками ваты облака
 Прижались к ранам алого востока,
 Безжалостно тяжёлая нога
 Птенца в крыло ударила жестоко,
 И на глазах у стихшей мелюзги
 Вторично поднялась, в траву втоптала...

...Стихали долго пьяные шаги.
 Гудок электро-слёзно ныл с вокзала,
 Вороны, страшно каркая на смерть,
 С гнезда срывали прутьики пелёнок.
 Сердца детей заставил отвердеть
 Комочек перьев – горе-воронёнок.

на белом листочке
 обычном прохладном и тонком
 из тысячи первом
 расставшимся с братьями в стопке
 ни слова ни буквы ни знака ни точки
 таинственность чуда
 мелькают волшебные ручки
 рождаются горные цепи
 и снежная кромка
 украсит упёртые в небо вершины
 усилятся эхом
 безмолвие песни орлиной
 стозвучным раскатистым смехом
 падёт с высоты камнепадом
 распорет суровые тучи
 рассыплется градом
 дождями умоются кручи
 и солнце взойдёт несравненно
 прекрасней и лучше
 чем тысячи солнц в дни другие
 сижу на скамейке
 а ты босиком поливаешь
 цветы золотые
 из старенькой лейки
 забытыми снами
 в прозрачном и белом
 листочек орёл оригами
 твоим пахнет телом
 и чуть облаками

КОНЧИЛОСЬ ЛЕТО

Волны, разбитые в брызги, силу попросят у ветра.
 Впадины скальные – миски, очередь в полкилометра
 Из валунов – просят ила щедро добавить в похлёбку.
 Выжало тучу светило в жгучую пляжную глотку.



Ёжится тонкая кожа в мокром плаще из загара.
Август, случайный прохожий в цепких объятьях вокзала,
Топают к поезду быстро, машет, прощаясь, букетом,
Где все бутоны – как числа, в каждом – застывшее лето.
Пахнешь разлукой и морем, чудо в солёных песчинках.
Чайки с природой не спорят – тучи разносят на спинках.
У сентября сигарета палой набита листвою,
Даст прикурить ему лето нашей любовью с тобою.
В бред разбиваются волны, в дым превращаются страсти...
Фото в застенках альбома станут гербарием счастья.

АЛЕКСЕЙ ОСТУДИН

«НЕ СЛЫШИШЬ МЕНЯ ИЛИ МЕДЛИШЬ...»

ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ

Не говори, что время позднее,
вот верный признак потепленья –
снег, свежавывавший из поезда,
мои разбитые колени.

К чему влюблённым мудрость ворона?
Важней ушные перепонки.
Тебе за пазуху даровано
спокойствие души ребёнка:

там сохнет лук в чулке за печкой.
дверь открывается со скрипом,
печалится, что зябнут плечи,
сверчок, владеющий санскритом.

А твой герой не вяжет лыка
в разгар свечи и ночи жалок...
В углу шотландская волынка
стоит снопом из лыжных палок.

Он из фольги приклеил фикса,
обиженную скорчил рожу...
Что из того, что счастье близко,
когда сейчас – мороз по коже!

ФРУСТАЦИЯ

Гам детей за окном, надоели скворцовые гаммы.
Резко вскочишь с кровати – поднимется шум в голове:
занавеску знобит, будто ветер болтает ногами
и съезжает со стула и хнычет в капризной траве.
Не начавшись, кино погрязает в соплях и римейке:
поцелуй Бекки Тетчер, забор, вислоусый Марк Твен...
Вот и Мекка твоя – переставлены в сквере скамейки,
и чернее Каабы в картонном стакане портвейн.
Развязался язык, превращая в процессе молебна
нимбы в ямбы и наоборот – вот и вся правота,
только – страсть удержать на весу беспилотное небо,
что боится порезаться, падая на провода.
Кто такую тебя распряжёт и в любви не откажет?
Можно ручку свернуть, но кабинка уже занята.
Как песчинка в глазу, ты становишься частью пейзажа,
распадаясь легко на ионы во чреве кита.



Желтизной перевит, надвигается воздух сезонный –
 нараспашку идёшь, напрягая от удали пресс!
 Улетишь ли в Москву... А в ночном самолёте все – Зорро,
 и на месте луны кнопка вызова для стюардесс...

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Рисуй помадой гаснущей свечи
 на зеркале моём узоры Шнитке,
 когда луна болтается в ночи,
 как пуговица на последней нитке.
 Включи электрочайник сторяча,
 быть будто вместе выдумать пора нам –
 так алкоголик в поисках ключа,
 теряя память, шарит по карманам.
 Мне хорошо сегодня, как вдвоём:
 ни засухи, ни грозových агоний.
 Погашен, но пока не растворён
 ноябрь горелой спичкой в самогоне.
 Шатаются влюблённые взасос –
 кто им успеет подостлать соломки?
 А я опять, предчувствуя мороз –
 не высыпаясь солью из солонки!

ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС

Мы у пивных палаток били тару,
 винтами лодок путались в сетях!
 Как раненый боец на санитарях,
 висел в зените коршун на локтях.
 Былая нежить вынырнет нахально,
 и снова опускается в кессон...
 Сухой овраг, как кашель – бронхиальный,
 и дым костра – поваренный, как соль...
 Враги успели скурвиться и спеться...
 Вдруг бывший клуб обрёл иконостас,
 где колокол забит до полусмерти,
 и бабье лето на дневной сеанс!

ТАКАЯ МУЗЫКА

Свален у забора птичий щебень,
 прямо в лужу годовых колец.
 В городской окраине ущербной
 застоялся дождь, как холодец.
 Жизнь не вызывает аппетита
 хоть ползёт из новой скорлупы
 по асфальту, набрана петитом,
 как на пачке гречневой крупы.
 Выгребаем, в будущее вперясь,
 так лососи трутся борт о борт –
 кажется, торопятся на нерест,
 по идее – прутся на аборт.
 Снова всё весомо, зримо, грубо:
 Из кармана вытянув кастет,
 композитор дал роялю в зубы,
 вот и льётся музыка в ответ.



РАННЕЕ УТРО

А. Сахиббадинову

Опять фехтую спиннингом без толку...
 Бензиновым передником шурша,
 прижав к груди, укачивает Волга
 дежурный бакен, будто малыша.
 Пока ещё ни холодно, ни жарко –
 такую тишь на память засуши...
 На тонких лапках бегает байдарка
 и хитрой мордой лезет в камыши!
 Простреленный утиным криком воздух
 хватает ртом солёную росу.
 Уже рассвет порезался о звёзды
 и кошит кровь в ладонях на весу!

КЛАДБИЩЕ МЕТАФОР

Кенарем распеться не успею –
 опера повесилась на гласных...
 Кто бы помнил, что стряслось с Помпеей,
 если бы у Плиния не астма!
 Видишь, в закромах духовной пицци,
 уцелел один словарь толковый,
 потому что, где светлее, ищем
 между строк, а днём – согнём в подкову.
 Научившись воровать и красться,
 сыт одним, что вечности потрафил,
 с бодуна, плеснул в четыре краски
 скан воды на кладбище метафор!
 Потому что сердце, как бутылка,
 бьётся, а стакан души залапан.
 Велика печаль скрести в затылке,
 где и так полно уже царапин...

ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ

Воды оловянной хлебнёшь из пилотки,
 хрустящую лужу ударишь винтом.
 Весной примеряешься к каждой красотке –
 не то? Оставляешь её на потом...

Хочется Вере и надобно Наде –
 на лавочке в сквере ладонь козырьком.
 С шампанским бокал на включённом айпаде –
 рентгеновский снимок его пузырьков.

Прикуришь свистульку, съешь ягоду с торта –
 порезы души заживут без забот:
 жужжит, отжимаясь с прихлопом, моторка –
 на гребне волны, что втянула живот.

Спасение от соловьиного сленга
 не светит горящим в саду, а пока
 ползёт вертолётная лесенка с неба,
 как липкая ниточка из паука:

заденешь – проснёшься во времени оном,
 чужим языком за щекой мармелад.
 Посветишь в потёмках души телефоном:
 не то, на потом, и полезешь назад.



А запах такой, будто свечка погасла,
на шее болтается вырванный зуб,
в воде пионерские кубики масла,
печенье «Весна» и какао в тазу.

ВОПЛЬ

Снова номер неправильно набран.
Цифровыми измученный гостями,
я соврался, веду себя нагло –
сочини меня заново, Господи!
Понимаю, не Гайдн или Мендель,
что-то вроде на уровне Листа бы...
Ты не слышишь меня или медлишь –
или вновь быть боишься освиственным?!

ЛИПКИ

Куст сирени примеряет позы, что сулят спасенье от жары.
Рвут клеёнку воздуха стрекозы, в шапках-невидимках – комары.
Утопают в солнечных опилках облаков берёзовых дрова.
Юные поэты дружат в Липках и токуют, как тетерева.

Дания из города Казани – резкая, как пивовая плеть,
водит воспалёнными глазами, чтобы мир в стихах запечатлеть.
Никому особо не мешая, разберёмся ночью с Данией
в том, что есть поэзия большая, сколько слёз и боли до неё.

Да, не мне теперь, слегка за тридцать, стан разводить летящих муз.
Пусть на шее света не боится след любви, похожий на укус!
Потянусь к последней сигарете, утопая в неге и броне...
Мир несправедлив, и на рассвете девушка забудет обо мне.

ОЛЬГА АНДРЕЕВА

«ПОДСОЛНУХОВ – НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ КИТАЙЦЕВ...»

ДЕНДРАРИЙ

Из можжевельника браслет –
он укрепит иммунитет,
а лавровишняя нервы успокоит,
а чёрный лебедь белых бьёт,
а белочка в ветвях снуёт
у пинии – а может быть, секвойи.

Здесь у деревьев нет имён.
Его я называла – клён,
но он сложнее зовётся на латыни.
Что имя? Чтобы рассказать
другому дикарю? Азарт,
не больше, – знаешь, сколько видов пиний?

В раю – нужны ли имена?
Здесь молча всходят семена,
и сквозь ажурный сумрак льётся солнце
на лотосы и лебедей,
на бедных изгнанных людей,
глядящих в божий мир со дна колодца.

Ты здесь не дома. Не мечтай
возделать и удобрить рай,
сесть на пенёк, съесть пирожок с грибами.
Робей, исчезни, внемли. Тут
ни хмель, ни солод не растут,
ни стрелки лука с белыми шарами.

Простой и вечный – в генокод записан
закат над морем – где мне удержаться?
Уловлена. На этом мокром пирсе,
на облаках – нечитанных скрижалях –
оно пройдёт, оно уже проходит,
твое земное, – так не стой, иди же,
волна всё смоеет, время перепишет
твой черновик – но чайки нервный хохот,
упругость гальки – цепко держат взгляды,
и годовые кольца свежих срубов
так ждут руки, твои шаги – награда
для волнорезов варварских и грубых.



Увы, мы предсказуемы. Сверяйте
все даты и законы, сны, приметы –
всё сходится. Всё будет повторяться
в веках – и так до будущего лета,
пока опять пронзит – и ток по мозгу,
*и станет львом верблюд, а лев – ребёнком*¹
с волшебной флейтой, и на голос тонкий
пойдёшь по недостроенному мосту.

¹ Из Ницше.

Мир наэлектризован. Сотни мыслей
слетались к непокрытой голове,
искрят, трещат, толкаются на входе –
не тут-то было. Не в моей природе
впускать так много. Ну одну, ну две,

а там – чем дальше в лес, тем больше шишек –
давай ты завтра мне перезвонишь?
На скользких сколах раненого камня
заблудшие овечки Мураками, –
мне сосчитать их надо. Извини.

Я ж капитан дырявой нашей шляпки –
меня на берег списывать нельзя.
В энергосберегающем режиме
так, не любили, а слегка дружили.
Вперёд. Чем твёрже шаг, тем больше пыли.
оно верхней, и ноги не скользят.

Всё хорошо, и я бы попросила
не подставлять мне барского плеча.
Краеугольный камень преткновенья –
период моего полузабвенья.
Теперь я долго буду излучать.

Когда зажгутся звёзды хризантем
за каждым покосившимся забором,
и за очками, за чужим зонтом
от холода и ветра не укрыться,
ты закури. Пока летит тотем –
осенний лист, хранящий этот город –
всё хорошо. Оставь же на потом
привычно покосившиеся лица.

Ты болен осенью. Паршивая болезнь,
при осложнении переходит в зиму –
и всё тогда. За бодренькой рысцой
не спрячешь пустоты своей и страха.
Ты в этот тихий омут зря полез –
Твой долг щелчком растянutoй резины
доходит через заднее крыльцо
и с клёна рвёт последнюю рубаху.

Сюда нельзя – моральный кодекс прост.
туда опять нельзя – шизофрения.
молчи и жди, когда калека-мост
залечит позвонки свои больные,



и рассосутся пробки – тромбы вен
Садовой, Портовой, и трель резная
стократно повторится в голове,
как Отче наш, которой ты не знаешь.

Вишня – в собственной пене, в стыдливом огне,
в нереальном мерцании зелёного с белым,
вся в себе, и поэтому только – во мне,
этот свет, эта боль, этот зов... Это – Белла,
потому что мосты кружевами и сон
над рекою, и время мороженым тает.
Я опомнюсь, спасусь, отвлекусь, опоздаю,
неизбежно ударюсь о землю лицом.

Ежеутренний бег от себя и к себе,
ежедневное рабство почти добровольно,
ежеутренний бес ухмыльнётся в толпе –
то ли клык, то ли пирсинг на нижней губе.
Лепестки осыплются – разве не больно?

Что-то веточка чертит на голубизне,
словно Сэй Сёнагон в заповедной тетради –
многомерное, хрупкое, вскользь... Это – Надя
смелым лучиком. Утро приходит извне
и кривить не умеет. Покроюсь корой,
но оставлю открытым рубец на востоке.
В инстинктивной попытке согреть свою кровь
бледной ящеркой вытянусь на солнцепёке.

Когда проходит время сквозь меня,
ему покорно открываю шлюзы –
не стоит перемычками иллюзий
задраивать отсек живого дня,
и ламинарный лимфоток столетий
не заслонится частоколом дел,
а время растворяется в воде,
качает мёд – наверно, в интернете...

Я покорюсь – и вот простой узор
читается цветной арабской вязью,
двумерный мир взрывается грозой,
дорогой, степью, неба органзой,
причинно-следственной необъяснимый связью.
Такой диалектический скачок –
забыть себя – чтобы собой остаться.

...Подсолнухов – не меньше, чем китайцев,
и все влюблённо смотрят на восток.

Когда пытаюсь время удержать,
используя истерики, торосы,
пороги, слёзы – ни одна скрижаль
не даст ответа на мои вопросы.
Смятенье турбулентного потока
порвёт, как тузик грелку, мой каприз.
Во мне живёт латентный террорист,
и я за это поплачусь жестоко.

Домой! Мой дом древнее Мавзолея.
Жизнь удалась. Хай кволити. Кинг сайз.
Спасибо, время, что меня не лечишь,
не утешаешь меткой в волосах.

И в позе аскетической, неброской –
подсолнухи в гимнастике тайдзи.
Мне ничего плохого не грозит
с такой самодостаточной причёской.

*Тот, кто идёт не в ногу, слышит другой барабан.
Кен Кизи. «Над кукушкиным гнездом»*

То ли землю знобит под промокнутой одеждой,
то ли сводит оскомой сейсмической скулы,
то ли бьют в барабан африканские боги
для того, кто не в ногу идёт по дороге.
Ни мольбы, ни угрозы его не удержат.
Он один. Он молчит. Он смеётся и курит.

Ночь темна, только лозы дорог разметались
волосами богини на смятой постели
континента. В плену своей сладкой неволи,
что-то зная – идёт, и не чувствует боли,
презирает свой страх, раскаянье, усталость –
лишь бы бил барабан вдалеке, еле-еле.

За плечом его – ангел, под рёбрами – бесы.
Он лишается голоса, родины, веры
за глухой и размеренный ритм далёкий,
за великое право идти по дороге.
В этой жажде земной, этой каре небесной
Кто способен простить, кто сумеет измерить?

Лишь бы бил барабан...

ТРЕВОГА

Город горит или солнце заходит?
Розовый, розовый свет неприкрытый.
Суд ли вершится? Рыдают ракиты.
Городу больно на стыке ветров.
Город, где нет ни одной колокольни,
Полнится звуками колоколов.

Просто ли, просто ли – поздняя осень?
Грозди рябины ли, капельки крови?
Колокол бил, выколачивал «поздно»,
Холод бетонный волну разбивал,
Колокол бил, безнадежно влюблённый,
Имени, имени не называл.

Словно на восемь веков запоздалая,
Я – Ярославна, вовек безутешная.
Боль во мне древняя, боль во мне прежняя,
Волосы отданы воле ветров.
Город холодный, чужой и свободный
Полнится звуками колоколов.

НИКОЛАЙ СТОЛИЦЫН

БЕЛЫЙ КИТ

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ. ВОДА

Ной пока... чнулся: волны
Мерно ковчег качают,
Ноя качают тоже...
Вместе с далёким Солнцем.

Кажется Ною: небо –
Та же вода, но сверху...
Вот и – качнулось Солнце,
Вот и – качнулись тучи.

Всё – лишь вода, а ночью
Просто – вода чернеет,
Звёзды – как будто рыбы,
Плещутся...

Всё – лишь вода, и Ною
Трудно – дышать водою,
Трудно – в воде качаться,
В воду – шептать молитвы.

Больше земли не будет,
Будет – вода сплошная,
Сверху – вода! и снизу,
Только вода – повсюду.

Нет у воды – начала,
Ей – не кончаться вовсе...
Может, и Ной, бедняга,
Рыбою станет вскоре?!

БЕЛЫЙ КИТ

Не хватает глубины
Белому киту:
Чуть нырнул... и сразу дно,
Лучше б – в высоту.

Там – манящие огни,
Мрак и глубина...
Ну, и главное! совсем
Никакого дна...



Он бы воздуха втя-а-анул,
Занырнул туда...
На мгновение одно...
Или – навсегда.

Белый-белый – в черноту,
Слиться с нею чтоб,
Чтоб до кончика хвоста
Продирал озноб...

Чтоб приблизиться ему –
К звёздным огонькам,
Ведь поддастся чернота
Мощным плавникам.

Мелок нижний Океан...
Белому киту
Лучше б – в верхний занырнуть,
Лучше б – в высоту!

ГЕЙША САКЕ СОГРЕЛА...

Гейша сакэ согрела...
Робким своим дыханьем;
Ах, господин глотает...
Гейша глотает тоже...

Щеки её краснеют,
Даже сквозь пудру видно,
Хочется гейше – ласки,
Хочется гейше – плакать.

Вот – господин целует
Гейшу, и сам не знает,
Как будет нежен, сладок
Их поцелуй последний...

Яду в сакэ насыпав,
Думала гейша – в смерти
Стать с господином – целой,
Жаркой, единой плотью.

«Мы – неразлучны!» – гейша
Чувствует боли в сердце,
Это – не яд пока что,
Это – её желанье...

Гейша сакэ согрела...
Скоро сакэ остынет...
С гейшей, с её любимым,
Скоро остынет, скоро...

САЛАЖОНОК

Петька-салажонок
Отморозил нос:
Север наступает,
Кажется, всерьёз.



И по курсу прямо –
Бесконечный лёд,
Только салажонку...
Хочется – вперёд.

Лёд – совсем не страшный,
Бесконечный лишь...
Закрывает море –
И сверкает, ишь...

Петьке поскорее –
Тронуть бы его...
Не пугает Север –
Петьку одного.

Даже капитану –
Север ни к чему;
Хочется на Север –
Петьке одному.

Север... ну, и Север,
Холоден, жесток,
Но зато – не Запад,
Юг или Восток!

ХОЗЯИН. АНГЕЛЫ

По московским улицам
Мчатся «воронки»,
В них – мерцают тихие,
Злые огоньки...

Сумрачные ангелы
Курят за рулём...
Дым за ними стелется –
Сереньким крылом.

На погонах ангелов –
Звёздочки горят,
Весь усыпан звёздами
Ангельский отряд.

Пролетают ангелы –
Тысячи дорог...
О, Кремлём заведует
Их суровый бог.

Ангелы хранят его
Всюду и везде,
Сумрачные ангелы
Из НКВД.

И р-р-рыча моторами,
Дьявольски легки,
По московским улицам
Мчатся «воронки»!



УЛИТКА

Улитка прячет рожки...
Как листики дрожат,
С них капелька сорвётся,
И – брызги полетят.

А может, и не рожки,
А голову втянуть?..
Остановить на время
Свой бесконечный путь.

Пожалуй, хватит рожек,
Ведь капелька всего...
На брызги разлетится, –
И больше ничего.

А капелька сверкает,
Красивая она...
Красивая настолько,
Что даже не страшна.

Придвинуться поближе
И рожки потянуть...
А в капельке и Солнце,
И бесконечный путь,

И Солнце, и улитка, –
Всё в капельке одной,
Такой... такой огромной
И маленькой такой.

МЁРТВЫЙ РЫБАК

Рыбацкая лодка –
И взад, и вперёд,
А рыба-то в сети –
Никак не идёт.

Рыбак всё скучает,
А воды реки
Не ведают скуки,
Не знают тоски.

Бегут и – несут
На себе рыбака,
Рыбацкую лодку...
Несут облака...

Несут никуда,
Ниоткуда неся...
Хотя б на мгновенье
Застыть им нельзя.

А лодка, рыбак
И потёртая сеть –
С рекою сольются
Отныне и впредь.

Под Солнцем палящим
И жёлтой Луной
Рыбак будет вечно
Скучать над рекой...

ВИКТОРИЯ БЕРГ

ЦЕНТР ЛЁГКОСТИ

СНЕГ В МОЕЙ ГОЛОВЕ

В голове моей падает, падает снег.
Стоит его встряхнуть – и в хрустальных пределах
загораются солнца сиянием белым
и кружат, и кружат между сомкнутых век

над лубочными крышами прусских домов,
над корицей дорог в рыхлой сахарной пудре,
растворяются в ярком озоновом утре,
закрывая сезон бесконечных штормов

и промозглой распутицы – выдох и вдох –
тихо-тихо, безвольно, бесстрастно, дремотно...
Согревают снежинки теплом подворотни.
Улыбается с неба хрустального Бог.

ПРЕЛЕСТНАЯ РОЗАМУНДА

Розамунда сажает цветы. Так свежа
кожа нежная щёк – будто персик румяный.
Солнца лики на ней чуть заметно дрожат,
проникая сквозь крону старинных каштанов.
Ах, как кожа нежна и свежа!

Мрамор шеи щекочет волнистая прядь
в цвет горчичного мёда, рассветным сияньем
щёлк волос отливает. Озёрная гладь –
голубые глаза неземного создания.
Как колышется лёгкая прядь!

Олеандр, левкои, гвоздики, самшит...
В небе с криком пронзительным ласточки кружат.
«Дорогая, пора», – раздаётся в тиши.
И с могилы четвёртого, прежнего, мужа
Розамунда за пятым спешит...

НИТЬ АРИАДНЫ

Посмотри: по маренговой ряби морской –
жемчуг волн чуть заметный. – Безветренный вечер
ночи – краткой и тёплой – стал доброй предтечей...

Шепчет что-то невнятное сонный прибой
и щекочет ступни нам дыханьем своим.
Жар костра языком обнажённую кожу
возбуждает, по телу скользя, и тревожит
сладко что-то в груди. Пахнет соснами дым –

так щемяще-болезненно-тонко, ноздрей
лишь касаясь, легко и прозрачно взмывает
в бездну – звёздный хорал...
Здесь, у самого края,
между морем и сушей, с бесстыдством зверей

мы сплетаем тела в Ариаднову нить
и находим себя, потерявшись в пространстве,
проникая, касаясь – спешим с постоянством
минотавров бессонных своих отпустить...

С каждым стоном и вскриком и сжатием мышц
лабиринт наш становится чище, светлее...

Слышишь: гонг тишины, проревев, слабо тлеет...
И ему вторит робко прибрежный камыш...

ЛАДО МОЙ, ЛАДО

Птицею быстрою, горлицей серою,
молнией яркою поднебесною
я прилечу к тебе с зорькою первою,
ладо мой, ладо...
...Над чёрною бездною

где ярь-вода, лес густой – копыя острые
крылья раскину. Неси, ветер ласковый.
Будь мне подмогою, солнышко красное,
путь укажи до заветного острова,

где милый друг без любимой кручинится.
Ладо мой, ладо...
...Росою умоюсь я,
косы волной расплету в светлой горнице
да из окна шагну. Небо раздвинется,

примет, как матушка нежная, добрая.
Я полечу непокорная, гордая
в дальний чертог, где за дверцею инистой
ладо мой, ладо...

НИЧТО НЕ КОНЧАЕТСЯ

Милая, как тебе спится
в доме твоём,
в месте, где нет дорог,
только поля ромашковые,
где бесконечна даль –
девственный окоём,
где вперемышку дни –
завтрашние и вчерашние?



Стукнет ли каювом синица
в рамку окна,
тронет ли ветер прядь,
душу твою приманивая, –
что ты увидишь там,
в коконе светлом сна,
где так легко не жить
чувствами и желаниями?

Может, пронизанный солнцем
сосновый лес
или холсты болот,
бисером клюквы расшитые?...
Знаешь, а здесь – без тебя –
стало меньше чудес.
Сложены сказки в ларец –
чаще берём молитвами.

Милая, в городе нашем
снова дожди,
птицы орут, дуряя,
пахнет землёй прогретою.
Я покажу тебе, только
в сны приходи –
солнечной далью,
ромашковой гладью,
рассветами.

КАЧЕЛИ

*«Около 60 процентов всех беременностей в России заканчиваются абортom»
(Российский научный центр акушерства и гинекологии)*

Скрип-скрип. Баю-бай... Замолчите, качели.
Качели. Скребут каждый день безразлично.
Тебе, моя хрупкая, лёгкая птичка,
мой Авель доверчивый, пух для постели
едва собрала – с непривычки.

Скрип-скрип. Ты не спишь? Я устала дорогой –
душа перелётная ищет покоя.
Твой смех, как комар, вновь звенит над щекою –
лишь мрамор подушки сомнётся немного. –
Его не отгонишь рукою.

Скрип-скрип. Липкий морок: мой мальчик хохочет.
Вверх-вниз – подлетают беспечно кудряшки.
Груз к небу стремится под тяжестью чаши –
сломались весы...
Твой последний кусочек
в таз шлёпнулся. Спи, мой не спавший.

ТОРМОЖЕНИЕ

«Я уже подробно объяснял, что торможение, запрещающее убийство или ранение сородича, должно быть наиболее сильным и надежным у тех видов, которые... социально объединены...»

Конрад Лоренц, «Агрессия»

Так нет же –
 вместо того чтобы пить молоко из глиняной чашки,
 отщипывая по кусочку хрустящий горячий хлеб,
 ты молча натягиваешь фланелевую рубашку,
 колючий свитер под горло и падаешь в тысячу неб,
 хлопнув закрытой дверью, как будто ударив наотмашь
 кого-то внутри себя – только бы снова не зарычать. –
 Чтоб где-то в фонарном созвездьи, остановившись, вспомнить,
 что вечер отлился в форму забытого дома ключа
 и быстро тускнеет рядом с остывшей французской булкой.
 Вернуться по следу так просто, но вряд ли придёшь назад –
 и ты тупо кружишь по клетке скверов и переулков,
 боясь всепрощения зверя в родных, незнакомых глазах.

AB EXTERIORIBUS AD INTERIORA

В Твоей пустыне столько лет не шли дожди. Засохли пальмы,
 и «аллилуйя!» не звучит в тени невыросших маслин.
 Там ослепительно темно, там в горький час исповедальный
 сметает стойбища Твои испепеляющий хамсин.

Но всё же радостны губам неиссушаемые слёзы,
 что на лишайниках блестят в истоках высохшего дня.
 И так бессмысленно просты Твои пути в глазах беззвёздных,
 и тает в шёпоте песка «веди меня, храни меня»...

ШЁПОТОМ

ночь скользит неслышно мимо
 мёртвый город пахнет дымом
 всё уже необратимо, всё ушло в песок

догорает, тлеет осень
 нас, незрячих, ливень косит
 и на тёмном перекрестке громом – бой часов

персональная пустыня
 лишь для тех, чьё сердце стынет
 шепчем мы слова простые – слышен только крик

повстречались, жили-были
 плыли-пели, тили-тили
 отпылали, отлюбили – ну, бывай, старик

АЛЕКСАНДР ИВАШНЁВ

«ВЫЧИТАНИЕ ЧУДА В ТЕЛЕ...»

ПОЧУЙ МЕНЯ

Запахнут влагой и весной
большие города.
Почуй меня, ночуй со мной
хотя бы иногда.

Ты приходи хоть раз в году,
пока сады цветут.
Когда-нибудь, хотя б в одну
из тысячи минут.

О, превращающийся в кровь
в любой из мимикрий! –
и только тот, кого любовь
сжигает изнутри.

Её на тридцать замков
ты тщишься запереть.
А я один узнал закон –
любовь честней, чем смерть.

Я словно порт семи морей,
а ты всегда одна...
Я жду тебя, как кораблей
солёная вода!

Они выходят из портов
и огибают свет –
так я идти с тобой готов
вдвоём по склону лет.

Вдоль разомкнувшихся мостов,
свихнувшихся планет,
от поцелуев и цветов –
туда, где спасу нет...

И где влюблённые живут
хоть дольше, но больней.
В одной из тысячи минут,
в одном из долгих дней.

РУСАКИНЫ СЛЁЗЫ

Это странно: посмотришь на дно,
а в воде рыщут рыбы босые.
И у них под глазами темно,
и у них искривленные выи.



Или сердце изнемогло,
или просто устало, сломаюсь –
и давно уже так не везло,
и давно уже так не смеялось.

А вообще для чего ты жила,
погоняема собственным соком?
Что ли доля твоя тяжела
и пространство твоё одиноко,

или ты напоролась на жизнь
в этом странном раю, где живые
неживым повтыкали ножи,
и их раны болят ножевые?

Чтобы ты продолжала цвести,
чтобы нежилась утром на пляже –
чтобы мир невозможно спасти
и уже не подскажут,

потому, что мы умерли все,
мы уехали, мы утонули –
навсегда, далеко, насовсем
над собою пространство сомкнули.

Или так, как любимая ма –
сковырнула гнилую болячку
и от боли сходила с ума,
потому и отправилась в спячку.

Мы толпимся, как некогда мрак
под твоими большими глазами,
и солёные волосы (как
мне уже подсказали)

узкой речки песчаное дно
застелили и нехотя вьются.
Это, вроде, должно быть смешно
только так не смеются.

Если ты поглядишь из воды,
то заметишь по-женски, по-вдовьи,
что на взгляд из твоей темноты
отвечают любовьюю.

О, не ты, а сама недолга,
недотрога, дурёха в прорехах
непослушную чёлку со лба
прибирала со смехом.

Это странно, а кроме того
даже мне показалось печальным –
ведь чего даже быть не могло
получилось случайно:

головами лежат на земле
длиннохвостые дикие рыбы.
Это странным не кажется мне –
они умерли, вымерли – ибо

у живых появляется сын,
или дочь, или двойня и далее...
И они засыпают носы
кокаином до самых миндалин,



следом горло полощут вином
и едят молодого барашка.
Это только немножко смешно,
но нисколько не страшно.

Ведь сыновняя доля густа
(дочерей выливают с водою)
и уже не снимают с креста,
а косматой трясут бороною.

...ты плывёшь по молочной реке,
ощущая, что бремя – весомо.
И русалки поют вдалеке,
и у рыб голоса, как клаксоны.

ДЕНЬ ДЕНЕГ

Пока не требуют поэта, пока другие на посту,
я зажигаю сигарету под сенью девушек в цвету.

О, вы, невинные забавы изображавшие не раз,
и вы, тщедушные шалавы на живодёрнях автобаз,

кузины, строящие глазки и капиталы на крови,
и в свитерах широкой вязки подруги нежные мои,

те, у кого была фигура не только ночью, но и днём,
и для кого литература всего лишь мёртвый пантеон.

Правы посеявшие мыло, ведь не посеешь – не пожнёшь.
Когда-то всё мне это было не до звезды, а невтерпёж.

И я курю, как неврастеник, и в одинаре поддаю,
и ожидаю понедельник – день денег по календарю.

ЧУДА В ПЕРЬЯХ

В фонаре ли, под фонарём
акварельный застыл окоём.
И скользят по его купели,
что ли ангелы? – чуда в перьях.

Я их так называю, чтобы
духа вызволить из утробы,
и, когда вызволяю духа, –
легче воздуха он и пуха.

О, не жизнь, а её отрезок,
керосиновый блеск железок,
вычитание чуда в теле –
это ангелы не стерпели.

Так задумано ими, чтобы
устыдиться своей стыдобы
мог не только властитель мира,
но любой – посреди сортира.

Воздух вывернут наизнанку.
Музыкант просверлил шарманку.
И торчит из дыры пружина
словно дым, предвещая джинна.



НИКОГДА НИЧЕГО. КРИК ИЗ НЕВОЛИ

1

Не проси обещаний, ведь любовь сохранит
Только сумку с вещами и осадок обид.

Повторенье печали, как возврат в города,
Не давай обещаний никому никогда.

Лучше шторы опустим, чтоб не видеть стыда:
Прежде будущей грусти не грусти никогда.

Мы с тобой расstaёмся, чтобы вновь обрести,
И следы вероломства, как хвостом, замести.

Может к прежнему сроку мне добавят года –
Здесь всегда одиноко, как тебе иногда.

Никогда не исполнить, что судьбой не дано.
Я тебя буду помнить, и глядеть за окно

Сквозь искрящийся воздух в недоступную тьму,
На холодные звёзды, где не жить одному...

2

Только пробуешь воздух, не пытаясь втянуть
Через тонкие ноздри горький запах минут,

Из которых бежим мы, торопясь опоздать
На свиданья к любимым, переставшим нас ждать.

Это крик из неволи обладателя губ
Искривлённых от боли, искорёженных букв.

В колее тесных улиц разойтись не дано.
Вольный ветер, беснуясь, вылетает в окно:

На пути в тёмный город прочищает гортань,
И цепляет за ворот обладателя рта,

Говорящего с ним на одном из арго,
На каком аноним не сказал ничего...

ИРИНА СОТНИКОВА

ВЕРА

рассказ

Отношения Веры с Господом складывались плохо: он её не слышал.

Вера ходила в церковь, выстаивала службы, целовала стёкла безжизненных икон и сухие руки батюшек, старательно молилась, ожидая знамения, знака... хотя бы намёка на то, что Господь любит её... Но намёка не было.

Заполненный людьми собор Веру пугал. Он давил её тяжёлыми сводами, дурманил запахами ладана, ослеплял блеском свечей, изматывал службами. Люди выстаивались в очередь у церковного лотка, выбирали крестики, свечи, иконки, религиозные книги. Стоящая за прилавком пожилая женщина в клетчатом платочке небрежно отсчитывала дешёвые свечи и более аккуратно – дорогие, нервно раскладывала по прилавку пластмассовые иконки и сквозь зубы отвечала на вопросы прихожан, которые никак не могли выбрать нужных им святых. Впрочем, были среди покупателей и те, кто без колебаний заказывали необходимую церковную утварь и, получая от хозяйки лотка сдачу, благодарно кланялись: «Спаси вас Господи...». Такая же торговля, только церковными обрядами, шла и за соседним столиком. «Мне, пожалуйста, сорокоуст», – просила богато одетая дама и, рассчитываясь, щедро жертвовала на храм, а другая, серая и невзрачная, в мятом беретике, заказывала скромное «за здравие» и скупно отсчитывала мелочь. В голову Веры, наблюдавшей все эти сцены, приходили совершенно крамольные мысли: «А как же просить помощи тем, кому нечем оплатить услуги батюшки? Молитвами?».

Люди вокруг крестились, прикладывались к иконам, и Вера делала то же самое. Она плохо понимала смысла таинства службы и оттого через время начинала уставать – косилась на часы, начинала думать о своём. Но стоило ей перестать креститься вместе со всеми, как тут же появлялась рядом одна из церковных старух и как бы невзначай толкала её или шипящим сердитым шепотом делала замечание:

– Руки держи правильно... Спаси Господи...

Вера вздрагивала и заученно отвечала:

– Спаси вас Господи... Извините...

Иногда, пересилив смущение, она опускалась на колени и пробовала коснуться лбом затоптанного мраморного пола, но что-то в ней отчаянно сопротивлялось этому, охватывая стыд, и она, одергивая и отряхивая длинную юбку, неуклюже поднималась на ноги, чувствуя себя так, будто с неё сорвали одежду. А глаза на иконах вдруг становились злыми, и накатывалась невидимая волна осуждения: «Красива, молодая, и потому грешна, грешна, стократ грешна...». Облегчение наступало только тогда, когда Вера, оборачиваясь и крестясь, покидала собор. Она с наслаждением вдыхала свежий воздух улицы, с интересом поглядывала на прохожих, которым до неё не было дела, и окуналась в привычную житейскую суету, забывая на время о храме. Совсем по-другому Вера чувствовала себя дома. В редкие минуты отдыха, когда муж уезжал по делам, а дети гуляли, оставаясь одна, она вновь и вновь подходила к иконам, которые висели на стене её комнаты, и подолгу вглядывалась в строгие лики. Покой овладевал каждой клеточкой её тела, тишина плавала вокруг, защищая и убаюкивая, не было церковных старух. И приходило долгожданное ощущение Божественного всепрощения, будто печальная Дева Мария благословляла Веру, принимая её со всеми тайными помыслами и недостатками. «Всё было, есть и будет, – говорили глаза святых, – и нет ничего, к чему бы стоило стремиться столь страстно». Эти немые беседы приостанавливали суетный бег жизни, и многое, такое важное на первый взгляд, теряло свою значимость и отпускало душу на волю.

Вера всеми силами стремилась к пониманию истинной веры, но её пугала строгость обрядов и особенно – равнодушное и, как ей казалось, осуждающее отношение батюшек. И всё же любовь к Богу, светлая вера в его заступничество постоянно наполняли её душу ожиданием волшебства. Как ребёнок, не желающий согласиться с отсутствием добрых фей (иначе кто бы тогда побеждал злых?), Вера не хотела и не могла мириться с материалистическим описанием мира, где человеческая жизнь измерялась незначительным отрезком от рождения до смерти. «А что было до рождения? Что будет после смерти? Неужели природа так несовершенна, что не оставила человеку никаких шансов на бессмертие? Хотя бы на бессмертие души?».

Намаявшись на службах, Вера стала приходить в собор в то время, когда в нём не было людей. Немногочисленные свечи горели мягко, полумрак окутывал тело и успокаивал душу, а лики икон уже не казались такими строгими. И никто не обращал внимания на то, как она стояла, ходила, крестилась. И женщина в клетчатом платочке, продающая церковную утварь, уже не была такой нервной и охотно рассказывала о святых, показывала книги, позволяла подолгу рассматривать изображения на иконках. А потом Вера зажигала свечи, разговаривала с иконами и просила у Бога добра и благоденствия всем, кого знала. Она думала о непредсказуемости судьбы, и постепенно вопросы о смысле её собственной жизни отходили на второй план, и появлялась уверенность в том, что всё будет хорошо. Единственное место, которое молодая женщина обходила стороной, было в левом крыле собора, где молились об упокоении душ умерших. Она не хотела думать о смерти, потому что в глубине души так и не смогла смириться с ранним уходом из жизни горячо любимых бабушки и деда.

И всё-таки Господь Веру не признавал. Да и как он мог её признать? Не было в ней силы соблюдать обряды, поститься, смиренно исповедоваться и причащаться. Она обвиняла себя в слабости и страстно мечтала о духовной стойкости, ибо за всем этим была обещана Божья благодать, которой так не хватало её мятущейся душе. И тогда Вера решила при первой же возможности попасть в монастырь.

... Слева, над осыпающейся дорогой, сжатой с двух сторон густым лесом, навис крутой склон, справа уходила вниз глубокая сырая балка. Несколько крутых поворотов – и выходящая на видовой площадке машина въехала на небольшую асфальтированную площадку, предназначенную для парковки. Вера повела мужа к строениям, стены которых едва были видны за деревьями. Он так и не понял, зачем Вера потащила его в этот затерянный женский монастырь, но жена убедилась в святости и красоте места, и он ей поверил. Высоко над головой смыкались кроны реликтовых сосен, образуя живой купол, в котором без умолку пересвистывались птицы и трещали белки. Солнце с трудом пробивалось сквозь хвойную завесу, и редкие лучи остывали на подстилке дрожащими оранжевыми пятнами. За рощицей чинно расположились два спальных двухэтажных корпуса монастыря и трапезная. А чуть ближе к лесу приветливо распахнулась резная дубовую дверь низенькая белая церквушка.

Казалось, жизнь в монастыре замерла, время остановилось. На всём лежала печать ни с чем не сравнимого покоя. Вера вошла в открытую дверь церкви. У прилавка с иконами, святыми книгами и свечами стояла молоденькая монахиня в чёрном одеянии и увлечённо читала. Казалось, что в её руках не Псалтырь, а детектив Агаты Кристи. Домотканая дорожка вела в центр помещения, которое больше походило на старинный крестьянский дом, чем на храм. Два столба подпирали нависающий потолок. По-домашнему беспорядочно разместились на стенах старинные иконы, алтарь не подавлял обилием золота и серебра, в чистенькие окошки с вышитыми крестиком пёстрыми занавесками лился солнечный свет. Было уютно, тепло. Муж Веры так и не решился войти и топтался у входа, пряча за спину большие руки; лицо его стало серьёзным.

Внутри храма, за широким белёным столбом, Вера увидела батюшку, который самозабвенно молился. Это был худенький старичок с редкой бородой, одетый в скромную рясу, местами аккуратно залатанную. Спросив у монахини, как его зовут, Вера остановилась в стороне. Отец Михаил, закончив молитву, посмотрел на неё ласково, будто на родное дитя. Его глаза улыбались, а руки нежно поглаживали небольшой серебряный крест.

– Я слушаю вас...

– Простите, батюшка, мы с мужем первый раз здесь...

Она вдруг стала произносить совсем не те слова, которые приготовила во время пути: вместо измучивших её душу вопросов спрашивала о жизни в монастыре, о святых, о монастырских трудностях, и отец Михаил охотно отвечал. Вера смущалась, сбивалась, потому что боялась спросить главное – да и не знала она уже, что для неё главное. И не хотелось говорить отцу Михаилу о своих «разногласиях» с Господом: эта скромная церквушка была наполнена великой любовью к жизни, к свету и теплу, и потому главным стало именно это, и ничего более... Даже муж Веры, скептически относившийся к её духовным метаниям, подошёл под благословение и, получив его, неловко боднул носом серебряный крест. Домой ехали умиротворенные, говорить не хотелось, и настроение у Веры было по-настоящему благостным. «Вот оно, – думала она, – нашла, нашла! Теперь я соберусь с духом, всё обдумаю и приеду сюда снова. Отец Михаил обязательно ответит на мои вопросы. И ещё я попрошу его быть моим духовным наставником. Он не откажет мне».

... Солнце клонилось к убегающему горизонту, простирающиеся на многие километры поля пшеницы были полны величия. Впереди ждал дом, хлопоты, двое десятилетних сыновей-близнецов и такая привычная суета. Всё встало на свои места в причудливой мозаике мира, где и Господь, и мирская жизнь с её неистребимой суетой, и церковь, и прихожане оказались единым целым в общей картине Бытия.

... Ко второму приезду в монастырь, спустя два месяца, Вера с мужем подготовились заранее: купили на рынке десять пачек стирального порошка, упаковку мыла, крупу, муку и растительное масло. Хотелось взять с собой всего как можно больше, но не было денег.

Ранний сентябрь одарил воскресный день великолепной погодой, и на душе было празднично. Вера думала об отце Михаиле и представляла себе, как засветятся радостью глаза живущих в стесненных усло-



виях монахинь. И не благодарности жаждала она, не награды, а радовалась тому, что появилась, наконец, и у неё возможность сделать доброе, богоугодное дело, и что встретился ей священнослужитель, не оттолкнувший её. И кто знает: может, именно отец Михаил и станет тем человеком, который поможет ей избавиться от сомнений и проложить собственный Путь к Господу? Служба к тому времени, когда они приехали в монастырь, уже закончилась, и в церкви было безлюдно. Никого так и не дождавшись, Вера вышла из храма и вдруг заметила быстро идущую по боковой дорожке монахиню в чёрном разрезающемся одеянии. Она бросилась за ней:

– Пойдите, сестра, пойдите. Мы с мужем привезли для монастыря продукты, кому их отдать?

Молодая бледная монахиня в очках с неестественно выпуклыми линзами неприязненно взглянула на Веру, так резко вторгшуюся в её мысли, и деловито спросила:

– За спасение души молитесь?

– Какое спасение? – опешила Вера.

Монахиня разяснила:

– Продукты и подарки в монастырь везут за спасение души, грехи замаливать.

Краска бросилась Вере в лицо, она внутренне напряглась. Ещё недавно такое удивительное чувство ожидания чуда, согревавшее её все эти два месяца, вдруг стало смешным. Отрезвление обрушилось, как холодный ливень, и показалось, будто кто-то невидимый издевательски показывает на неё пальцем из-за широкого ствола сосны: «Наивная, наивная!».

Вера спросила ровным голосом:

– Куда отнести продукты?

– В трапезную, – ответила, как отрезала, монахиня и, сославшись на занятость, быстро ушла.

Открыв тяжелую дверь трапезной, Вера с мужем вошли в мрачный вестибюль. Это было старое двухэтажное здание с узкими окнами и широкой деревянной лестницей на второй этаж. Возле боковой двери на низеньких скамеечках сидели две пожилые монахини и просеивали муку, напевая под нос молитвы. Их взгляды были устремлены на собственные руки, пергаментные лица казались отсутствующими, размеренное мелодичное бормотание волнами поднималось под чёрную крышу и, казалось, оседало в стропилах мрачными густыми тенями.

– Простите, пожалуйста, кому мы можем отдать продукты? – звонкий голосок Веры неприлично вторгся в песнопения, вопрос повис в воздухе. Женщины не подняли глаз, молитвы продолжали литься в гулкую тишину, шорох просеиваемой муки дополнял эту монотонную музыку.

Вера повторила чуть громче:

– Простите, пожа...

Одна из женщин, едва кивнув в сторону выхода, раздражённо бросила:

– Направо за углом дверь... – и снова их тягучие голоса заполнили пустое сумрачное пространство.

Вера с мужем выскочили на свет, будто вынырнули из пучины. Как заведённые, повернули за угол: кривая тропинка привела к деревянному крыльечку – чёрному входу в то же здание. Возле ступенек навалом лежали пустые коробки из-под дешёвого турецкого печенья, грязные стеклянные банки, полустигившие доски, ржавеющий столярный инструмент. Вера осторожно поднялась по некрашеным скрипящим ступенькам и увидела обыкновенную кухню – с газовой плитой, баллоном и самодельным деревянным столом, на котором громоздились вымытые кастрюли, миски и тарелки. На табуретке сидела опрятная пожилая женщина в переднике и чистила картошку. Увидев мыло и продукты, она обрадовалась Вере и её мужу, как званым гостям, засуетилась, стала всё раскладывать по полкам. Ловко припрятав в карман фартука кусок мыла, виновато улыбнулась и вдруг спохватилась:

– А вы получили благословение у матушки игуменьи?

– Благословение? На что? – удивление Веры было столь искренним, что женщина сочувствующе покачала головой:

– Ой, деточка, сходи за благословением. У нас все, кто приезжают в монастырь, должны благословение получать. А я пока порядок наведу.

Вера медленно вышла из кухни и, окинув взглядом безлюдный двор, вдохнула полной грудью пахнущий хвоей тёплый воздух.

– Ну что, где твои благодарные монашки? – её муж едва сдерживался, чтобы не взорваться от возмущения. – Порядки здесь у них, как у советских бюрократов...

Вера ласково погладила его по руке:

– Надо сделать, как они говорят. Сам знаешь, в чужой монастырь со своим уставом...

Попросив его подождать у церкви, она пошла искать игуменью. Навалилась усталость, и ощущение бессмысленности происходящего придавило к земле Веру, ссутулило её плечи, сделало тяжёлой походку. Как-то серо, неуютно стало вокруг. Редкие солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь сосны, неприятно слепили глаза. Игуменя – сухонькая женщина лет сорока – во время короткого разговора отрешённо смотрела поверх головы просительницы, как будто перед ней была не молодая испуганная женщина, а прокажённый с изуродованным лицом. Она быстро дала благословение и милостиво разрешила посетить церковь. Вера неловко приложила губами к руке игуменьи, и та, быстро отёрнув руку, заспешила по своим делам. В церкви по-прежнему было пусто, если не считать двух местных женщин в чёрных платочках, ставивших свечи за упокой. Вера остановилась у иконы Христа Спасителя, и снова навалились

на неё давние мысли, и снова она думала о том, что не укладываются в её понимание веры плотские отношения с мужем, желание веселиться, встречаться с друзьями, радоваться жизни и многое-многое другое. Семейная жизнь молодой женщины без этих маленьких мирских радостей становится добровольной тюрьмой, и душа не находит успокоения, считая себя греховной. «Как примирить веру и любовь к мужчине?.. Почему женщина считается греховной от рождения?.. За какие грехи надо отбывать покаяние, если ты любишь жизнь и совесть твоя чиста?.. И за что так не любят церковники молодых женщин, отвергая их желание единения с Богом, как нечто непристойное?..»

«...Где же отец Михаил?»

Вера ждала, пока подойдёт кто-то из послушниц, и вдруг увидела на стене белый лист бумаги, на котором под заголовком «Что не должен делать истинный верующий» были перечислены мирские занятия, считавшиеся церковью бесовскими. И среди них – чтение философских книг, занятие психологией, посещение театра и других зрелищ и прочее, прочее. «За что философию-то? Ведь наука наук...», – грустно подумала Вера, вспомнив про тщательно собранную домашнюю библиотеку, где книги по философии и психологии занимали далеко не последнее место. Появилась послушница – высокая красивая девушка с бледным лицом и потухшими глазами. Вид её был болезненным.

– Скажите, подойдёт ли отец Михаил? – обратилась к ней Вера.

– Не будет отца Михаила, его отослали в дальний приход, он теперь там служит. А у нас батюшка отец Григорий.

Голос послушницы был пустым, бесцветным, не было в нем интонаций, чувств – ничего не было. И оттого казалось, будто говорит не она, а кто-то за её спиной. Вера купила у послушницы иконку и книжечку об истории монастыря, окинула взглядом скромное убранство храма и вышла к мужу. «Пожалуй, никто здесь не ответит на мои вопросы, – решила она. – Вот только зачем отца Михаила из монастыря отослали?»

...По маленькой аллейке, мимо сосен, шли молча – он впереди, Вера за ним. Садясь в машину, ещё раз увидели игуменью. Она стояла возле чёрного блестящего автомобиля, на котором, видимо, только что приехали двое упитанных мужчин среднего возраста. В раскрытом ворота рубашки одного из них сверкала внушительных размеров жёлтый крест. Количество даров, доставаемых из багажника машины, свидетельствовало о большой любви к Богу. И то уважение, с которым игуменья внимала их просьбам, та готовность, с которой она громко обещала помочь их страждущим душам, дали понять Вере, что приехали действительно важные для женского монастыря люди. Увлечённые беседой, они даже не заметили, как исчезли с монастырской территории скромные «Жигули» с незадачливыми дарителями никому не нужного хозяйственного мыла.

Ехали молча. Муж Веры примирительно заговорил первым, и оба стали делать вид, будто ничего не произошло. Вера думала о том, что случившееся на такой святой территории – ещё одно испытание для её неопытной души. Но было ужасно неловко перед мужем, который бросил все свои дела ради её нелепой затеи – увидеть отца Михаила.

Перед въездом в город муж Веры вдруг свернул машину на просёлочную дорогу:

– Давай остановимся в лесочке, поговорим...

Вера, кивнув, молча отвернулась и стала смотреть в открытое окно машины, пока пробирались по бездорожью в глубь леса. Она знала, чего хочет сидящий рядом с ней мужчина и, вопреки своему состоянию, не стала ему отказывать. Он не был верующим, к Богу не стремился, церковников называл «попам» и посещение монастыря считал блажью – лишней тратой бензина и денег, которых вечно не хватало. И только отец Михаил своим добрым отношением немного смягчил его сердце в прошлый приезд... Близость вышла сумбурной, удовольствия не доставила, и настроение, в конце концов, стало просто гадким. Пытаясь выехать, надолго застряли в глубокой колее. Подталкивая машину, Вера разорвала узкий подол юбки и подвернула ногу. От отчаяния хотелось разрыдаться, но она изо всех сил сдерживалась, чувствуя свою вину...

Вечером, собирая нехитрый ужин, в десятый раз ругая себя за злополучную поездку в монастырь, Вера машинально выбросила в бумажный мусор, предназначенный для сжигания, использованный баллончик из-под дезодоранта. Её сын потащил мешок на улицу, во двор, чтобы сжечь. Боковым зрением она видела в окно кухни, как красное пламя осветило двор, а потом раздался хлопок. Замерев от ужаса, Вера выскочила на крыльцо и застыла, глядя на маленького сына, который бежал к ней, оттопыривая торчащий из-под рубашечки локоток. И Вера уже мысленно видела, как через несколько секунд вздуется багровыми пузырями нежная кожа на теле её ребенка, как не будет она знать, чем облегчить его страдания. Эти несколько секунд бесконечно растянулись в пространстве. Ей хотелось завывать, и было страшно это сделать, потому что мальчик испуганно молчал, и только его неестественно распахнутые глаза кричали от боли и недоумения.

К счастью, все обошлось: в момент взрыва сын присел за упавшей палкой, и пламя только слегка лизнуло локоть. Кожа запеклась, быстро приобрела коричневый оттенок. Найденная в аптечке мазь успокоила боль, а материнская любовь изгнала из детского сердца страх. Под колыбельную мальчик уснул у Веры на руках, но лицо его и во сне оставалось напряженным.

Всю ночь Вера нервно перекидывалась с боку на бок и думала, думала...

«...Что это, жестокость Господа? Предупреждение? Или совпадение? Нет, это я сама виновата, нель-



зя было заезжать в лес. Как бы там ни сложилось в монастыре, а всё же святое место, намоленное... Значит, Господь отомстил? Нет, скорее – предупредил. ... Но за что он наказал ребенка? Где же твоё милосердие, Господи?».

Прошло три месяца. Вера изменилась.

Всё, что случилось в тот вечер после посещения монастыря, напугало её до такой степени, что она признала себя перед Богом греховной и недостойной и, наконец, смирилась и со строгостью религиозных обрядов, и с недоступностью священников, и с вредностью церковных старух. Она всеми способами стала избегать мужа и находила любые предлоги, чтобы отвергнуть его ласки, которые делали её нечистой в собственных глазах. Близкие отношения с законным супругом потеряли для неё смысл, физиология любви стала камнем преткновения, чувство к мужу оказалось равнозначно похоти, и только духовная любовь к Богу имела право на существование в этом мире. Отношения с мужем становились всё напряженнее, и он однажды в сердцах высказал ей, что монастыри заманивают людей, чтобы сделать их своими духовными рабами.

– Опомнись, – грустно сказала Вера, – у нас ребёнок чуть не стал инвалидом, а ты такое говоришь. При чём тут монастырь?

– Лучше бы я тебя не возил туда! – зло ответил он и ушёл в другую комнату. Он совершенно не понимал, что творится с его любимой и такой желанной подругой, куда исчезла её веселость, почему потухли глаза и откуда в них такой страх перед ним. Страх и отвращение.

Все в её жизни вдруг пошло как-то не так, словно выбита была из-под ног опора. Та же привычная суета, те же заботы, но не было в них радости, только вопросы, вопросы, вопросы... Вера отставала церковные службы, еженедельно ходила на исповедь и каялась во всех грехах – существующих и надуманных – и всё время говорила и говорила с Господом: «Вразуми, Боже, где же Твоя справедливость? Почему так тяжёлый крест истинно верующего? Как жить в миру и что делать с мужем, который тебя, Господи, не признаёт? Дай силы стать мне преданной рабой Твоей и отторгнуть соблазны...». Вера читала церковные книги, и видела в них столько противоречий, что отыскать какую-либо истину становилось уже невозможно. Разрешалось только одно: любить Бога, бесконечно смиряться и каяться. Но где был предел этого смирения, и что, на самом деле, считалось грехом? Вся окружающая жизнь предстала перед Верой скопищем пороков, которые засасывали её, словно тряпина, и не было уже сил выбраться на твёрдую почву. Выполнила супружеский долг – греховна, осудила соседку – греховна, рассердилась на ребёнка – греховна...

Конечно, покаяние на какое-то время успокаивало, но мирская жизнь вовлекала в новый водоворот, и всё повторялось сначала. И так до бесконечности. Зачем тогда было жить, если человеческое существование становилось одной большой жертвой Господу — такому равнодушному, холодному, ненавидящему человека? Всё теряло смысл, и только строгие постулаты церкви поддерживали иллюзию хоть какого-то направления. Вера держалась за веру, как тонущий за корягу, и, окончательно потеряв всякую надежду обрести душевное равновесие, плыла и плыла по течению.

Иногда она пыталась поговорить со священниками, но они туманно отвечали на её вопросы и отсылали к молитвам и все тем же церковным книгам:

– Как отцы церкви говорят, так и поступай. А своего мнения не имей. Греховна.

И это постоянное «греховна» всё больше и больше придавливало её к земле, старило плоть, умерщвляло душу. Вера попала в ловушку. Священники, видя предельное отчаяние в её глазах, даже усомниться не могли в том, что эта молодая женщина совершила нечто преступное и теперь искренне кается в содеянном.

... Наступил декабрь, холодные предзимние туманы окутали землю. И Вера, окончательно измаявшись, решила во что бы то ни стало снова попасть в монастырь, чтобы замолить вину за всю греховность в мыслях и делах, что совершила она в тот памятный сентябрьский день. «Как будет, так и будет. Если примут на послушание, останусь совсем, – думала она. – Лучше жить в монастыре, чем в миру и с мучениями... Может, мой муж другую себе найдёт и будет счастлив... А так страдаем оба. Сыновьям Господь поможет, я за них молиться буду, авось, не пропадут». Уверенная, что ей не откажут в послушании, молодая женщина солгала мужу, что едет в монастырь всего на два дня, и рано утром села в автобус.

От трассы до монастыря шла пешком. Моросил мелкий дождь, лес терялся в промозглом тумане. Сразу у входа в монастырь Вера встретила игуменью и, приложившись к её холодной руке, получила благословение на послушание и вечернюю исповедь. Всё шло хорошо, если не считать сильного холода, который в горах стал просто нестерпимым. Он пронизывал тело до костей, но Вера мужественно терпела, надеясь отогреться в помещении. Матушка игуменьи в этот раз была спокойной и мягким голосом направила гостью в трапезную, а потом в зимнюю церковь, где служба начиналась в четыре часа дня и шла до девяти вечера.

Пустая и холодная трапезная была мрачной комнатой с грубо сколоченными деревянными столами и такими же скамьями. Сумеречный свет из окон едва рассеивал темноту. Неразговорчивая хозяйка налила Вере жиденьких шей. Предстояла исповедь, надо было поститься. «Наконец-то, – думала Вера, хлебная алюминиевой ложкой подкрашенную теплую водичку с лопухами почерневшей капусты, – наконец-то никто не помешает мне остаться с Богом наедине. Наконец-то я смогу быть сама собой и молиться, не

отвлекаясь на глупую суету». А где-то в глубине души вдруг зашевелилось беспокойство, будто навсегда отрезала себе дорогу домой, предала семью, маленьких детей, доверившегося ей мужчину и собственную жизнь, и впереди – полный лишения и холода путь, ведущий в небытие. Но Вера постаралась отогнать тревожные мысли: «Бес пугает...».

Зимняя церковь находилась в спальном корпусе, с кельями и комнатами для послушниц; здесь оказалось почти так же холодно, как и на улице. Чуть согривали свечи и белёная известью печь, в которую послушница время от времени подбрасывала труху и угольную пыль из разбитого ведра. Было темно и тесно, лики икон терялись во мраке, и только матово отсвечивали тяжёлые старинные оклады. Беспумно собрались и расселись по лавкам немногочисленные послушницы, степенно вплыли две древние монахини, похожие на чёрных нахохлившихся птиц, и устроились у печи. Отец Григорий вошёл стремительно, рассекая дородным телом вязкое холодное пространство, и, ни на кого не глядя, засуетился у алтаря. Был он широк в поясе, темноволос, на выступающем животе висел мощный серебряный крест. На вид ему было лет сорок.

Началась служба. Первые два часа Вера с наслаждением вслушивалась в язык молитв, крестилась, кланялась, вместе со всеми, опускалась на колени и смиренно прижималась лбом к грубой ковровой дорожке. Всю себя она вверила воле Бога, и не было уже стыда, внутреннего сопротивления и смущения. И собственной воли тоже не было. Постепенно сходила с неё вся мирская шелуха, обнажая незащищённую душу, свободную от забот о сущем. Нехитрые песнопения, которые Вера повторяла за сёстрами, завораживали, вводили от реальности, и казалось, что плывёт её успокоенная душа по широкой древней реке, уносимая звуками молитв. ...А где-то в ночном туманном мареве, которое прячет берега этой реки, едва мерцающие огоньки свечей превращаются в горящие злобой глаза диких зверей, готовых растерзать потерпевшую направление и нечаянно прибывшую к берегу заблудшую душу. Ещё бы чуть-чуть проплыть, продержаться, не утонуть – и разверзнутся врата Рая, хлынет оттуда ослепительное сияние встречающих Архангелов, исчезнут страдания. ...И вот уже видится ей, как в нетопленной тесной церквушке стоит на её месте седая сгорбившаяся старушонка в монашеской хламиде, ослепшая от ночных бдений над церковными книгами, и молится, молится, заученно выдыхая из впалого сморщенного рта: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матере и всех святых помилуй грешную душу рабы твоей неразумной Веры. Аминь...».

...От усталости тёмное, едва освещаемое немногочисленными свечами пространство стало расплываться в её глазах, закружилась голова, захотелось есть. Слова псалмов слились в один непрекращающийся поток, изредка прерываемый громкими восхвалениями Господу. В голосе священника почему-то появились угрожающие, давящие интонации, и Вера стала сопротивляться этому голосу, пытаясь вернуть благостное состояние, испытанное вначале, но тщетно. Внезапно к её сердцу подкрался страх, Вере стало плохо, она присела на скамью. Появилось ощущение, что всё это происходит во сне, и достаточно встряхнуться, сбросить с себя оцепенение, закричать, в конце концов, – и исчезнет монотонный голос священника, зауспокойное пение послушниц, одуряющий запах ладана и нестерпимый холод.

Вдруг одна из старых монахинь тяжело поднялась, захолопотала возле подноса, стоящего на боковом столике, и стала разносить по церкви хлеб, смоченный вином. Вера встала в ожидании: очень хотелось есть. Старуха поднесла хлеб всем, даже местным жителям – мужчине и женщине в теплых фуфайках – всем, кроме Веры, которую не заметила или не захотела заметить. А может, слишком вызывающе белел в сумраке церкви, среди серых одежд и серых лиц послушниц, её куцый беретик? Сжавшись в комок, чтобы было теплее, Вера с трудом подавила готовые выплеснуться слёзы и, прижав руки к солнечному сплетению, попыталась унять бьющую изнутри дрожь. Она старалась вслушиваться в слова священника, чтобы вовремя креститься, но ощущение нереальности происходящего усиливалось. Опять закружилась голова. «Я должна выдержать все испытания, которые посылает мне Бог, – думала Вера, – ибо на всё Его воля. Он не оставит меня».

Неожиданно к ней подошёл мужчина в фуфайке. Наклонившись к её лицу, тихо спросил:

– Вам хлеба не дали? Возьмите мой, – и осторожно вложил в ледяную ладонь суховатый белый кусок.

Она очнулась:

– Спаси вас Господи...

После съеденного хлеба, слегка смоченного вином, головокружение прошло, стало легче, но холод давил сильнее. Казалось, что наступила беспросветная ночь, завывания ветра за окном, гул сосновых крон стали единственными звуками извне, время остановилось, и круговорот пространства застыл в центре широкой вздрагивающей спины читающего псалтырь батюшки. Его фигура потеряла свои очертания, расплылась, и слова, словно ледяные иглы, кололи сердце Веры холодом. Уже не верилось, что их произносит живой человек. И вдруг откуда-то из глубин её души, где память хранила самое сокровенное, всплыл жаркий месяц май. Как живой, встал перед глазами тот, за кого она тайно готова была молиться и просить милости Божьей. Но был он иноверцем – далекий потомок монгольских князей, наделённый их восточной красотой, силой и отвагой. Он читал ей стихи Блока. Из каких-то тайных карманов своей необъятной сумки доставал припасённые для неё сладости и угощал, словно ребёнка. А вечером они гуляли по городу вдвоём, и майский вечер дарил счастье, почти невозможное в человеческой жизни. Они были влюблены друг в друга, и эта любовь, светлая, не тронутая плотскими отношениями, опьяняла. Вера вспомнила, как проходили они мимо играющих детей, и маленькая девочка, убегая



от подружки, нечаянно прижалась к её коленям тёплым тельцем. Потом, подняв замурзанное личико, вдруг рассмеялась и, разжав грязные ручонки, убежала прочь. Смех её был похож на звенящие колокольчики. А недалеко, на площади, в лучах заходящего солнца пылал золотыми куполами собор, и весёлый гул большого колокола созывал прихожан на вечерню.

Но был муж, которого Вера тоже любила, и была жена её избранника, которую она хорошо знала. И двое маленьких детей. Ничего нельзя было изменить, и оба, понимая это, приняли решение расстаться. Вера страдала и металась, пытаясь его забыть, каялась на исповеди, но ничто не приносило облегчения. В один из воскресных дней, когда Вера горько расплакалась, сидя на церковной скамье у стен собора, пожилая женщина молча отвела её к старенькому батюшке лет восьмидесяти, который молился возле святынь. И Вера, увидев его добрые глаза, вдруг осознала, что ничего страшного в её чувствах нет и не было. И мысль о том, что тайное желание соединиться с возлюбленным уже есть смертный грех прелюбодеяния, вдруг отпустила её уставшее сердце. Всклипывая, она смогла задать только один вопрос, на разговор сил уже не было:

– Батюшка, могу ли я молиться за иноверца?

Тот улыбнулся, глядя на её опухшее от слез лицо, и проговорил:

– Девочка, молитва женщины любого мужчину в рай приведёт.

Ушла она тогда успокоенная. И странно: отпустили её греховные мысли, и думалось только о том, что всё пережитое было даровано Богом не как испытание, а как награда.

... Служба закончилась неожиданно.

Послушницы и монахини, словно бестелесные создания, беспшумно выплыли за двери. Отец Григорий сложил церковные книги и собрался уже было покинуть холодное, пропахшее ладаном помещение, но подошла к нему старушка-распорядительница и, указав на застывшую Веру, что-то стала ему говорить. Некоторое время они тихо спорили, и Вера поняла, что священнику тоже хочется поскорее уйти в тепло. Но, видно, чувство долга у батюшки возымело верх, и он кивком головы подозвал её к себе.

– Говорите, – напористо произнес он, но все совершённые грехи, как назло, вылетели из головы, и уставшая от службы и холода молодая женщина растерялась.

– Ну, что вы молчите? Почему я должен вытягивать покаяние из вас клещами? Говорите же! – желая быстрее закончить обряд, стал напирать священник.

– Батюшка, у нас в городе, в соборе, священники ни о чём не спрашивают, мы подаём записки... – пролепетала Вера, низко кланяясь.

– Давайте записку, – отрывисто проговорил батюшка.

– У меня нет записки...

Отец Григорий раздражённо хмыкнул, некоторое время помолчал, обдумывая, что делать с нерадивой прихожанкой, потом стал задавать положенные вопросы. Обряд исповеди как-то сдвинулся с места, кое-как подошел к своему завершению, и отец Григорий непререкаемым тоном произнёс:

– Тебе тридцать? До сорока лет будешь жить с мужем как жена, а после сорока – как сестра. В день по десять поклонов утром и вечером, молиться по молитвеннику, к покаянию готовиться по всем правилам, и чтобы такого больше не было. Светских книг не читать, в бесовских собраниях не участвовать...

Он жестко вбивал в её отупевший мозг наставления, и каждое слово обжигало категоричностью и непримиримостью с жизнью. Что-то глубоко внутри неё начало отчаянно сопротивляться, захотелось зажать уши руками, рассмеяться священнослужителю в лицо и бежать отсюда как можно дальше. Но ослабевшему от голода и холода телу было уже всё безразлично, и она, согнувшись в поклоне, смиренно молчала: рядом с батюшкой было тепло. Хотя и с трудом, но грехи ей отец Григорий отпустил и на дальнейшую жизнь в миру благословил. И значит, можно было идти спать.

Длинный тёмный коридор, одинаковые двери, дождь, упрямо бьющийся в окна... Холодная унылая комната с большими арочными окнами освещалась одной лампочкой, свешивающейся с потолка на длинном перекрученном проводе. На нескольких железных койках спали одетые женщины, столько же кроватей были пусты. Одна из молодых послушниц испуганно встрепенулась во сне и отчетливо проговорила: «Спаси и помилуй, Господи!»... Приветливая пожилая распорядительница, сопровождавшая Веру после службы, постаралась устроить её поудобнее и принесла два одеяла. На белье, постеленном на кровати, уже, видимо, кто-то спал, но Вера это не беспокоило. Впереди послушание: чтение псалтыря с четырёх до шести утра, и она мечтала только о том, чтобы перед этим хоть несколько часов поспать. Спросив, где находится туалетная комната, Вера, задвинув под кровать тощую спортивную сумку, пошла в конец безлюдного коридора. Вода была ледяной и обжигала окоченевшие руки. Возвращаясь назад, к теплу постели, уверенно толкнула дверь. «Странно, почему свет выключили? Обещали подождать...», – и, закрыв за собой дверь, дотронулась до кровати, ожидая нащупать мягкую поверхность матраца. Вместо этого её пальцы больно ударились о железную сетку. В углу комнаты что-то происходило: слышалась возня, похожая на борьбу, тяжёлое дыхание. Вера испуганно замерла. И тут же резанул слух злой мужской шепот:

– Не противься, Мария, не перечь мне... Всё здесь – по воле Господа, и мои милости тоже, не будь душой...

Что-то взвизгнуло, будто высвободилось, и в ответ – сдавленный женский голос:

– Да будь ты проклят вместе со своим Господом! Пусти!

Вера выскочила в коридор и некоторое время стояла, пытаясь унять заколотившееся сердце. Невозможно было осмыслить услышанное, но благостный покой монастыря казался настолько умиротворяющим, что она тряхнула головой, как бы сбрасывая наваждение, и подумала: «Померещилось... Это от усталости». Потыкавшись, словно слепой котёнок, ещё в несколько закрытых дверей, она, наконец, вошла в освещённую комнату и, скинув куртку, быстро забралась под одеяло. Свет погас.

Вера в который раз пожалела о том, что не набрала побольше тёплых вещей. Холодный воздух морозил лёгкие, начало болеть горло. Она закрывала нос то рукой, то одеялом, но становилось нечем дышать. Мысли приходили самые несурзные. Она думала о монастыре и его порядках... об отце Григории... о том, что никогда не вырваться отсюда, что жить ей только до сорока лет. За тёмными окнами порывами завывал ветер, глухо шумели сосны, и липкая тьма казалась уже единственным состоянием мира, никогда не знавшего солнца... Незаметно навалилось забытие. И в этот же миг пронзительно вспыхнул свет, отозвавшись болью в уставших глазах. «За мной», – поняла Вера и механически поднялась навстречу распорядительнице.

Они вошли в церковь. В ней было чуть-чуть теплее, возле подставки с книгой горела свеча, по углам плясали тени. Вера осталась одна. Уже после первых абзацев она поняла, что напрасно понадеялась на знание старославянского языка – непонятные сочетания букв и знаков сбивали с толку. Она пыталась вдаваться в текст старинного псалтыря, старательно бормотала древние слова, но выходило плохо. Ею овладело отчаяние, захотелось позвать на помощь, но жаль было будить заснувших тяжёлым сном сестер-послушниц, жаль было тревожить добрую старушку-распорядительницу: у неё, истинно верующей, для всех хватало и любви, и всепрощения, но силы тоже были невелики. И потому Вера собралась с духом и, словно первоклассница, начала читать с самого начала, по слогам, вникая в каждое слово.

Текст тяжело доходил до сознания, и только отблески знакомых смыслов напоминали о том, что это – язык её предков. И вдруг она ощутила живые, простые слова о красоте звёзд на чёрной бесконечности ночного неба – звёзд, дарующих по милости Божьей свет каждой заблудшей душе, – и повеяло на неё от старославянских слов светлой поэзией, которой, оказывается, так много в любви Господа к человеку. И всё встало на свои места, и согрело замерзшую душу восхищение: «Значит, никогда не было в Господе зла? Значит, Его присутствие во всём – это любовь, а не “длань карающая”? И нет на самом деле никакого первородного греха, если Бог так любит каждое живое существо?». Зарождающийся ответ – настолько он был простым, неожиданным и радостным – уже пульсировал в её ослабевшем теле горящей точкой, чтобы разгореться потом пламенем истинной веры, свободной от сомнений и условностей. Но таким слабым было осознание, таким осторожным, так мало было сил для концентрации на одной-единственной мысли, что не сумела Вера удержать эту мысль в своей памяти. И растаяло светлое озарение, так и не пробившись сквозь барьеры вопросов и сомнений...

Шло время. Внезапный катарсис не оставил в сознании Веры следов, и только слова о красоте звёздного неба зацепились за её память как некий знак, дарующий потерявшему надежду путнику обещание спасения. Неожиданно в церковь вошла молодая послушница и, по-хозяйски отодвинув смертельно уставшую женщину, заняла её место. Вера тяжело опустила на скамейку. «Идти спать? Но через час служба. Посижу здесь». Неслышно вошла распорядительница и позвала её с собой на крестный ход.

...Небо едва серело, и огромные сосны угрожающе шумели спрятавшимися во мгле вершинами. Небольшое население монастыря, монахини и послушницы – всего человек пятнадцать – собрались у летней церкви, где Вера единственный раз в своей жизни видела отца Михаила. Батюшка открыл тяжёлый висячий замок и вошёл внутрь за святыней – крестом с мощами. Было очень сыро. Низко, почти над землей, клубился туман. Появился священник с огромным крестом, его помощники с хоругвями, и крестный ход начался. Отец Григорий, словно солдат Господа, воинственно нёс святыню. Его праздничные голубые одежды развевались, и казалось, что он в тумане плывёт с крестом в руках над землёй, увлекая за собой всю процессию. Шагающий рядом служка размахивал кадилом, и, мешаясь с туманом, расплывался вокруг терпкий аромат ладана. Трубный голос батюшки бросал в предутренние сумерки слова церковных песнопений. Монахини и послушницы уныло подпевали, их голоса были нестройными. Местные жители зевали и крестили открытые рты. Вера пристроилась в хвосте процессии и тоже, крестясь, подтягивала, как могла: «Г-о-о-споди, помилуй!...». Монастырь был небольшим, и крестный ход с песнопениями и молитвами за час обошёл его три раза. Рассвело, и моросящая влага, разогнав туман, заполонила пространство лёгким шуршанием капель. Одежда Веры отсырела, руки стали бесчувственными, и всё же крестный ход поднял её настроение, прибавил духу, утренний воздух взбодрил.

Вернулись в зимнюю церковь. Отец Григорий, словно герой-победитель, с воодушевлением приступил к службе. Был церковный праздник, и в маленькую церквушку набилось столько народа, что скоро от человеческого дыхания и запаха пота стало душно. Службу надо было выстоять до конца, чтобы причаститься после исповеди, и Вера ждала тупо, бездумно, крестилась невпопад. На душе снова стало тоскливо. Происходящее богослужение вдруг потеряло для Веры значимость, и заученные действия участников службы показались ей такими же обыденными, как и всё, что делает земной человек: спит, ест, ходит на работу... Через полтора часа она не выдержала и присела на скамеечку. Запах ладана стал нестерпимым, подступила тошнота. «Что же мне теперь можно? – подумала Вера, – Как дальше жить?».



Откуда-то из толпы возникли и втиснулись в узкое пространство за её спиной две местные жительницы. От них исходил резкий запах коровьего навоза. Они начали старательно креститься, кланяться и одновременно негромко продолжали им одним известный разговор:

– ...Вдруг матушки: сестра Мария не заболела, а сбежала ночью из монастыря. Босиком и без пальто сбежала, – говорила одна.

– Не бреши, – отвечала другая.

– Да мне сестра Ксения по секрету пошептала. Говорит, она батюшку нашего соблазнить пыталась... – наставляла первая.

– Ну, тогда туда ей и дорога. Как была до монастыря шлюхой, так и осталась...

Женщины продолжали страстно перешёптываться, а в уставшем мозгу Веры всё увиденное и услышанное мгновенно сложилось в законченную картину и ослепило невероятной догадкой. Она, словно не веря своим глазам, посмотрела на округлую спину отца Григория, продолжавшего службу, потом рывком поднялась со скамейки и, расталкивая сонных прихожан, стала пробираться к выходу. Вдруг, откуда ни возьмись, появилась старушка-распорядительница и вопрошающе взглянула в сведённое судорогой лицо Веры. Та умоляюще произнесла:

– Я пойду, плохо мне...

Распорядительница не стала уговаривать остаться, будто всё знала про Веру, а вложила в озябшую ладонь маленькую иконку со святым Николаем и тихо сказала:

– На счастье. Благослови тебя Господь, детка... Всеми своё время...

По дороге вниз, туда, где ходили рейсовые автобусы, Вера бежала, пытаясь согреться. Моросил холодный дождь. Мокрые скелеты корявых тополей вдоль трассы показались похожими на изувеченных болезнью великанов, чьи запрокинутые в беззвучном крике головы терялись в тумане. Редкие машины, не снижая скорости, проезжали мимо, автобусов не было совсем. Вера мечтала только о том, чтобы хоть кто-нибудь ждался и довёз её до города. К счастью, подошли ещё двое – женщина средних лет и молодой парень. Стали голосовать вместе, остановили машину, быстро стоговались в цене и поехали.

Водитель, соскучившийся по обществу, по-деревенски откровенно начал флиртовать с разговорчивой женщиной, косясь краем глаза на Веру, которая скукожилась на переднем сиденье: её всё ещё била дрожь. Но уже отступало головокружение, стали проясняться мысли, затихли голодные боли в желудке. Ноги и руки обрели чувствительность, блаженное тепло разлилось по телу. Звучала лёгкая ритмичная музыка, за окнами тонули в туманах чёрные пашни, выделялась только дорога, обозначенная ярко-белыми полосами разметки. И маленькая зелёная машина, мчавшая Веру к родному дому, – уютный, защищённый от холода мирок – оказалась последним звеном в сложной мозаике событий последних месяцев. Вера совершила серьёзный грех, не дождавшись причастия в монастыре, – после изнурительной службы и ночного послушания, – к которому так страстно стремилась. Но не сдавливало железными лапами раскаяние, наоборот: она с облегчением думала о том, что её сложные отношения с Господом наконец-то прояснились. Пришло время понять и признать, что надо искать истину в собственной душе, а не в церковных пределах. Каждый человек с Божьей помощью идёт к вере сам, и если он не готов, никто не имеет права его судить, никто.

Ещё сутки назад она готова была бросить собственных детей ради служения Богу, и что, как не Божий промысел, помогло ей избежать непоправимой ошибки? И нет теперь у неё морального права отказывать себе, а значит, и своим мальчикам, в радостях, дарованных жизнью. Нет никакого права отторгать себя от мира, пока рядом те, кому она нужна. Поэтому пусть будет так, как уже сложилось. Пусть будет любовь и влечение к мужу, пусть будет всё, что дарит жизнь. И пусть упрекают её строгие церковные служители в нарушении правил, она не будет больше оправдываться. Главное – не предавать себя и не позволять своей совести страдать от надуманных грехов. Лучше честно признать себя грешницей, чем терзаться неразрешимыми вопросами. Кто сможет её за это осудить? Только люди. Но не любимый ею, всепонимающий и всепрощающий Господь.

«Да, я греховна, как любой человек. Но Господь отвёл от меня беду, и теперь я обещаю, что не будет во мне больше раскаяния за то, что я женщина. А Царство Божие, как сказал Христос, – в душе. И я благодарю Господа за то, что он создал меня такой, какая есть, ибо самоуничужение и есть гордыня», – так подумала Вера, и эти мысли накрыли её теплой волной счастья, к которому она так стремилась, увязнув в своих неразрешимых противоречиях. Мучительных вопросов, разрывающих разум и душу на части, не стало. Господь, наконец, повернул к Вере свой строгий лик, и этот лик оказался сияющим. Отныне он будет смотреть на неё не равнодушными глазами священников, которые ведут свою, обособленную, жизнь, полную таких же несуразностей, как и мирская, а глазами звёзд. Вера будет ощущать его дыхание в порывах тёплого ветра, слышать его голос в предрассветном пении птиц. Она увидит Господа в закате осеннего дня, в красоте тонущего в сумерках города, в лицах влюблённых, в гордых взглядах беременных женщин. И не будет Вера бояться смерти, и бессмертие покажется ей самой большой бесмыслицей на свете: нужно уметь уходить, как уходит колос, цветок или дерево, чтобы смогло прийти новое, молодое. Но перед уходом, когда бы ни наступил его час, радоваться каждому мгновению, и плакать, когда плачется, и любить, когда любит. Отныне Вера знала, что Господь никогда не осудит и не оставит её, потому что Он – везде и во всём. И эта уверенность наполнила её сердце, как наполняет жизнь едва родившееся на свет новое существо...

ВАЛЕРИЙ ЗЕМСКИХ

ХОЛОДНАЯ ДЕСНИЦА КОМАНДОРА

не вороньё
 так чайки с голубями
гвалт на помойках
снег выпал
 всё пристойно
фонарики
 серебряные ветки
сугроб темнеет
 проступают
 сквозь белый бархат
 пузыри земли
надкушен год

Включаешь свет
 среди ночи
Ищешь
 глазами циферблат
Нет времени
 своровано
Машина
 споткнулась
Слепые пятна фар
У снега
 нет выбора
Висит
 не долетев

Там
 завтра
 всё иное
А пока
Катальной горки
 скользящая дуга
Несёт не вниз
 не вверх
 а по земле
 по площади пустой
Фонарный столб
 и круглый диск на нём
И уши заячьи торчат



как стрелки ходиков
 друг друга обгоняют
 Всё ниже гиря
 Вот коснётся пола
 И мир замрёт

Одна игрушка
 сменяется другой
 Серьёзней этой игры
 Лишь та
 что на подходе
 Мы ставим крестик
 победили
 Пепел
 стучится в сердце

Кто-нибудь
 скажите мне что-нибудь
 Нет
 так я и знал
 Перекати-поле уносит ветром
 Себя не слышу
 Песок в лицо
 и оно немет
 Только губы дрожат
 пытаюсь напомнить
 Надо ли
 Кто-нибудь
 не молчите
 Холодное солнце
 Выскальзывает из ладони

Завыть
 Согнуться в три погибели
 Измазать кровью полотенце
 На солнце пятна
 Шарик выскользнет
 из рук
 И камешком с орбиты
 Упасть ему судьба
 но некуда
 Нет дна в дырявом небе
 Светится
 звезды осколок
 Мир отметиной
 что выплывает возле зеркала
 Теснее стены
 Воздух тяжестью
 невыносимой
 Недописанной
 историей
 Пора бы выдохнуть

КАТЯ ЧЕ

БЕТОНОМЕШАЛКА РАЗРИСОВАННАЯ РОМАШКАМИ

СЛЕПЫЕ САМУРАИ

наступает на город
идёт и идёт
неделя не прекращающейся воды
день и ночь
переговариваются
азбукой морзе
– ну как ты? – дождь
– а ты как? – дождь
стучат по крышам и в окна, словно крестьяне мотыжат поле
ещё одна
такая неделя
и вместо города
заколосится рис

О ЭТА НЕЛЕПАЯ ТИШИНА

влетевшая в зеркало птица оставила
карту автомобильных дорог города над которым
она пролетала
стремясь поскорее
вернуться в тепло красных ладоней
моего сердца

меня не оставляет в покое
эта паучья сеть

куда же она летала глухая

как совместить теперь преломление тёмных зрачков
в чешуе амальгамы
и неизведанный прежде маршрут

царапаю пальцы
вдоль трещин стараясь не думать

не думать

не думать

чёртова птица

...

ТВОЁ МОРЕ

если твой сон –
 беспокойное море
 а ты в нём –
 корабль сбившийся с курса
 случается
 руки какой-нибудь сладкой N
 становятся маяком
 и ты
 просоленный
 морской волк
 словно неопытный юнга
 смеясь
 малодушно сходишь на берег

ОСЬ ЗЕМЛИ

бетономешалка разрисованная ромашками

я считаю тебя самой
 прекрасной
 машиной

в тебе несомненная истина
 нашей цивилизации

танцы бетона
 в чреве твоём
 вращающемся подобно планетам
 атмосферой не обделённым
 ромашкам дающим
 жизнь

о бетономешалка
 размешай
 мой будущий дом
 своими ромашками

ДРОЛМА

правда ли вымысел а ты попробуй спроси
 вот она сидит
 тончайшая статья подобна языку пламени
 норомом – меридиану такая же выгнутая от давления полюсов внимания
 линия прорисована от переносицы к раковине пупка
 там солнце и море
 солью сверкают её бока
 ноги – чулками радужными в полулотосе нежными пятками утопают
 золото на запястьях
 срывает с улыбающегося рта
 бесконечное да

ОДНАЖДЫ

(импровизации на тему)

однажды олени услышали ненароком
 как гаутама репетировал перед платаном
 тезисы для отчёта о достижениях
 на ниве духовной практики



олени подумали во дела
и умерли под колёсами любви к жизни
переродившись на долгое время
в людей-буддистов

*

однажды перечитав своё сочинение
о тонких пальцах а потом
другие тоже о пальцах
только собралась вновь написать о пальцах
но спохватилась не много ли
и стала просто спищать пальцами звёзды с клавиш
гасить окна двигать машины
пальцевый нарциссизм какой-то ей-богу
ласкающий избранные слова

*

однажды я превратилась в страшную бабу
все говорили да нет это не ты
я уверяла вы ошибаетесь вот мои рыжие волосы
вот тонкая шейка чувственный рот
вот все остальные прелести
и крыла их матом для убедительности
но аргументы сильны лишь для нестойких в вере
нет сказали они
это не ты проваливай сука

НАЧАЛО ЗВУКА

в темноте на жёстком диване немея лежать
стены в диван превратив руки к губам в темноте
лежать стихнув звуками в темноте на диване
на стенах рисуя цветы своим телом немым
в темноте словно на полустанках стоять ожидая
возобновления ритма на жёстком диване
раскрывая глаза-семафоры лежать в темноте
жёлтый свет лепестков на руках отражая
телом немея рождаться на стенах и вновь умирать
в темноте до начала *pezzo elegiaco* на жёлтом диване
онемев от немислимого молчания обездвиженных стен
без надежды понять в темноте сколько кануло лет
но сейчас твои губы подобны цветам невесомого тела
зелёные звуки сквозь веки растут в темноте немоты
тело на жёстком диване лежит подчиняясь пространству
лепестков нарисованных звуками стен
и начала
движения

как всякий городской червяк
возвращаясь домой
я вижу свой исчезающий хвост
тогда как солнце на западе
видит только луну
как всякий городской вирус
уважающий себя штамм
я резистентна ко всему
неупакованному

забыла как выглядит морковка
торчащая из земли
и овёс в колосьях
тогда как солнце на западе
целует землю
оставляя следы длинных теней
как всякая городская шляхоха
я продаюсь
за рекламу комфорта
и условный эстетизм декораций
в то время как солнце
делает это даром

ЯКОВ ШУЛЬЦ

ОПЫЛЯЯ НЕМЫХ

КОНЕЦ ОЧЕНЬ ДЛИННОГО СНА

передо мной простиралось
серое
в разноцветную крапинку
бутылочного стекла
прошлое

я медленно его разглядывал
не рая глаз

ПАМЯТИ ЙОНЫ ВОЛАХ

брось слово в глубокий колодец
и прислушайся к звуку паденья... –
это тело твоё
незавершённое
совершает полёт
головой
к очагу всех стихий

* Йона Волах (1944-1985) – израильский поэт.

ПЛАНЕТА ЛИМОН

опять лимоны не востребованные
укором солнца зимнего в окошко
и каждый – целый мир
с ядром и оболочкой
и с дольками материков
и с черенками странных звуков

Европа
Азия
Африка
Австралия
Америка
Арктика
Антарктида

Гондвана
Тетис

не знаю как там вы
а я решительно не понимаю
строения лимона



ВЕТЕР БЕСКОРЫСТНЫЙ ЛЮБОВНИК

А. Р.

ветер – бескорыстный любовник
ни цвета ни запаха
ни возраста ни пола
ни рук ни губ
ему не нужно

касается всех
одинаково справедливо
тонкими пальцами
деепричастий
опыляя немых

по сырой штукатурке
пищу свою жизнь
выходят каракули

глаза опираются
на костыли
придуманных облаков
улетающих с посвистом
в бесконечность

остаётся лишь
серость глазниц
да навязчивый писк комаров

ШЕСТЬ МОИХ ПОДСТАКАННИКОВ

среди прочих потерь
моих предыдущих жизней
вспомнил шесть мельхиоровых подстаканников
подаренных моему отцу
с гравировкой
«А-ру Шульцу от Дорочки Тайц»

я их очень любил
они мне напоминали о сладком чае
с рафинадом и примесью дыма
в скором поезде «Минск – Кисловодск»

милая Дорочка
теперь ты наверно старушка
если встретишь их на барахолке –
купи отзовись

не повернуть ли нам вспять
огорошив движением кудри
и взглянуть на излучину неба
на минуту забытого
сворою всей облаков?



нет, нам незачем время терять
на ирисовый цвет бледно-синий
ослепляющий линзы Орфея

Эвридика томится забвеньем
в созвездии Псов

но – вот она!
снежная девочка
«та, в чьи косы я влюблён»

зимние сумерки
у преддверия ада

кричу:
анкор! анкор!
пусть себе в пионерском галстуке
ведь и он, бедолага, был тоже пропитан
кровью наших отцов молодых
с вожделеньем глядевших на серое небо

ТОНКИЕ РУКИ

девочки растут на деревьях
их тонкие руки – сухие ветви саксаула –
тянутся к солнцу иссушающему до костей
до чистой страсти песка и пепла
изваяния мира из пустоты пустыни

ЗЕЛЁНАЯ ТАРА

сидит девушка в парке
правая нога упирается в землю
левая покоится на скамейке
в одной руке письма
в другой синие лотосы
зелёная кожа
иссинная зелень
между нами море
чёрное страшилище
моргну глазом
прилетит в иерусалим
и спасёт меня от смерти

К ОБРАЗУ ЧЁРНОГО ВОРОНА

во мне зреет чёрный ворон
пытается проклонуться наружу
а я ему: ворон ворон погоди
ещё не время благой вести
ещё весна впереди
и невский ледоход
ещё не вскрыл
себе вены

АННА РАФАИЛОВА

ОТНОШЕНИЯ

повесть

– 1 –

Сначала они, что называется, встречались. Эля отбила его на спор у своей подруги. Училась Эльвира тогда в девятом классе; Витя заканчивал среднюю мореходку.

В те времена даже «МакДональдса» в городе не было, и встречались подростки незамысловато: по вечерам, если нельзя было посидеть вввоём во дворе или у кого-нибудь дома, шли вместе в кафе или просто гуляли по улицам, по склонам над морем. Вите нравилось, в мороз, греть элину руку у себя в кармане. Целовались они в парадном.

К Эле домой нельзя было зайти дальше коридора из-за тесноты и бдительной, хоть и приветливой, бабушки. Мама её тогда трудилась в Греции – нелегально смотрела за старичками-старушками и высылала домой деньги. У Вити же места было, может, и побольше, но портил всё даже не его младший братишка, а отец, водитель-дальнобойщик, что тогда как раз застрял дома без работы и всё сатанел. Витя и думать боялся о том, чтобы показать его Эльвире. Так что они через день приходили в «Туфельку», крохотную кафешку на полпути между Элиным Проспектом и Витиной 7-й станцией, даже без окон, но зато тёплую. В «Туфельке» они пили чай, разговаривали и опять же целовались. Можно было не стесняться – там все так делали. Собираясь провожать девочку домой и помогая ей надеть куртку, он всякий раз обнимал её сзади за плечи, прижимал к себе, ласкался щекой об её волосы.

Больше всего Вите запомнилось, как они кормили чаек в Лагуне где-то в феврале. Из-за ненастья на берегу не было ни души, а в природе осталось только два цвета, серый и белый – других не было: серое небо и море, белые снег, лёд и чайки. В кармане у Вити оказалось какое-то печенье, и их понесло на обледенелый пирс, угощать морских птиц. Пирс весь оброс огромными фантастическими сосульками. Эля ступала осторожно, но сапоги на ней были дешёвые, подошвы скользили, и Витя крепко держал её под руку. Она утыкалась лицом в его плечо, прячась от ледяных брызг – честно, безумием было прийти на пирс при той погоде, но благодарные чайки, хватая на лету угощение, одобрительно кричали над ними.

А весной Эля вдруг сказала:

– Давай расстанемся.

Они стояли у неё в парадной, в пролёте между этажами – так, чтобы бабушка в глазок не высмотрела.

– Понял, – Вите пришлось опустить взгляд и отступить на шаг назад. – А что не так было-то?

– Да всё было так. Хорошо было. Ты, Витя, очень хороший.

– Да что ты говоришь? – фыркнул он, но голос у него позорно дрожал. – Был бы хороший, не было бы «давай расстанемся».

– Не злись. Прости, конечно. Я ж сама это всё затеяла. Крутой хотела быть. Стыдно теперь. Голову тебе не хочу морочить. Мне нужен другой человек. Понимаешь?

Витя, как ни странно, очень даже понимал. С самого начала ему не вполне верилось в то, что они встречаются наяву, на самом деле. Слишком интересно ему с этой девочкой было.

– Так ты точно, уверена? – спросил он, не в силах поднять на неё глаза. А ведь шёл к ней такой радостный, предвкушал поцелуи...

– Уверена. Но спасибо тебе большое. Здорово было.

– А он какой? – не выдержал Витя.

– Кто?

– Я его знаю?

– Да при чём тут?.. Нет, нет у меня сейчас никого! – она рассмеялась. – Просто, ну сам подумай: разве это честно – встречаться с тобой и знать, что ты временный вариант? И ждать при этом другого совсем человека – кого-то постарше, посамостоятельней; а мне нужен только такой. Ты же – не хочешь быть временным вариантом?

– Тогда, может – останемся друзьями хотя бы? Чем вообще... – вдруг осенило Витю. Хотя, конечно,



он должен был бы обидеться на «временный вариант» и особенно на вот это «постарше, посамостоятельней».

– Серьёзно? – усомнилась Эля. На шаг отступив, она оглядела его с ног до головы, словно прикидывала, «тянет» ли он на друга. Витя бессознательно приосанился. – Ну, честно говоря, я и сама бы тебе это предложила. Друга, как ты, было бы глупо терять. Да говорят, вы, мужики, «останемся друзьями» плохо переносите? Нет?

И она протянула ему руку. У неё было отличное крепкое рукопожатие.

С тех пор они не целовались и не ходили в «Гуфельку». Но виделись – раз в месяц, по меньшей мере. Говорили, делились новостями – Эля хорошо слушала. Однажды он починил им упавший на пол телевизор, чем покорила Элину бабушку; теперь, когда он приходил, Эля с бабушкой усаживали его в гостиной на диван, поили чаем из красивых чашек. Не то, что раньше, когда они встречались!

В гостиной было мало места, потому что бабушка боялась выбрасывать вещи – огромный древний телевизор, поломанную швейную машину, картонные коробки с надбитой посудой... В этой гостиной Эля и жила. На двери в смежную бабушкину комнату когда-то, лет в десять, она нарисовала масляными красками осанистую жар-птицу в переплетении тонких ветвей. Вите эта жар-птица очень нравилась; рисовала Эля хорошо. На последних страницах её школьных тетрадей теснились разнообразные красавицы, что обнимались почему-то со всякими демонами и чудницами («просто я не умею рисовать нормальных мужчин» – признавалась она).

Витя помогал Эле делать физику, а она ему – английский. Она хвалила его, благодарила. Могла иногда обнять – в надежде на это он и приходил, наверное... Он каждый раз находил её изменившейся, новой; была у неё такая страсть – меняться. То накрасится до одури и станет говорить пошлости; то заплетёт косички и прикинется недотрогой; то наденет мужскую рубашку и кепку козырьком назад, и будет строить из себя дитя улицы. А больше всего ей нравились и шли длинные хлопковые платья, такие для взрослых женщин – то был греческий секонд-хэнд. Вика облачалась в такое платье, закалывала волосы понебрежнее, и вела себя, будто ей лет тридцать пять и она разобралась уже во всём на свете. Женственность эта Витю обволакивала и ранила. Ужас, что за мысли ему иногда приходили.

А как она нравилась Витиной маме! Чем сильнее он её убеждал, что они с Элей просто друзья, тем больше мать старалась прямо-таки захомутать эту девочку. Если она узнавала, что Эля придёт – становилась к плите и готовила не простой, а особый деликатесный ужин, не хуже, чем на возврат отца из рейса (отец теперь, слава Богу, работал и дольше двух недель кряду дома не сживал). Элины редкие появления у них на 7-й станции превратились в семейные праздники. Сама Эльвира, кстати, тоже всегда была на высоте, никогда не приходила с пустыми руками, а один раз даже принесла бутылочку греческого оливкового масла и коробку розового рахат-лукума, что её мама передала из Афин.

– Куда поступать решила, Элюсечка? – вилась возле неё мама Вити.

– На международные отношения, Зоя Николаевна.

– А! – пугалась мама. – Это ж как туда английский надо знать!

– Я буду давать французский, – мягко улыбалась Эля. – Можно на выбор, а я французский уже лучше знаю.

Маму аж пробирало! А училась Эля и правда неслабо – хоть, по её словам, и «съехала» после восьмого класса. Французским увлекалась лет с десяти. Сначала учила по самоучителю, потом, когда в семье – спасибо маминной Греции – стало лучше с деньгами, пошла на курсы. Витя же сроду не был отличником, и отличниц со своего класса терпеть не мог, зато перед Элиными пятёрками благоговел.

– Ну что, что скажешь, сына? – с надеждой заглядывала ему в глаза мама, когда он, проводив Элю до дома на Проспекте, возвращался.

– Мам, не добавляй, ладно? – горестно кривился Витя, вешая кепку в прихожей.

– Ты подумай... – ни к кому обращалась Зоя Николаевна, расстроено качая головой. – А как её мама? Всё в Греции?

– В Греции.

– Вот молодец женщина! Смогла! Это ж она потом и Элюше гражданство сделает...

– Не, вряд ли. Она там нелегально. А Эля говорит – «я достигну всего сама».

– Вот это девочка! – мечтательно поднимала глаза мама. – Характер! Одно слово – Эльвира! Не то, что все остальные твои – Маши, Наташи... Пигалицы. Рядом нельзя поставить.

Витя, отвергнутый Элей, и правда – пошёл встречаться то с одной, то с другой, словно настоящий бабник. Особенно везло ему на девочек летом; летом они, что расплодившиеся божьи коровки в парке Ленина, бестолково сыпались на него сами. Но после Эли он стал взыскательным, очаровать его теперь было ни разу не просто. Сам же он почему-то нравился только совсем простым, обыденным девочкам, таким, что не знают, чего ищут, а лишь изо всех сил стараются быть как все – говорят, одеваются, ведут себя так, как положено у них во дворе, в районе, как видели по телевизору – и у них это выходит, все получают одинаковые. Во что тут влюбляться? И всё равно он гулял с ними, не очаровываясь и не приглядываясь особо – силится, что ли, вернуть себе душевное равновесие. Но оно, как покинуло Витю, так и не собиралось обратно.

Для Эли-то он всё равно оставался недостаточно взрослым и самостоятельным. В высшую мореход-

ку, после своей средней, поступить не смог, ни по деньгам, ни по разуму, и пошёл учиться в холодильный институт – да ему и без разницы было, в какой, главное тогда было спастись от армии! Вид у него был наивный и немного совдеповский, не такой, как надо было бы для середины девяностых: шмоток модных ему не хватало, цинизма, остро шутить не умел. Ни «каменной стеной», ни «крышей» не видел себя. Девочки вроде Эли не смотрели на него никогда – а он и не встречал на неё похожих.

Зато как он был благодарен ей, что перед его друзьями (их было двое – Дама и Сидор; вполне мужественного Даму прозвали так ещё в первом классе из-за фамилии Домрачёв) Эля держала себя с ним, будто они и не думали «оставаться друзьями!» Ластилась к нему, брала за руку, а на дне рождения, Витином восемнадцатилетним, всю целовала его, когда расселись по углам парочками. Сама нежность – как ни в чём не бывало! Витя чуть рассудка не лишился. Тогда он, как назло, растерял всех своих «божьих коровок» и оказался один; Эля знала об этом. Дама и Сидор со своими подружками глядели на них – такую счастливую, со стороны, пару, – и молча завидовали. Он занадся было – может, опять? – но Эля распознала эту надежду и серьёзно прошептала ему, когда танцевали:

– Ну, надо же твоё, как говорит моя бабушка, реноме поддержать. Подумаешь, обнимашки. Это по-дружески. Для тебя не жалко.

– Витыч, так она с тобой дружит или встречается? Что у вас за отношения такие? – спрашивал его потом, наедине, Дама.

– Какие есть, – блокировал сдержанный Витя.

– Ништяк, я тоже такие хочу...

А вот своим собственным знакомым она его никогда не показывала – с тех самых пор, как увела тогда у подруги. Отговаривалась тысячей причин; ей вообще нравились этакие взрослые обоснования в духе «ты моя личная жизнь, и моё личное дело», но – Витя знал, что Эльвира его просто стеснялась. Ну, знал он это. Он и сам себя стыдился – своей некрутости, непрестижности, дешёвой одежды, родительской квартиры со старым линолеумом... А Эля стремилась в другой мир, к другим людям (вот этим самым, что «постарше, посамостоятельней»), к другой жизни. И не скрывала ведь этого с самого начала. Мысли эти ядовито жалали, отбирали силы, и Витя старался просто не подпускать их к себе. В конце концов, разве не стоила сама по себе вот эта их ненормальная дружба того, чтобы где-то и перетерпеть?

Одно время Эля куда-то исчезла. Вдруг. Сама не звонила, и дома её никак не удавалось застать. Витя даже стал чувствовать фальшь в голосе её бабушки, когда та говорила ему, что Эли нет. «Нашла того самого», понял он. О! Несмотря на ворох «божьих коровок», Витя тогда впервые в жизни, через не могу, распробовал одиночество. Три месяца длилось это жестокое эмбарго, он уже не мог смотреть на телевизионный аппарат. Как вдруг ему позвонила – нет, не Эля, а её бабушка.

– Витенька? – голос у неё дрожал. – Это ты?

– Полина Ильинична?

– Дочка... Я нашла у неё твой телефон... Ты не можешь прийти к нам? Нет, всё нормально, Элочка здорова, слава Богу, просто приходи... Когда сможешь...

Когда он пришёл – принёсся – на Проспект, бабушка, заикаясь от благодарности, шёпотом поздоровалась с ним, попросила «Только не выдавай меня, дочка, слышишь! Совсем извелась, не ест ничего и плачет» и, торопясь, ступая на цыпочках, провела его сразу в гостиную, точно он был участковый педнастр, что пришёл к тяжело больному ребёнку.

Там он нашёл Элю – она сидела у окна на диване, похудевшая, непривычно ненакрашенная, в халате и с бабушкиным платком на плечах. Рядом с ней лежали раскрытые учебники, тетрадь-черновик с заложенной в неё ручкой. «Привет!» – только и вымолвила Эля. Улыбнулась. За бабушкой тактично закрылась дверь. Они остались вдвоём в гостиной.

Над дверью с жар-птицей висела крупная чёрно-белая фотография Эли-первоклассницы с бантиками, в пилотке и с гойсом на пее, с надписью вкось угла: «70 лет Октября».

– Что такое с тобой? – спросил Витя не то у взрослой Эли, не то у чёрно-белой первоклассницы. – Куда ты пропала, вообще...

– Друг в беде не бросит, лишнего не спросит... – тихо, хрипленько пропела она.

Он сел рядом с ней на диван и принял негромко, на одной мирной ноте, рассказывать ей свои нехитрые новости. Надо же было говорить о чём-то, раз он уже пришёл. Эля, поджав под себя ноги, завернувшись в платок, молча слушала. От Вити исходило простое, родственное тепло. Эля вдруг положила голову ему на колени, свернулась клубочком.

– Меня бросил мужчина на двадцать шесть лет старше меня, – сказала она. – Представляешь?

– Господи, – Витя перепугался, – Эля! Ты ж ещё даже паспорт не получила!

– Ну и что? Таких, как я, у него, оказалось, целый каталог... Но я сама виновата. Ах! Лучше б он был моим отцом. Вот это было бы круто! У него, кстати, дочка старше меня на два года...

– Вот урод!..

– Нет, это я дешёвка.

На миг ему захотелось наказать её, хоть просто каким-то язвительным словом, но ему было так жаль свою «бывшую» девочку, ведь она же правда страдала, да и язвить ещё нужно уметь... Было ещё кое-что,



что остановило его: странное чувство вины перед Элей, какое-то угрызение совести. Хотя, если подумать, за что, с какой стати? Разве он был виноват в чём-то? Но, так или иначе, вместо издёвки он вздохнул:

– А у меня вот нету каталога таких, как ты. Никем не могу тебя заменить. Я тебя, когда вижу, меня аж колотит всего.

Эля вдруг обняла его, обцеловала ему лицо. Теперь она иначе целовалась, чем во времена «Туфельки», да и он научился кое-чему... Но встречаться с ним заново Эля не согласилась.

– Я вообще ни с кем не хочу теперь встречаться, – решительно покачала она головой. – Мне надо учёбу вытягивать, я за эти месяцы снова съехала, надо спасать аттестат. Я даже краситься теперь не хочу, пропади она пропадом эта мода. Мне надо будущее какое-то строить себе. Деньги, ты видишь, всё-таки многое в жизни решают.

Но краситься она скоро опять начала, а голодать и плакать – перестала.

– Ты только не пропадай больше, – ещё попросил он тогда. – Кто б там ни был у тебя, хоть на телефон-то можно отвечать... Я ж тоже всё понимаю... Сама ж говоришь, мы друзья с тобой.

Однажды, когда Витин отец сидел дома и ждал рейса, мать уличила его в чём-то – не то в растрате, не то в измене (за ним водилось и то, и другое). Они начали ссориться прямо с утра, когда Витя ещё зубы чистил, а Данька хныкал, что в школу не хочет. Витя как-то пропустил момент, когда родители перешли опасную грань, а то бы как-то вмешался, стал бы просто между ними баррикадой, от греха. Но он не успел. Он услышал мамин крик, выскочил из ванной – а мать уже лежала на полу, отец одной рукой тащил её за волосы из кухни в коридор, а другой лупил по лицу, плечам и шее.

– Ты что делалась! – Витя набросился на него со спины, пытаясь схватить за руки, за обе, и это вышло совсем не сразу. Отец, когда гневался, становился силён как бес, весь превращался в ненависть и наносил удары, не различая, кому и по чём. У него и голос менялся, когда они ссорились с мамой по серьёзному – как у натурального бесноватого. Всё же Витя оттащил его от матери, что кричала уже не от злости, а от боли и страха за жизнь, и оттолкнул в сторону входной двери. Тот выдохнул раза два, разведя в стороны свои паршивые руки с красными горячими пальцами, что шевелились, будто искали, что бы ещё схватить – но матюгнулся, плюнул и ушёл из дома, бахнув дверью так, что брызнула штукатурка.

Дальше Витя подымал маму с линолеума, укладывал её на диван, доставал из холодильника лёд, чтоб успокоить ушибы, поил маму чаем и слушал, как она плачет и клянёт свою жизнь. Данька тоже разревелся не по возрасту, Витя даже рассердился на малого – мог бы и мужество проявить какое-то, раз у мамы теперь только они двое защитники. Нет, у родителей и раньше бывали инциденты, это не в первый раз Витя оттащивал от мамы этого ненормального – но всё же не так, чтоб за волосы и по полу.

Но потом родители взяли да помирились. Вот будто так и надо было! Отец вернулся домой на другое утро, тихий и тёмный. Мама к тому времени чем-то заровняла отёки и забелела синяки. Они говорили, закрывшись на кухне, и когда старший сын пришёл из института, всё в доме было до такой степени нормально, что Витя, тоже едва не плюнув, повернулся и ушёл, куда глаза глядят. Ему казалось, что это его самого извозили по полу, наставив синяков на лице. Через два дня отец уехал в рейс, и мама провожала его, как будто ничего не случилось: родненький, зайныка, всё такое!

– Я не поняла, а что ты хочешь, чтоб я делала? – возмутилась Зоя Николаевна, когда он заикнулся о том, что стыдно было так вот оставлять отцу рукоприкладство. – Такая жизнь! Другого отца у вас нет! Зато вас ему лупасить старалась не давать, нет, чтоб сказать мне за это спасибо!

Тут и пришёл Витин черёд звать Элю на помощь. На душе у него заплесневело, забродило – он нуждался в лекарстве, хотелось чего-то святого, немеркнувшего, не гнущегося под «такую жизнь». И Эля пришла (дома у него никого не было, Витя смог удачно подгадать), пришла как нарочно такая чистая, беленькая, с распущенными волнистыми волосами. Даже не надушилась – от неё пахло лишь нежным мылом. Вите вспомнилось, что опять весна – год, как они «остались друзьями».

Сели рядом на ковре в комнатке Вити с Данькой. Раньше у них там возвышалась двухэтажная кровать, но когда малый, балуясь, «навернулся» с верхнего яруса головой вниз, мама в гневе схватила пилу, и кровати стало две, а помещение сделалось вдвое теснее.

Сели рядом, и он ей всё рассказал, про отца с мамой.

– Главное, как он её волосы на руку себе намотал, – жаловался поникший Витя, – у меня перед глазами до сих пор это. Спать ложусь – и вижу волосы мамыны. Я такого представить себе не мог, что так можно вообще. И она простила его, как только пришёл! Легко! И ни гордости нет у неё, ни обиды, ни злости – мне жить не хочется после этого! Что, я не зарабатывал бы тех же денег, живи мы без него? Только больше бы получалось, потому что никто не тратил бы исподтишка. Перевёлся бы на заочный...

– Не, ты не прав, – Эля с ним вместе, склонившись, глядела на лысый от старости зелёный ковёр на полу. – Твоя мама семью сохраняет. Она умница. У тебя родной отец есть, пусть и такой... агрессивный. А знал бы ты, что такое вообще без отца! Или когда, как у меня, развелись родители.

Помолчали.

– Маму видеть не могу теперь, – Витя, обычно ровный такой и спокойный, совсем раскис. – Больно, блин. И какой же я сам тогда, если родители такие: один бесноватый, другая по полу себя таскать позволяет...

– Э, ты что? – вскинулась Эля. – Мы родителей не судим. Запомни это. Пусть они тысячу раз какие

угодно, их осуждать мы не вправе. Это грех. И у меня такие чувства были к моим одно время. Я тоже, знаешь, чего навидалась, у-у! Вам, детям из полных семей, и не снилось. Зато я нашла метод, как с такими вещами примириться. Могу научить. Хочешь?

– Ну и как же? – улыбнулся Витя её наивности.

Эля встала перед ним, выпрямилась, встряхнула волосами.

– А вот ударь меня, – вдруг негромко произнесла она.

Витя тоже встал.

– Глупенькая. Ты что говоришь такое.

– А вот ударь, – повторила она, чуть отступая и улыбаясь. Улыбаясь лукаво, как никогда! – Давай, сделай, как твой отец. На вот, возьми меня за волосы!

И она сама собрала в руку свои чистые белокурые волосы, и вытянула шею, повернувшись к нему боком, глядя на него искоса.

– Да что ты несёшь, Эля! – перепутался он, но волосы были так хороши, так блестящи, их так хотелось потрогать, что он и правда их взял. Поднял их на ладони, полюбовался ими на свет – так смотрят организму, выбирая занавеси. Тут что-то в душе у него поменялось, резко, щелчком, словно его переключили на другой режим. Переключило. Он стал каким-то другим человеком.

Медленно, сам в ужасе от того, что происходит, Витя намотал Элины волосы на руку, чуть потянул за них, чтобы приблизить её лицо к своему. И тут он вдруг почувствовал к ней ненависть. Удивительную, от восхищения и желания родившуюся, но ненависть. Таковую, что хотелось убить её, на фиг!

И он занёс было руку... Но здесь наваждение схлынуло, и он увидел Элю своим обычным, нормальным зрением – её доброе, чистое личико, шерстяную кофточку на хрупких плечах, – и вместо того, чтоб ударить, он схватила её в объятия, и разрыдался. С детства он так не плакал, подумать только! Класса с первого... Подкосились ноги, он опустился на пол, Эля за ним. Прижимал её к себе, стоя на коленях, и обливался слезами.

– Ничего, ничего, – Эля гладила его по волосам, по спине, не отстранялась.

– Прости меня, – рыдал Витя, не зная чем вытереть слёзы, у него все рукава уже были мокрые, он прятал от Эли своё лицо. – Никогда в жизни... я... не ударю... женщину... Прости...

Закрываясь руками, Витя добрался до ванной, умылся холодной водой, посмотрел в зеркало на своё опухшее, покрасневшее отражение. «Стыдобище», – подумал он и опять едва не заплакал. Постоял, прижимаясь к белому кафелю на стене то одной, то другой щекой, чтоб остудить лицо – он был склонен к ненормальному румянцу и всегда стеснялся этого. Успокоился вроде, и пошёл к Эле. Они снова сели рядышком на пол, помолчали немного, затем она (бессовестная всё-таки) невинно спросила:

– Ну что, на папу не сердиться больше?

Какой ещё папа? Да он и думать забыл о родителях, забыл, с чего началось это невесть что! Ошеломлённо покачал головой.

– Видишь, а ты меня даже и не ударил по-настоящему. Я так, знаешь, сколько всего разным людям простила? Это ж просто: что-то в ком-то тебя раздражает, расстраивает – а ты делаешь это сам, и всё, и теперь это уже твоё, и значит уже не на кого сердиться, ты оказываешься по одну сторону с тем, кто обидел тебя. И нету больше конфликта. Именно поэтому, например, у нас вся страна матерится, тебе не кажется? Сначала это раздражает, расстраивает, а потом человек, не выдержав, начинает говорить то же самое; и всё, и очень скоро его уже не оскорбляют чужие матюги... Ему легче... Что, разве не так? Я вот в двенадцать лет попробовала сигареты: меня доставало, что мама вдруг начала курить. Она тогда сильно переживала, что папа ушёл. Я, конечно, курить сразу бросила, не моё это, но на маму уже не сердилась, не.

– Ужасно это, – сказал Витя.

– Немножко ужасно, да. Но ты видел, из чего жизнь вообще состоит? С этим же надо мириться как-то!

– Ты себя разрушаешь так.

– И разрушаю. Но у меня есть ты, а ты меня всегда восстанавливаешь, – весело подмигнула она.

– Эля...

– Скучаешь по мне, да?

– Скучаю, – Витя опять едва не заплакал. – Скучаю!

– Витя, – Эля покачала головой, – бросай это. Ищи себе хорошую девочку, влюбляй её в себя и будь счастлив. Не расчитывай на меня, пожалуйста.

Вечером, когда Эля была уже у себя дома, а Витина мама, включив на кухне свет, грела Даньке на ужин вермишель, Витя ходил по весенним сиреневым улицам, и уже не думал ни о родителях, ни о тяготах жизни. Ему было хорошо, на лицо всё прорисовалась улыбка, он ходил и понимал, что ему повезло, что ему, одному из тысячи, выпало не обычное, не нормальное, не такое, как у всех, но настоящее – счастье. Взаимность – да ну её вон! Эля дарила ему другие сокровища.

И буквально через неделю случилась беда. Витя куда-то шёл по Проспекту, и его дёрнуло вдруг зайти к Эле. Он увидел её во дворе, на лавочке возле парадной. Эля держала на руках пуховый конверт с чьим-то крохотным ребёнком. Полой своей зелёной курточки она старалась закрыть спящего малыша от ветра.

– Меня соседка попросила, на пару минут, – объяснила она, не отрывая восхищённых глаз от младенца.



- «Как орлица над орлёнком», – залюбовался ею Витя. Он и сам любил детей. – Тебе идёт быть мамой.
- А я бы хоть сейчас родила, – призналась Эля. – Так иногда хочется ребёночка, не могу передать!
- Ты же собираешься учиться и карьеру делать, – попытался уесть её Витя. – Ты ж у нас бизнес-леди.
- Да, Витя. Потому и собираюсь карьеру делать, чтобы привлечь человека, от которого и родить не страшно будет. Чтоб стать достойной достойного мужа. А работы ради работы у женщин не бывает. Я не верю. По сравнению с любовью, семьёй и ребёнком, любая карьера – такая, на самом деле, фигня...
- Знаешь, Эльвира, – сорвался вдруг Витя, – иногда я вижу, что у тебя с головой не в порядке. При чём тут карьера к ребёнку? Кто кого должен стать достоин? Зачем? Нормальные люди любят друг друга, женятся по любви, и детей рожают. Всё!
- Ну и прекрасно, – с лёгкостью, которую Витя принял за издёвку, согласилась она. – Что ты взъелся-то на меня, раз в твоём мире всё так просто? Найдёшь себе девушку, женишься на ней, по любви, и детей родишь. Какие проблемы!
- Да нашёл я уже! – закричал он.
- Кого? – засмеялась Эля.
- Тебя! Тебя, стерву такую, и нашёл, да мозги у тебя набекрень!
- Не шуми при ребёнке, – покачала головой Эля. – Я ведь просто говорю тебе правду, Витя. Если она тебя не устраивает, не будем видетсья больше, да и всё.
- Равнодушное «да и всё» Витю и доконало.
- Да будь ты неладна! – в сердцах бросил он. – Нужна ты мне!
- Весь дрожа от гнева и обиды, развернулся и пошёл прочь.
- А жаль! – вдогонку ему крикнула Эля, прижимая к себе ребёнка. – Хорошие были отношения!

– 2 –

И Витя начал новую жизнь. Запретил себе приближаться к Проспекту. Получил права, перевёлся на свободный график в институте; отец помог ему наняться личным шофёром в не особо требовательную семью – самое то, что надо для начала. Учиться Витя при этом стал почему-то не хуже, а лучше, чем раньше, сессию сдал почти отличником.

Повезло ему и встретить женщину постарше – ну всё, надеялся Витя, теперь от тоски по Эле ничего не останется. Но женщина, хоть и была семью годами взрослее, и уже имела развод за плечами, веда себя как-то липко, зависимо, ревновала, обижалась и плакала на каждом шагу. Хуже восьмиклашки! Весь издёргавшись, чувствуя себя сволочью, Витя постарался расстаться помягче, но вышло очень плохо, и потом ещё долго ему вообще не хотелось смотреть на женщин – ни на каких.

Затем померещился лучик света – осенью на их факультете появилась первокурсница, он услышал, что её называли Нина. Лицом и статью вроде Эли, только темнее волосами и как-то спокойней, скромнее на вид. Ходила только с девочками, парней вокруг не ощущалось.

Витя попытался подойти к ней, заговорить. Та посмотрела на него с испугом, отшатнулась без улыбки, и Витя понял, что тут ничего не выйдет, что ей ещё рано.

– Дитё, блин, – пробормотал он, отходя. «Не путай чистое с пустым!» – вспомнились ему чьи-то назидательные слова. Но из виду он её так и не выпустил, наблюдал издали, всё же она казалась очень милой девочкой.

Минул пьяный Новый год, дурацкий день святого Валентина, потом бывший праздник советской армии, на который ему никто ничего не подарил, зато до забвения родной речи набухался отец, Восьмое марта, на которое он впервые в жизни подарил маме настоящий подарок – золотой браслет. Едва растаял снег, Витя кушил себе «дырчик» – подержанный, зато полностью им заработанный небольшой мотоцикл. Накопив на него, сразу уволился с работы – мотоцикл был тогда пределом его амбиций, высшей целью, к тому же он вымотался, учись и работая разом. Теперь он ездил на «дырчике», «цеплял» девочек и очень крутым себя чувствовал.

В мае Вите исполнялось двадцать лет.

Мама накрыла стол и ушла с Данькой к соседке, чтоб не мешать. Пришли Дама и Сидор, с девушками, и его собственная, на тот момент, подруга, которую звали Юля. Девушки у всех троих поменялись, а так ничего нового. Будто и не было всех его свершений за этот последний год – ну, разве что деньги какие-то появились, чуть дороже коньяк на стол смог поставить, да мотоцикл ждал его на стоянке за домом. Но перед кем гордиться этим? Перед Дамой и Сидором? Они и так его уважают, ещё со школы. Перед вот этой Юлей? Так на дырчик она и повелась изначально, очередная «обжья коровка». Перед порядочной первокурсницей Ниной, что за учебный год не стала ему нинасколечко ближе, только мелькала по-прежнему вдалеке со своими подружками? Зачем, ей было ведь всё равно.

Ещё не сели за стол, а Витю уже подташнивало от общего жизненного разочарования.

Дама собрался курить на балкон – курить он обычно бегал каждые десять минут.

– Я с тобой, – кивнул ему Витя, выпутываясь из Юлиных рук.

– А разве ты куришь? – удивился Дама.

– Не твоё дело, – Витя закрыл за ними балконную дверь. Кто-кто, а весенний вечер был на высоте! Тёплый, ароматный, он гладил морским ветром тяжёлые ветви акаций 7-й станции, подразумевая: здесь

у меня всё готово для вашего счастья, что же вы до сих пор без него?

- Вот [...]!.. – Витя прочувствованно матюгнулся.
- Тебе виднее, – согласился Дама. – Курить-то будешь?
- Если б оно помогло.

– Ты прав, – вздохнул Дама, припадая к сигарете. И вдруг спросил: – Ты Элю давно видел?
 – Какую Элю? – попытался удержать себя в руках Витя, но тут же спался, по-дурному: – А ты?
 – Ну, как это «какую», – подмигнул ему Дама, гад. – Я вчера иду такой, по Проспекту, вижу – идёт девчонка на костылях. На костылях, прикинь, на реальных деревянных костылях! Симпатичная, главное, такая, беленькая, фигурка, в шортиках, всё в порядке... А одна нога забинтована, и костыли! Я присмотрелся – вроде Эльвира, та самая.

– А что случилось с ней?

– А я знаю? Я не стал подходить, по другой стороне шёл, да и вдруг бы она меня не узнала... А вы что, теперь совсем не общаетесь? Зря.

Витя вернулся в гостиную. Все уже сидели за столом. Сидор раскидывал винегрет по тарелкам.

– Ну где ты, садись уже! – Юля потянула его к столу, но у неё ничего не вышло.

– Люди, простите меня, – громко сказал Витя всем. – У моего друга беда. Я должен уехать. Отдыхайте без меня, пожалуйста. Горячее – в духовке, наполеон – в холодильнике. Сидор, ключи занесёшь потом в седьмую квартиру. Юль, извини.

...Он поставил мотоцикл возле той самой лавочки, где Эля когда-то баюкала чужого ребёнка. Во дворе никого не было, сумерки всех разогнали по домам, лето с его ночными посиделками ещё не наступило. Витя с минуту подышал полным воспоминаний Проспектовским воздухом, попереживал, затем решился и пошёл в Элину парадную.

Ему открыла незнакомая женщина, он даже растерялся, но потом понял, что это, видимо, просто её мама. Та, что раньше всё время была в Греции. Красивая, похожая на Элю. Она посмотрела на него с недоверием, сказала «сейчас» и оставила его в коридоре. У входа ждали наготове беленькие босоножки на платформе, наверно Элины...

Дверь в гостиную приоткрылась, а из неё показалось голое плечо, блестящая прядь волос, и деревянный костыль под худенькой загорелой рукой. Эля выбралась из комнаты, закрыла за собой дверь, облокотилась на неё спиной, и широко, приветливо улыбнулась. Будто они расстались вчера и не думали ссориться! Одна нога у неё не касалась пола, а висела, чуть согнутая в колене; стопа и щиколотка под закатанной джинсовой штаниной были забинтованы, лишь пальчики оставались на свободе.

– Ну, дай хоть посмотрю на тебя! – она, улыбаясь, рассматривала Витю, и что это был за взгляд! Так смотрят мужчины на женщин, а не наоборот. – С днём рождения, верно?

Его, от волнения, развело в улыбке – обалделой и доверчивой. Несмотря на эти дикие костыли, Эля выглядела здоровой, модной и летней: серебристая маечка, синие «рваные» джинсы, загар и длинные серые волосы. Только лучше стала за этот дурацкий год, зря потерянный!

– Я узнал про... – он кивнул на её раненую ножку. – Ты покалечилась?

– Поранилась просто. Прыгнула на маёвке с пирса, куда нельзя, где мелко. Дура, да? Напоролась на острый камень, ну и... Сбылось, короче, твоё проклятие, – Эля смеялась.

– Какое проклятие? – испугался он.

– А кто говорил мне: «Будь ты неладна»? Вот...

...Потом, спустя несколько дней, ему звонила брошенная Юля:

– Ты вообще знаешь, с кем связался? Я тут узнала за неё, у людей... Ты просто не в курсе, что это за человек! – то шипела, то кричала она.

– Ну как это не в курсе. Мы с ней уже два года знакомы. Да и твоё ли это дело? – миролюбиво отзвался Витя. Он цвёл таким счастьем, что и не помнил, как это – сердиться или раздражаться.

– Да? А что её мама делает в Греции, знаешь?

– Старушек досматривает.

– С греками за деньги спит! И Эля твоя такая же самая, в прошлом году она встречалась с «новым русским», сорокалетним!

– Ну и что? Знаю я про мужика этого, она сама мне рассказала... Она вообще мне всегда всё рассказывает, – отвечал Витя. Усмехался – когда он был маленький, его мама точно так же парировала наветы недоброй учительницы: «мой сын мне всегда всё рассказывает!»

– Вить, я хочу, чтоб ты понял – она тебе голову морочит! Я, может, спасти тебя хочу!

– Юль, ну не хочу я спасаться. А у тебя я уже десять раз просил прощения. Не звони мне, пожалуйста, больше.

Элины костыли Витя втайне благословлял. Каждый вечер он, чувствуя себя воинно-освободителем, убирал их в тёмный угол Элиной прихожей, поднимал её саму на руки и сносил с третьего этажа к своему «дырчику». А дальше – что может быть лучше мотоцикла, когда хочешь, чтобы тебя обняли! А гордо как – такую девушку везёшь! А как она сама теперь (спасибо костылям!) к нему относилась! В первый раз, когда он вот так унёс и увёз её из дому (ещё в тот самый свой день рождения), какое это было чудо – посмотреть ей в глаза и найти там самое настоящее восхищение; нет, нет, ему не показалось.



– Меня ещё никто на руках не носил, – призналась Эля тогда. – И на мотике я никогда не ездила. Боюсь даже, честно.

Витя подумал в ту минуту: а ведь Эля, при всех её чарах и амбициях, была и остаётся бедной незащищенной девочкой из стариковской хрущёвки, без отца, без братьев, одним словом – без мужика в доме, без кормильца и защитника. Витя снял свою куртку и надел ей на плечи, укутал заботливо – точно, как когда-то в «Туфельке», в их первые незапамятные времена:

– А то продует. Садись вот сюда, и держись за меня, только крепко. Ножку твою, осторожно. Не бойся.

Через рубашку он чувствовал на своей груди Элины горячие ладони. Эля, ещё боясь мотоцикла, прильнула к Вите тогда всем телом, к тому же ей было совестно, что из-за неё он без куртки, так что она старалась согреть его. Когда они тронулись с места и вывернули на Проспект, она вскрикнула от восторга.

Витя рванул в Лагуну, между тёмными склонами и огнями ресторанов, остановились над морем, перевели дух. Эля прижалась к нему.

– Помнишь, мы здесь часек кормили? – только и смог прошептать он, трепеща губами по её растрепавшимся волосам.

Так на 7-ю станцию вернулось очарование.

– Добрый вечер, Зоя Николаевна! Одноногую невестку не хотите? – поздоровалась Эля с остолбеневшей мамой, когда Витя на следующий день принёс её к себе, впервые после годовой разлуки. Эля прекрасно передвигалась и без костылей, прыгая на одной ноге, но Витя всюду таскал её на руках, точно она была жар-птицей, что могла исчезнуть навсегда, если её отпустить на минуту.

Потом все: мать, любопытный Данька, и даже отец, который в этот раз был дома и на которого Витя сразу, превентивно, посмотрел с настоящей взрослой угрозой («только скажи что-то жлобское, только попробуй, хренов шоферюга, и тебе не покажется мало») – все они ахали над Элиной ножкой, жалели её, расспрашивали. Отец авторитетно произнёс:

– Главное, сухожилие цело, – и, приосанившись, пригладил свои волосы, и заметно вдруг стало, что это бывший красавец военный. Элю он видел в первый раз, но имя её уже так давно жило в их доме своей жизнью, что даже ему ясно было, что это возвратился их человек, свой, родной и желанный. Все они любовались ею, а Эля, сидя на стареньком кресле, гладила Даньку по белообрывной голове.

Даже спустя много лет Витя, когда ему надобились душевные силы, вызывал в памяти именно эту минуту.

А мысли о том, что было дальше, выбивали его из строя. Те дни невозможно было не вспоминать – большая часть всей радости, всей увлечённости, что довелось ему испытать за молодость, пришлось как раз на них, на тот один-единственный месяц. Но Эльвира не была бы Эльвирой, если бы с ней можно было испытывать просто счастье, само по себе.

– Мы с тобой взрослые люди, – рассуждала семнадцатилетняя Эля. – Ты у меня – для души. Мне с тобой легко, хорошо, но всё равно, я ищу и жаду кого-то другого, понимаешь?

Мечты и эмоции мешались у неё с планами и расчётами:

– Мне сейчас главное – в институт поступить. Работать хочу начать на втором курсе уже. Мне нужно выбираться из бедности, выбираться... Будет тяжело, я это понимаю. Хорошо, когда ты рядом со мной, вот так, как сейчас. Я с тобой радуюсь и отдыхаю. Но это и всё. Это не любовь и не будущее. Хотя ты и сам, в общем-то, замуж меня не зовёшь, нет? – подкалывала она Витю.

– Почему не зову? – вскидывался он. – Выходи за меня! Знаешь, как все мои будут счастливы! Но куда я тебя приведу? К себе на 7-ю станцию? Как я могу тебе такое предлагать? А на съёмную квартиру у меня пока не хватает. Я тоже должен сначала добиться чего-то.

– Может, и добьёшься... Рано или поздно. Только я, если встречу того, кто мне правда нужен, повернусь и уйду. Ты меня знаешь.

– Я уже согласен на любые условия, – шептал Витя. – Жди, кого хочешь, относись ко мне, как угодно, дело твоё, но я без тебя не могу.

– ...Витыч, куда ты пропал? – приставал к нему Сидор, встречая возле дома.

– Не трогай, у него медовый месяц, – уводил его понимающий Дама. – Передавай Эльвире привет, если она ещё нас помнит.

Эля помнила. Она была внимательной, чуткой и ласковой. К ней можно было прийти без денег, без цветов и без подарков – и быть встреченным с нежностью и почтением, и чувствовать себя интересным, дорогим, бесценным. Ей можно было признаться в позорном – и насладиться пониманием, услышать в ответ перечень своих лучших качеств. А можно было млеть от её близости, исходить любовью – и больно раниться об угрюмое, безнадежное равнодушие.

Однажды, в такую вот минуту, Эля сказала ему – грустно и даже где-то презрительно:

– Вот не любите вы, когда вас любят, нет... Вы любите, когда вас обманывают, морочат вам голову, и ноги о вас вытирают.

Витя – он всё-таки её уже два года знал – понял, что это она не ему, а какому-то собирательному образу.

– Это не так, – только и вымолвил он.

– А я только так и вижу. Знаешь, у моего отца была первая любовь, вся из себя престижная и шикарная, дочь дипломата. Она смеялась над ним, изменяла. И он женился на моей маме, что была попроще и любила его, очень. А потом, когда уже годы прошли, у той красавицы умер муж. И она вспомнила про моего папу. И он побежал к ней по первому зову. С нами же он разругался, помогает мало, даже со мной почти не видится. Ему – нормально, у него любовь, счастье, новые дети родились, сбылись мечты. А наша семья разрушена, мама – одна.

– Я никогда не брошу тебя.

– А я тебе и не принадлежу, не обманывайся.

Элина ножка заживала. Наступил день, когда ей сняли швы, а вскоре за ним – тот, когда она смогла наконец, надеть свои «платформы» и гулять, не хромя. Костыли раз и навсегда исчезли в кладовке. Закачивалась её школа; Эля сдавала выпускные экзамены. Готовилась целыми днями, переживала за историю и математику, раза два плакала у Вити на груди от переутомления, когда он приходил её проведать. Зато каждый сданный экзамен становился праздником, и они снова были вместе, и он вез её к себе на 7-ю.

Потом Эля забеспокоилась.

– У меня задержка, – в конце концов призналась она в ответ на очередное Витино «что с тобой?».

Дни шли, и она совсем извелась.

– Задержка уже десять дней. Или вообще две недели, я не знаю, не помню! Блин, к врачу надо. Господи, а если правда – что я буду делать?

Витя был рядом. Она стояла спиной к нему, у окна, водила дрожащим тонким пальчиком по стеклу. Витя нежно взял её плечи в свои ладони. Ох как стрёмно было ему самому, но он постарался сказать как можно уверенней:

– А если бы и правда, что такого? Поженимся с тобой. Будет у нас ребёнок. Так даже лучше. Я всегда мечтал об этом. Ты же давно ещё говорила, что хочешь родить. Что я, не заработаю, что ли.

И тут всё разом встало на свои места. Эля обернулась, сбросив его руки со своих плеч, и посмотрела на него так, как никогда прежде не смотрела: с гневом и отвращением. Как на жалкую тварь.

– Ребёнок? От кого? От тебя? – визгливо переспросила она. – Я не хочу ОТ ТЕБЯ рожать! Я не о таком отце своему ребёнку мечтала! Ещё чего! Господи, как же мне быть! Это же первый аборт, этого же нельзя делать!

Витя отступил от неё, в ужасе. Он смотрел на её дрожащие от ненависти губы и ничего, ничего, ничего не мог произнести. Через минуту она сухо извинилась, даже поцеловала его потом в щеку на прощание. На следующий день перезвонила с утра: сказала, что всё у неё оказалось в порядке и даже к врачу идти не надо. Какое-то утрусение совести, может, и слышалось у неё в голосе, но когда они встретились, прощения она не просила, нет, и о детях, ни о каких, они больше не заговаривали.

На свой выпускной Эля его не пригласила, и попросила не трогать её на время вступительных экзаменов. Витя понимал, что иначе нельзя, что это факультет международных отношений, элина мечта, что поступает она на бесплатное отделение, что всё это очень серьёзно, но тосковал – и к этой тоске приешивалось чёрное предчувствие. Когда однажды он за одно утро поругался с мамой, оглушил Даньку, бахнул от злости сковородку о пол так, что у той отлетела ручка, и, хлопнув дверью, уже сбегал по лестнице, отец, что выскочил следом, крикнул ему:

– Хорош на стенку лезть! Сына! Их ещё знаешь, сколько будет!

Но «лезть на стенку» ему только предстояло. Эля, поступив наконец на свои международные, объявила ему – по телефону, встретиться отказалась:

– Не будем видеться больше.

– Что, опять друзьями останемся? – попытался усмехнуться Витя, но горе было уже здесь. Оно давно к нему собиралось. Его ещё издали было видно.

– Нет, Витя, – неумолимо ответило горе Элиным голосом. – Друзьями мы уже никогда не будем. Прости меня.

– Встретила, да? – проглатывая боль, спросил Витя.

– Да, Витя. Всё.

И это, и правда, было всё. Скоро ему рассказали, что Элю видели выходящей, с цветами в руках, из «бумера» – её провожал домой на Проспект какой-то высокий, хорошо одетый парень.

...Прошёл год, и ещё сверх того немного. Далеко от Проспекта, далеко от 7-й станции, на огромном промтоварном рынке Витя ходил и выбирал обои, клей, кисти. «Ноги осторожно!», – устало просил за спиной то один, то другой труженик, прокатывая свою тачку посредине узкого ряда. Кассетные – ещё не дисковые – лотки пели свои песни на каждом перекрёстке, и было весело закупаться, ходя между подпрыгивающим техно, угрюмым шансоном и сладкими девичьими всхлипами.

Уже по дороге назад, в одном из оживлённых рядов Витя застрля – движение заблокировала полная пожилая женщина с детской пластмассовой ванночкой под мышкой. Пенсионерка торговалась с продавщицей детских распашонок и чепчиков. Витя, сам уже весь в кистях, уголках и рулонах обоев, пытался



обогнуть её осторожно, но задел-таки уголком, и, когда она недовольно обернулась, узнал элину бабушку.

– Полина Ильинична...

– Витенька? Деточка...

Свободной рукой бабушка дотронулась до его плеча, будто хотела обнять на радостях, но тут же о чём-то вспомнила, и стыдливо отвела за спину громоздкую ванночку, уронила её наземь. Покраснела, как девочка.

– Ну, как вы? – негромко спросил Витя, поднимая эту непонятную ванночку с асфальта, тоже смутившись, глядя то на бабушку, то на ползунки, крохотные такие, которые она только что выбирала.

– Ох, Витя, – бабушка вздохнула и, решившись на что-то, махнула рукой. – У нас вчера Эльвирочка родила.

В роддом, что стоял точно напротив бывшей «Туфельки» (её теперь было не узнать – она превратилась в интернет-кафе, всё в чёрном и ядовито-фиолетовом цвете) прорваться было сложнее, чем в Кремль. Дежурная в белом халате – концентрат худшего, что осталось от советской эпохи, – проведя пальцем по колонне имён в тетрадке, сказала:

– Что вы мне голову морочите? Это ж бесплатная палата! Туда нельзя.

– А можно только в платные? – глупо удивился Витя.

– В платные можно, и только с трёх до пяти. А сейчас шесть. В бесплатную можете только передачу передать, где ваша передача?

Витя пришёл с пустыми руками, и теперь понял, как это, в самом деле, нелепо.

– Да мне увидеть её надо, – понапрасну стал размазываться он, – поговорить... Я брат... Пришёл из рейса, – понёс он пургу.

– Какая мне разница? – изгалялась эта мырма. – Окно есть, кричите. У нас под всеми окнами уже номера палат написаны. Ну что за люди, я не понимаю.

– Я кричал... Она не выходит...

– Молодой человек, это мои проблемы, что ли? Спит, значит. Кричите ещё.

Сбитый с толку, Витя отступил к выходу. Красивые двери были у этого охамевшего роддома – их украшали стеклянные витражи с похожим на элин, стройным женским силуэтом, что держал младенца в поднятых к небу руках. Мимо Вити к дверям пробежал мужик, который, видимо, слышал конец разговора с мырмой.

– Две гривны, – подмигнул он Вите.

Витя достал из кармана пятёрку и бросился к дежурной.

Эля лежала спиной к стене, укрытая больничным одеялом, в углу огромной палаты на девять человек. Все остальные койки, старые, железные, пустовали, даже матрасов на них не было. Ещё идя по коридору, Витя заметил, что почти все большие палаты были настежь открыты и не заняты. Никто не рожал, все ушли учиться, работать или просто радовались жизни, предохраняясь, как следует. А те, что рожали-таки, видимо, до этого собрали себе на платные палаты.

Витя, застыв на пороге, глядел на неё, какая она теперь стала. Бледненькая, с потускневшими волосами, не то подстриженными, не то собранными сзади – издали было не разобрать, – она не поправилась, а, наоборот, похудела. Поверх унылого байкового халатика у неё на груди, крест-накрест, был завязан тёплый бабушкин платок.

Полина Ильинична говорила, что Эля рожала долго и трудно, и только сегодня утром пришла более-менее в себя. Сейчас она не спала. Она узнала его, медленно приподнялась на локтях и села на кровати. Совсем почему-то не удивилась. Будто в мучении, где она только что побывала, ей было вдруг всё и обо всех открыто.

– Видишь, как! – улыбнулась она, когда он подошёл поближе. – Так мне и надо, правда?

Витя не злорадствовал. Даже глубоко в мыслях. Ни секунды. Он лишь любовался ею, вот этой новой Элей, перестрадавшей и одинокой, и ощущал утрату, и горькое восхищение, и вину – как если бы он её хоронил.

– Ну как твоя доченька? – спросил он, присаживаясь перед кроватью на корточки. Стульев не было, а сесть на одеяло он не дерзнул.

– Уже шесть? Скоро её покормить принесут, бедненькую. Досталась ей мамка-второкурсница.

– Ты ушла в академ?

– Нет, – посуровала Эля. – Нет, мне надо учиться. Теперь я время терять не имею права.

Только тут он заметил, что на тумбочке возле койки, между банкой куриного супа, термосом и пачкой таблеток, лежит учебник «Международная экономика».

– Как же ты будешь? – усомнился Витя.

– Буду как-нибудь. Сама засыпалась, сама и разгребусь.

– Да почему сама-то? А где?.. – не выдержал Витя, и тут же ругнул сам себя за бестактность.

– Меня его родители не приняли, – объяснила Эля спокойным тоном человека, который внутренне уже обработал ситуацию и справился с нею. – Да и ему надо было во Францию ехать, учёбу заканчивать. Я не сержусь. Всё в порядке.

У неё изменился голос, речь. Пропали лукавые ноты, внезапные переходы, наигранные интонации. Одна суть осталась.

– А ты-то как? – спросила у него Эля. – Выглядишь отлично. Садись на одеяло, чего ты на корточках.

– А я тоже «залетел», – усмехнулся он, садясь у неё в ноги. – Свадьба вот через две недели, представляешь. Детскую вот сейчас у девушки... у невесты, в смысле, делаю, обоим клею. У её родителей пока будем жить.

– Ух, ты! – искренне восхитилась Эля. – Стой, я сейчас угадаю. Неужели Нина? С твоего факультета, застенчивая? Ты добился?

Когда-то, в тот их незабываемый «медовый месяц», он, жалуясь как ему было одиноко, поведал ей и про ту первокурсницу – ведь они с Элей рассказывали друг другу всё.

– Нина, точно... – кивнул он. – А в ноябре я в рейс ухожу. Мотористом. Чуть не поседел, пока устроился.

– А что твой холодильник? – Эля заглянула ему в глаза.

– А что? – Витя хотел улыбнуться бодро, но вышло жалко. – Мне теперь семью кормить надо.

Помолчали.

– В наше время, знаешь, все только по залёту и женятся, – сказал Витя, будто в своё оправдание.

– Ну, женятся, всё-таки, видишь, не все... – Эля вздохнула с грустью, но тут же подмигнула ему, и улыбка у неё вышла почти задорная, почти прежняя: та, в которой таялись Проспект и «Гуфелька», чайки и поцелуи.

Витя снова сполз на корточки, склонился над её рукой, что лежала на одеяле – рука, словно у маленькой отличницы, с коротко стриженными ногтями, куда девалась былой ослепительный маникюр! – и благоговейно поцеловал. Так его мама прикладывалась к святым мощам в их местном монастыре.

– Иди, иди, – посерьёзнала Эля. – Ты же видишь, что делается – кончилось наше детство, всё. Теперь у самих у нас дети. Это тебе не чаек кормить.

Когда он шёл по высокому роддомному коридору к лестнице, навстречу ему медсестра везла тележку с детьми. Их было мало на такую большую телегу, всего шесть или семь, и все одинаковые, стиснутые больничными штампованными пелёнками, смешные. Малышата ехали к мамам, кушать; кто-то из них начинал ворчать, а кто-то уже плакал-надрывался. Витя смотрел на них и всё равно не мог поверить, что один из этих шумных пакетов – Элина кровиночка. Элина – и чья-то ещё.

Через два дня, добыв денег, солгав своим новым домашним, он явился вечером на Проспект. Элина дверь была распахнута: Полина Ильинична домывала лестничную клетку. Завтра утром ждали из Греции маму, а после обеда забирали из роддома Элю с малышкой.

– Что ты, деточка? – с трудом распрямившись, удивилась его приходу бабушка, но спохватилась тут же: – Эля говорила мне, ты её навещал. Дай Бог тебе здоровья. Друг познаётся в беде.

И она даже поклонилась ему.

– Полина Ильинична, – сказал он, доставая из кармана куртки заложенные в тетрадный листик доллары, – я хочу помочь... хоть немножко. Возьмите, пожалуйста. Для Эли и её девочки.

Бабушка увидела в его руках бумагу, из которой выглядывали деньги, и ахнула.

– Ты что! – она посмотрела на Витю с ужасом, донельзя вытаращив глаза. – Это, значит, у тебя самого невеста беременная, а ты нам будешь деньгами помогать! Хорошенькое дело! Спрячь это немедленно и уходи отсюда бегом! Ах ты, Господи!

Бабушка заплакала, схватилась за седую голову.

– Полина Ильинична. Ну чего вы...

– Знаешь что, Витя, – бабушка вытерла глаза локтем (ладони были в грязной воде) и посмотрела на него вдруг сурово. – Про Элюшку, знаешь, раньше надо было думать. Что ты приходишь вот теперь, деньги какие-то суёшь, как я не знаю кто? Раньше-то где ты был?

– А что я? – Витя, честно, не ожидал такого.

– А то. Мне, конечно, нету прощения. Упустила я её... Да и Элю я не оправдываю. Характер у неё не дай Бог, она взбалмошная, упрямая – ну, так она без отца и, можно сказать, без матери выросла. Да, она натворила дел, да! Но сам-то ты!

– Да что я-то? – повторил изумлённо Витя.

– Не боролся ты за неё, Витенька, – вздохнула бабушка, с сожалением глядя в пучину грязной воды в ведре, – или мало боролся... Она ушла – а ты отпустил... Не чувствовала себя нужной тебе по-настоящему – вот и ушла... Ты ж всегда отпускал её! Друзьями они, видите ли, оставались! Вот и потерялась она... А тянулась к тебе. Сама себе в том боялась признаться – боялась повторить судьбу мамину, боялась любить, но будь ты сильнее... Ну да что уж теперь. Прости меня, деточка, я, может, ерунду говорю. Я, наверно, перенервничала просто. Только ты не ходи сюда больше, пожалуйста. Ты же, считай, женатый человек. Хватит с нас и своего позорища.

Уходя, он бросил деньги в Элин почтовый ящик. И всё – и больше, действительно, не приходил.

И каждый день на его память ложился новый слой новой жизни. Жена Нина, первый рейс, рождение сына, долги, отчаянный поиск работы, затем ещё рейсы... Тот возраст, когда не успеваешь уже не за



днями, а за годами, наступил у него до обидного рано. Иногда он печалился из-за этого – но на жалость к себе времени тоже не было, и его несло дальше...

Теперь уже не дотянуться было до Эли – точно она, как сестрица Алёнушка, покоилась где-то на глубоком дне, под непрозрачной водой, живая, но невидимая и недостижимая. Да и живая ли? Вести о ней, скудные и поверхностные, ещё как-то доходили до него на протяжении первых двух лет после их прощания, обычно через случайных, не заинтересованных людей: она с малышкой жила там же, у бабушки, продолжала учиться и – вот такая деталь сообщалась – совсем не поправилась после родов. Иногда Вите вдруг являлась идея: а взять да и позвонить ей, а? Или даже просто приехать на Проспект, походить во дворе там, что ли, понаблюдать за Элиными окнами... Но и на это он не решался, и даже не из-за преданности своей Нине, а потому что было неловко, перед Элей и перед самим собою, стыдно – ведь он ничем не смог помочь ей в беде, до которой сам же её допустил, ведь права, права была Полина Ильинична...

Наконец Эля пропала из поля зрения полностью (последнее, что он слышал, было абстрактное известие, что она куда-то переехала), а Витю с головой захлестнули собственные проблемы – и так прошло много лет. Теперь Витя плавает третьим механиком. Работу свою не любит, мечтает устроиться на берегу, но, в общем, всё у него нормально: развязался с кредитами, смог забрать жену, с двумя уже сыновьями, на отдельное жильё... Он хороший семьянин, Витя. Обожает детей, дорожит женой.

А Эля, тем временем, всё-таки вышла замуж за отца своей дочки – он вскоре вернулся к ней, несмотря на протесты родителей. Его карьера от этого не пострадала: Эля с ребёнком перебралась к нему во Францию, как только получила свой диплом бакалавра международных отношений. Во Франции же она принялась работать – сперва тяжело и нелегально, нянечкой в детском саду, но вскоре смогла устроиться в логистической компании, где требовался русскоязычный менеджер. Те трудности давно ушли в прошлое: последние несколько лет они живут всей семьёй в Тунисе, куда мужа Элиного направили курировать какой-то долгий международный проект. А сама Эльвира хоть и не стала, как ей мечталось, дипломатом, но работает, можно сказать, по специальности: она уже довольно опытный сотрудник в огромной транспортной корпорации, офисы которой есть повсюду в мире. Когда не стало Полины Ильиничны, мама продала их квартиру на Проспекте и окончательно перебралась в Грецию; с тех пор ничто больше не связывает Элю с родным городом. Внешне она изменилась совсем мало, но теперь её можно принять скорее за француженку, чем за украинскую женщину.

Недавно Витя и Эля вдруг «нашлись» на фэйсбуке, и узнали друг о друге всё это. Из их рассказов, из их счастливых лиц на фотографиях следовало, что жизнь у обоих сложилась наилучшим образом; и, значит, всё было правильно, и можно по-хорошему порадоваться друг за друга. Витя, правда, немного досадовал в глубине души, что Эля – французская бизнес-леди, а он – какой-то там третий механик, но такое соотношение было у них, пожалуй, всегда, так что и это было правильно... Общаться друг с другом через фэйсбук получалось у них на удивление здорово, весело, вспоминались старые добрые времена – те самые-самые первые, до всех разочарований – так что не проходило и дня, чтобы не обменяться посланиями.

Однажды Эля спросила, нет ли у Вити фотографий зимы в их городе, в их районе. «Знаешь, я не была там уже четыре года, – писала она, – скучаю безумно... Здесь, в Тунисе, не бывает нормальной зимы, всё всегда одинаковое...». Витя, который тогда был дома, в межрейсовом ожидании, привёл свою жену и детей в Лагуну, на заснеженный пляж (его пацаны азартно кормили чаек и всё стремились, к ужасу матери, залезть на обросший сосульками пирс), и нафоткался, нарочито в обнимку с детьми и румяной от мороза Ниной, на фоне бурного серого моря и чаек этих. И вывесил это, недолго думая, на своей странице.

На следующий день, уже с нетерпением заходя на фэйсбук, он увидел, что все Элины послания и фотографии куда-то исчезли – она удалила свой профиль начисто, не простившись. Вот так она пропала опять; а электронными адресами или телефонами они не обменивались.

И Витя спокойно живёт себе дальше, но всякий раз, как он оказывается в рейсе в Средиземном море, ему нет-нет, да и начинает грезиться, что в каком-нибудь из тунисских портов он случайно встретит Эльвиру. Ведь она, по транспортной работе своей, стопроцентно бывает в портах; что же тут, в самом деле, такого уж невозможного?... Так мечтает он, но по тому, что от этих мыслей его неизменно бросает в нехороший жар, Витя понимает, что они греховные. И гонит их от себя.

«ОКОЁМ»

МАРИНА МАТВЕЕВА

НА ВОЛНАХ РАДОСТИ И ЯРОСТИ

О III Международном арт-фестивале «Провинция у моря – 2013»

1. ГИГАНТЫ ПРОВИНЦИИ

Ильичёвск, небольшой город под Одессой, где проходил арт-фестиваль «Провинция у моря», – тихий, уютный, аккуратный и красивый. Городской парк украшен скульптурами и фонтанами, в центре стоит световое пасхальное яйцо – самое большое в Украине, вошедшее в Книгу её рекордов. Днем бывают городские праздники, например, Праздник цветов. А по вечерам – переливы иллюминации придают улицам загадочности и веселья. Веселья доброго, душевного, а не «бессмысленного и беспощадного», как в столицах.

Такой же душевностью отличался и фестиваль. Неудивительно, ведь и красота города и этот праздник литературы – это инициатива и содействие мэра Ильичевска Валерия Яковлевича Хмельнюка, похвалы которому слышны были со всех сторон. Человек, настолько равнодушный к своему городу, литературно образованный, пишущий стихи и понимающий творческих личностей – сейчас большая редкость, и такой не помешает любому городу, где есть поэзия и другое творчество. А оно сейчас на славяноязычном пространстве есть везде.

Большая честь мероприятий фестиваля проходила в Одессе. Однако самые значимые – и самые душевные – принимал Ильичевск.

«Провинция у моря». Три года назад эта строчка из «Писем римскому другу» И. Бродского стала названием арт-фестиваля, объединяющего самые разные виды искусств: поэзию, прозу, музыку, живопись, фотонискусство, танец, перформанс... Перечисление можно продолжать, ибо если чего-то еще не было, то обязательно будет в последующие фестивальные годы.

За три прошедших года «Провинция у моря» стремительно набирала обороты, стирая географические границы, привлекая все больше гостей, участников, зрителей. Свежий черноморский ветер, теплое одесское море (как оказалось, совсем не похожее на крымское), голоса друзей и стихи – все это создавало неповторимую ауру, притягивающую и манящую.

В рамках фестиваля, длившегося с 24 августа по 8 сентября, прошло более 30 разноплановых мероприятий: творческие вечера поэтов, прозаиков, философов, интересные лекции филологов и издателей, мастер-классы, презентации книг и журналов, гала-концерты, слэмы, стрит-чтения (выступления на улице для жителей города), буккроссинг («Оставь свою книгу с автографом и забери понравившуюся»), театральные постановки, а также выставки работ художников, фотографов, выступления музыкантов и танцевальных коллективов, благотворительные акции. Более двух тысяч человек стали участниками этого грандиозного творческого праздника.

Все это было бы невозможным без участия многих людей – равнодушных, талантливых подвижников. «Вы – гиганты!» – с полным правом можно сказать организаторам фестиваля. «Провинция у моря» – это: Южнорусский Союз Писателей, творческий проект «Территория Ы», литературный портал «Графомнам.нет» и литературное объединение им. Домрина (Ильичевск). Отдельно хочется сказать спасибо Сергею Главацкому – председателю Южнорусского Союза – именно его заслугой был стремительный качественный рост фестиваля. А площадка, предоставленная главным редактором литпортала «Графомнам.нет» Алексеем Порошиным, стала виртуальным «домом» фестиваля: там размещались



пресс-релизы, программа, можно узнать все фестивальные новости, найти фотографии, видео, отзывы о прошедшем, о городе Ильичевске, о поэтах и поэзии «Провинции...».

Цель этого грандиозного собрания творческих людей – формирование единого культурного пространства, объединяющего поэтов, прозаиков, музыкантов, художников и фотографов из самых разных географических точек. Если творческие люди собираются вместе, праздник обязательно будет! Будут удивительные открытия и новые имена, будут новые друзья и яркие эмоции.

Новым знаковым элементом фестиваля в 2013 году стал поэтический конкурс, на который свои работы прислали 218 авторов из 8 стран: России, Украины, Армении, Казахстана, Беларуси, Таджикистана, Молдовы и Канады. Первый этап конкурса был дистанционным: члены жюри получили от оргкомитета анонимные работы и отобрали 35 финалистов, и их работы увидели свет в фестивальном сборнике «Провинция у моря – 2013», вместе с работами организаторов и членов жюри фестиваля. Сборник увидел свет также благодаря мэру Ильичевска В.Я. Хмельнику.

Непосредственно на фестивале выявились победители в различных номинациях, список которых представим здесь. Тем паче, что и нам есть, чем гордиться:

ГРАН-ПРИ:

Мария Луценко (Киев, Украина)

Основной поэтический конкурс:

I место – Елена Пестерева (Москва, Россия)

II место – Елена Тихомирова (Москва, Россия) и Марина Матвеева (Симферополь, Украина)

III место – Алексей Котельников (Москва, Россия) и Владислава Ильинская (Одесса, Украина)

Приз журнала «Южное сияние» и Южнорусского Союза Писателей:

Алексей Котельников (Москва, Россия)

Приз портала «Графоманам.нет»:

Юта Валес (С.-Петербург, Россия)

Алексей Котельников (Москва, Россия)

Валерий Ременюк (Выборг, Россия)

Анонимный конкурс одного стихотворения:

I место – Анна Стреминская (Одесса, Украина)

II место – Анатолий Мельник (Марганец, Украина)

III место – Сергей Окишев (Северодонецк, Украина)

Приз зрительских симпатий:

I место – Валерий Ременюк (Выборг, Россия)

II место – Андрей Шадрин (Киев, Украина)

III место – Гурген Баренц (Ереван, Армения)

Poetry slam:

I место – Алексей Котельников (Москва, Россия)

II место – Влада Ильинская (Одесса, Украина)

III место – Анна Стреминская (Одесса, Украина)

IV место – Виктор Шендрик (Артёмовск, Украина)

Поздравляем победителей и желаем им творческих успехов.

2. АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ ПРОВИНЦИИ

Все знают, что «провинция» – понятие не географическое. Мы сами, каждый из нас, создаем тот город, который становится точкой притяжения, культурным центром. «Провинция, – как написал когда-то ильичевский прозаик Дмитрий Фус, – всегда была источником ясных мыслей и непрдуманых историй. Это в ней ещё можно встретить истинные чувства в живой форме и наяву наблюдать неподдельные трагедии. Это уже потом, в столицах и метрополиях, взяв все это в чистом виде, получают модный и гламурный сплав из слов и понятий, именуемый современной литературой, а провинция, как сто, двести, тысячу лет назад, не спеша, искренне и непринужденно, рождает все новые и новые таланты, обнаруживает, казалось бы, известные и привычные, но так никем до конца и неизученные страсти, наступая на те же самые вечные грабли под названием “жизнь”!».

Автор этой статьи уже давно с тихой болью в сердце начала замечать, что чуть стоит проявиться у нас в Крыму – тоже провинции – новому молодому интересному таланту – как уже через пару-тройку месяцев он «сбегает» в Киев или Москву. На самом деле, это легко. Намного труднее остаться – и «двигать»

культуру своего города, реализовывать в нем яркие и сложные творческие проекты, притягивать к нему внимание большого культурного и литературного мира. В Симферополе сейчас такие личности и такие проекты есть. Один из них – «Web-притяжение крымской поэзии и Бардовский видеомост» – возможность общения с творческими личностями любой точки мира. Поэтому любой фестиваль для нас – это возможность разыскать новых участников мостов, новых друзей, коллег. И более всего нами ценятся самые смелые – те, кто нашли в себе силу духа остаться в своей провинции и из этой геоточки общаться с миром: стихами, песнями, видеомостам, социальными сетями, литсайтами, пабликами и т.п. – возможностей сейчас много. Но и не забывать свой город, освещать своим талантом и его.

Талантом организаторов и поэтов Ильичевск осветили Ирина Василенко, Александр Семькин, Ирина Гавлицкая, Александр Бедикян, Андрей Данилишин, Тина Шишканова, Сергей Кравчук и Леонид Кулаковский. Одессу достойно представили Сергей Главацкий, Людмила Шарга, Анна Стреминская, Ксения Александрова, Владислава Ильинская, Юлия Мельник, Валерий Сухарев, Катя Чудненко, Александр Хинт. Были поэты из городов Украины: Киев, Сумы, Северодонецк, Марганец, Харьков, Артёмовск. Россия порадовала гостями из Москвы, Оренбурга, Курска, Выборга. Самым «дальним» участником стал поэт Гурген Баренц из Еревана.

В рамках фестиваля прошла встреча с поэтом и издателем Евгением Степановым (Москва), презентовавшим журналы «Дети Ра», «Зарубежные записки», «Крепятик», «Зинзивер», «Футурум АРТ» и газету «Литературные известия». Он также провел литературный мастер-класс и стал председателем жюри конкурса.

Интереснейшую лекцию «Буквологика – от игры к философии» и свои необыкновенные произведения: палиндромы, анаграммы, фото- и видеопозию – представил поэт и филолог из Курска, член Южнорусского Союза Писателей Александр Бубнов. Особенный восторг вызвала его филологическая игровая песня о букве Ё («Ёфикация»), как оказалось, способная поднимать настроение и даже снимать стресс. Вот что такое сила искусства!

А Крым в этот раз – на 4 последних и самых значимых фестивальных дня – «прислал» 4-х поэтов. Евгения Баранова из Ялты была членом жюри фестиваля и проводила творческий вечер. Автор этих строк совместно с симферопольским поэтом Ириной Сотниковой представили творческую программу «Экзистенция имени меня», имевшую успех и теперь готовящуюся к гастролям в Крыму. Было открыто мною новое крымское имя – феодосийская поэтесса Вероника Батхан – автор глубоких, вдумчивых, исполненных высокой эрудиции поэтических текстов, человек, с которым хотелось бы общаться и душевно взаимообогащаться. Странно, что этот автор до сих пор не была нам знакома – может, не проявлялась в Крыму?

Впрочем, не удивительно. Мне знаком «эффект гнезда» – когда хочется у себя дома жить тихо и спокойно, чтобы тебя никто не трогал, а проявляться и «звездеть» – где-то на чужих территориях, на фестивалях, на гастролях в других городах... «Нет пророка в своем отечестве» – афоризм известный. Где-то далеко ты – «небожитель», а для своей соседки по дому – просто соседка. Поэтому хозяйка гостиницы, где мы жили, так удивлялась, что «звезды и настоящие писатели», подарившие ей свои прекрасные книги, вместе с ней на кухне варят гречку и «чешут языком». Зато как приятен был ее интерес к нашим книгам, то, что она показала их всем своим подругам, и задавала много вопросов, и радовалась, как ребенок...

Но вернемся к фестивалю. К знаковым именам и людям, которых довелось увидеть, и к восприятию их провинцией. Евгения Бильченко, Лев Болдов, Александр Бубнов, Андрей Шадрин, Сергей Окишев, Евгения Баранова, Ольга Ильницкая... О каждом из них можно написать очень много. Мне впервые довелось увидеть харизматичное, выворачивающее наизнанку действительность выступление киевского поэта Е. Бильченко, тексты которой я постоянно читаю в сети. Выступление яркое и просто удивительное – но когда этого много, от него устаешь. Начинает в прямом смысле болеть голова. Возможно, автор будет обижена на меня, но ей хочется посоветовать выступать совместно с кем-то, причем подобрать себе партнера не такого же «надрывного», а в противоположном ключе: поэта столь же сильного, но с теплым оттенком. Возможно, Евгении самой уже давно хочется тепла, но от нее со сцены прозвучала фраза: «От меня привыкли слышать революционные тексты, поэтому...». А почему, собственно? Подстраиваться под тех, кто к чему-то в тебе привык? Такие «почитатели» не дают поэту измениться, даже если он сам о том уже давно мечтает. Впрочем, у Евгении есть теплые и живые тексты, думаю, что они звучат в её концертах, индивидуальных и совместных с самыми различными поэтами и музыкантами, давая понять, что она не «гонит одну волну», а может быть разной. Очень разной. Столь глубокий и талантливый поэт только таким и должен быть.

А теперь о волнах. Эти явления наблюдаются особенно ярко именно в провинции. Где слушатель неискушен ни поэтическими текстами, ни филологическим образованием, ни утонченным писательским снобизмом (здесь – в хорошем смысле). В провинциальных залах поэзия воспринимается не за форму, не за работу над словом, и даже не за смысл. А за ту энергетическую волну, тот посыл, который исходит от выступающего. И на эти волны существует мода. Если совсем недавно была повальная мода на «революционность», силу, мощь, эпатаж, прорывы – и все фестивали буквально купались в этом, как говорится, «неприкрыто балдея», то сейчас все изменилось. Или, как минимум, начало меняться.

На этом фестивале мною было замечено, что поэтов признавали, хвалили, любили и раздавали им специальные призы – за продуцируемые ими волны тепла и доброты. Возможно, именно благодаря такой



харизме своё признание получили Валерий Ременюк со стихотворением о том, что «Анна Каренина могла бы остаться жива», и Мария Луценко. От них действительно исходили совершенно ощутимые потоки тепла...

Неудивительно, что Е. Бильченко и М. Луценко проводят совместные творческие программы – эти два тонких поэта почувствовали друг друга, свои энергетические противоположности, которые создают потрясающий эффект. И гости фестиваля на прощальном вечере, прошедшем на открытой террасе концертного комплекса «Метрополис», не зря аплодировали совместному проекту Евгении и Марии – небольшому поэтическому спектаклю-перформансу под названием «Стрекоза и муравей, или Первая брачная ночь».

Видимо, современный человек истосковался по доброте. Ему надоели ранимые и строитивые «сыночки» и «доченьки»-подростки, каковых являют собой «революционные» поэты. Народу захотелось теплых, основательных, вызывающих доверие, чувство покоя и защищенности «мамочек» и «папочек». Именно таких людей сейчас будут носить на руках все фестивали, особенно в провинции.

А как же поэзия? Чувство слова, умение работать с метафорами? Изживает себя? Нет, в литературе всегда есть и будут компетентные люди, умеющие это оценить. Здесь речь о простом зрителе, его симпатиях и сердечном выборе. Человек не может без внутреннего кумира, и он выбирается сердцем. Поэтому на фестивалях всегда будут любить не мастеров поэзии, а... «ангелов» или «демонов». Харизму и энергетику. И предпочтения – света или тьмы, радости или ярости, неприкрытой жизненной правды в лоб или сочувственного оберегания слушательской психики, отчаяния или надежды – будут меняться. И звездой будет тот, кто научится правильно отслеживать эти волны. Жаль, что всё так просто. А мы ещё наивно думаем, что наша мучительная работа над строкой, над её небанальностью, яркой метафорой и неизбитой рифмой – что-то значит...

Впрочем, значит. Найдется на фестивале место и человекопоэтам (без ангелизма и демонизма). Каждый сможет отыскать себе единомышленников и едиnochувственников. И авангардист, и «простофил», и философ слова и звука, и юная девочка с такими искренними чувствами...

«Испытываю настоящее счастье, когда после фестивального цейтнота, бедлама и дедайна в моей жизни остаются люди-друзья, которые скромно именуются талантливыми литераторами», – написала в резюме член оргкомитета фестиваля, журналистка Тина Шишканова.

И организаторам больше всего хочется, чтобы каждый участник этого действия испытывал те же чувства, чтобы послекусие фестиваля вызывало теплую улыбку и хорошие воспоминания, а самое главное – желание возвращаться. И в город Ильичевск, и на фестиваль. И желание дальше общаться с себе подобными – единомыслящими, едиnochувствующими.

МАРИЯ ЛУЦЕНКО

Киев

КУРИНЫЙ БОГ

Когда выходит боль из берегов,
куриный бог – один из тех богов,
кто рядом в трудный миг, по крайней мере.
Хоть наделён куриной слепотой
и немотой, он – первый мой святой.
А тем, кто верит, воздают по вере.

Он мал, но никому не учит мстить
и что-то в жертву миру приносить.
Пусть он для тех, кто мыслит близоруко,
но Бог другой, который там, вдали,
на зов моей беспомощной земли
в ответ пока что не издал ни звука.

А этот тёплый, маленький комочек
найти себя однажды мне помог
в руинах вер, где камня нет на камне...
И потому его я берегу,
что он один лежал на берегу.
И трудно верить в большее пока мне.



О шёну трётся бога гладкий бок.
 Тем совершенней, тем прекрасней Бог,
 чем меньше разных колкостей и граней.
 И много лет спустя я поняла,
 кого волна морская принесла:
 куриный бог – божок воспоминаний.

Что видно сквозь невидящий глазок?
 Бунгало, неочищенный песок,
 похожий не на золото, на сажу.
 И, разгребая копи гольшей,
 счастливые – как сотни малышей –
 две девочки-сестры идут по пляжу.

Одна кричит: «Нашла, смотри какой!»
 А нынче глянут взрослые с тоской:
 – Куриный бог? Смешная... Вот умора!
 Он понарошку назван божеством!
 А где нашла? – Да там. На Зерновом.
 Давным-давно.
 В провинции.
 У моря.

ВОПРОСЫ РАКУШКЕ

Ты не стала помехой в ботинке у рыбака,
 не стесалась, как сёстры и братья, о гольши,
 ты забила в белесый комочек известняка
 и осталась надолго на донце его души,

как насмешка над планом Создателя – в пыль и прах
 обратить всё отбывшее здесь, на земле, свой срок.
 Ты прозрачна, пуста, и тебя твой покинул рак,
 и какой ты, скажи, в этой вечности видишь прок?

И зачем мы, ракушка, себя сохраняем так,
 чтобы кто-то другой нашу память забрал с собой?
 Бьётся сердце в нагрудном кармане. Звенит пятак.
 Но в отбитое ушко не слышен земной прибор.

МОЙ БОРОД БОЛЕН

Р.М.

Мой город болен. Чем? Поди ты знай...
 Хотя кичится внешней крутизной,
 я вижу: горе города – в разгаре.
 Он плохо спит, имеет странный вид,
 и в нём живущий долго индивид
 свободно может тронуться мозгами.

Он вырван с корнем, как столетний дуб.
 Так вырывают старый мудрый зуб,
 так отнимают родовую память!
 Так стариков швыряют из квартир
 в жестокий мир, в жестокий новый мир,
 где страшно умирать и больно падать...

Мой город груб. Непоправимо груб.
 Дымит проклятой мерзостью из труб,



и смотрит ядовито, зло и чёрство,
 бездействием и страхом окружён...
 А если кто и лезет на рожон,
 карается за глупое упорство.

И, словно недобитые князья,
 бегут его последние друзья,
 но остаются преданные мыши.
 Мой сизокрылый брат сидит в СИЗО.
 Все шепчут, что бороться – не резон,
 большее падать, если лезешь выше.

А мне больней Андреевка моя.
 Фонарь старинный – прошлого маяк,
 над ним закат не поменяют власти.
 Стихи бормочет вечер – вечный Жид,
 и воздух пылью памяти пропит,
 и больно эту пыль вдыхать отчасти...

Мой город плох.
 Но этот город – мой.
 Мне будет тяжело взвалить зимой
 на плечи обездвиженную тушу.
 Как видно, лучше жить в стране олив,
 себя через моря перевалив.
 Но я люблю его больную душу.

ГУРГЕН БАРЕНЦ

Ереван

АГАРЦИН

Как взобрались вы, камни, сюда,
 В эти выси и дали?
 Может, церковь была здесь всегда?
 Песней, птицею стала?
 Время здесь не имеет примет,
 Суета здесь нелепа.
 Ухватиться б за гривы комет,
 Прокатиться по небу.
 Тишина здесь всегда начеку,
 Колченога дорога.
 Уж отсюда я точно смогу
 Докричаться до Бога.

Небо упало вниз
 И обернулось морем.
 Море взметнулось ввысь
 И обернулось небом.
 Какой-то ученый чувак
 Нацарапал резцом на скрижали:
 «Вода в природе
 Совершает круговорот».
 Небо было как небо.
 Море было как море.

И только в глазах поэта
 Небо падало вниз
 И превращалось в море,
 Море взмывало ввысь
 И превращалось в небо.
 Но под рукой у поэта
 Не оказалось резца и скрижали,
 И его не рожденная песня
 Растворилась в высоком небе,
 Растворилась в глубоком море,
 Растворилась в порыве ветра.

На этой земле я увидел
 Мёртвое Море.
 Я ужаснулся и ахнул,
 Но вынес.
 На этой земле я увидел
 Долину Смерти.
 Я содрогнулся и ахнул,
 Но выжил.
 Господи, не приведи мне
 Увидеть осколки неба –
 Меня просто
 На это
 Не хватит...

НИКА БАТХЕН

Феодосия

ПРИБЛИЖЕНИЕ К РОЖДЕСТВУ

Хруст ноября. Листья шуршать устали.
 Мягкий покой им принесут снега.
 Кони бредут – мила пути, верста ли.
 Кровью блеснёт в ухе вождя серьга.
 Как объяснить, что на земле творится?
 Как услышать тихий небесный хор?
 Ждут в сундуке мирра, янтарь, корица.
 Глядя на юг, шурится Мельхиор.
 В праве пустынь каждый шакал – законник.
 Доли воды – сильному и вдове.
 Ветер пустынь бьёт по лицу – запомни,
 Душу свою только огню доверь.
 Там где Мизрах, воины и поэты,
 Там где Магриб – женщины и базар.
 Смирну, сандал, шахматы и монеты
 Прячет в суму яростный Балтазар.
 Сказки лесов помнят одни лианы,
 Мудрость лесов знают одни слоны.
 Палкой в песке чертит меридианы
 Старый моряк – тот, что сошёл с луны.
 Сколько ни спорь, дождь обернётся лужей,
 Даже царю надо снимать венец.
 Едет Каспар, дремлет под шаг верблюжий.
 В ветхой шкатулке ладан и леденец.



...Будет хамсин, звёзды песком закрыло,
Шаг от ворот – и не видать ни зги.
Воткнут в бархан медный значок двукрылый.
Голос внутри криком кричит «бег!».
Соком полны Хайфа и Самария,
Дети играют – как приказать «убей»?
Взор опустив, доит козу Мария.
Сыплет на двор
Зёрна
Для голубей...

ХРОНОСОФИЯ

Уходит время в канотье, в костюме белоснежном,
Уходит в криках и нытье, в пустом и неизбежном,
Уходит письмами в тайгу, плацкартным разговорцем,
Уходит с каждым «не могу», за каждым чудотворцем,
За ветхим шорохом иглы, кружением пластинки,
За вкусом мятной пастилы, за фраером с «Гостинки»,
За чёрным кофеом «о, да!», за россыпью ромашки,
Уходят радость и беда, обиды и промашки.
Минует день, минует век, иными именами
Заполнит новый человек места, что были нами.
И смех, и грех, и дым, и дом, и трепет, и молчанье,
И смена вех, с таким трудом расставленных в начале.
Другую встретят, разлучась, другого ночь разбудит...
Есть то, что прожито сейчас. И лучшего – не будет.

БАЛЛАДА ЭЛЛАДЫ

Одиссей в Одессе провёл неделю.
Семь кругов платанов, притонов, трюмов.
Рыбаки и шляхи, дивясь, глядели
Как он ел руками, не пил из рюмок,
Золотой катал по столу угрюмо,
На цветастых женщин свистел с прищуром,
И любая Розочка или Фрума
Понимала враз, что халда и дура.
Рыбаки хотели затеять бучу,
Но Язон Везунчик сказал ребятам:
«Он кидает ножик, как буря – тучу.
В этой драке лучше остаться рядом».
Одиссей допил свой портвейн и вышел.
Мостовая кладка скребла мозоли.
Вслед за ним тянулся до самой крыши
Резкий запах вёсел, овец и соли.
...Не по-детски Одесса мутила воду.
Он базарил с псами вокрут Привоза,
Обошёл сто лавок питья «под моду»
И казались рыжи любые косы,
Остальное – серое, неживое.
Как твердил напев скрипача Арона:
«Уходить грешно, возвращаться – вдвое».
По пути из Трои – ни пня, ни трона.
Одиссей дремал на клопастых нарах,
Покупал на ужин печёнку с хреном,
Заводил друзей на блатных бульварах,
Отдыхал, и лень отдавала тленом.

«Пенелопа Малкес, бельё и пряжа».
 Завитушки слов, а внутри витрины
 Покрывало: море, кусочек пляжа,
 Козопас и пёс, за спиной руины,
 А по краю ткани волнами Понта
 Синий шёлк на белом ведёт узорик.
 И хозяйка, лоб промокнув от пота,
 Улыбнулась – возраст. Уже за сорок.
 У прилавка тяжело, а как иначе?
 Сын-студент. В столице. На пятом курсе.
 Хорошо б купить уголок для дачи:
 Молоко, крыжовник, коза и гуси.
 ...До утра рыдала на двоюбой койке,
 Осыпались слёзы с увядшей кожи.
 Кабы волос рыжий да говор – койне,
 Как бы были с мужем они похожи!
 Будто мало греков маслиновзорых
 Проходило мимо закрытых окон...
 Одиссей очнулся на куче сора
 Лишь луна блестела циклопым оком,
 Да хрустели стыдно кусты сирени,
 Да шумели волны о дальних странах...
 Сорок зим домой, разгоня тени,
 Провожая в отпуск друзей незваных,
 Памяти пути, покорясь, как птица,
 Кочевые тропы по небу торя,
 Чтоб однажды выпало возвратиться
 В россыпь островов у родного моря.
 Асфодель асфальта, усталость, стылость,
 Узкоплечий гонор оконных впадин,
 И вода на сохлых ресницах – милость
 Дождевых невидимых виноградин.
 И глядишь, как чайка, с пролёта в реку,
 Понимая ясно – не примут волны.
 И зачем такая Итака греку?
 Как ты был никто, так и прибыл вольный.
 Чужаки обжили живьём жилище.
 У былой любви телеса старухи.
 За погост Улиса расскажет нищий,
 Молодым вином освежая слухи.
 Рыжина проступит в белёсых прядях –
 Город, как жена, не простил измены.
 Остаётся плюнуть и палить, не глядя,
 За края обкатанной Ойкумены.
 ...Завтра день светлее и небо выше,
 Завтра корка хлеба прочней и горче.
 Обходя сюжеты гомерьей вирши,
 Парус над волной направляет кормчий.
 И не знаю – будет ему удача,
 Или сгинет в чёрных очах пучины –
 Поперёк судьбы и никак иначе
 Выбирают имя и путь мужчины.

ЮТА ВАЛЕС

Санкт-Петербург

МОЯ РОДИНА

моя Родина – это Невский, Садовая,
 Казанская и Большая Морская,
 помнишь, мы там гуляли с тобою,
 ты держал мою руку, не отпуская



ты шептал мне слова смешные и нежные,
гладил по короткой мальчишеской стрижке,
помнишь, пальто моё было бежевым,
оно так шло к волосам моим рыжим

мы кормили котенка, попали под ливень,
прыгали по лужам, грелись в кафе глинтвейном,
я была счастливой, да, я была счастливой,
на Владимирском и ещё на Литейном

мы с тобой целовались в какой-то арке,
ты читал мне наизусть Мандельштама,
я тебе цитировала Ремарка,
мы ходили смотреть, как цветут каштаны

в Таврический сад, ты меня мороженым
угощал, шутил, не переставая,
эти улицы – вот настоящая Родина,
бесконечно любимая и живая.

ЛЕТО

на дворе вальсирует лето – ан-де-трау,
ты уехал тусить к приятелям на Гоа,
я иду покупать холодную минералку
у старухи нервной с лицом чихуахуа

у меня на эти три месяца планов нет,
мне давно не светят ни Новый, ни Старый Свет,
ни Гоа, ни Канары, где донны всегда готовы
развести туристок на деньги или минет

я, наверное, буду вдыхать городскую пыль,
до июля, а после – в деревню, за сотню миль
от вай-фаев, туда, где призрак ходит по дому,
и ночами стонет, играя в свой Кентервилль

там не ловит мобильный, зато есть другая связь,
то ли дырка в небе, то ли звезда зажглась,
там слова приходят сами и осторожно
на бумагу ложатся, строками становясь

я поеду в деревню писать стихи, а пока
минералку пью и жду твоего звонка,
я ещё надеюсь, что ты поедешь со мною,
я, наверное, дура, дура наверняка.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ

да, я не глушила портвейн по грязным подъездам,
не отоваривала талоны на сахар и мыло,
не торговала причинным местом
в свите очередного демократического дебила

я даже не была пионеркой, хотя
красный галстук вполне идёт к моей белой блузке,
я ненавижу политиков, жалею бездомных котят
и не понимаю, что значит «рок по-русски»



а вы, что носили у сердца комсомольский значок,
прижимались к алому знамени небритой пухлой щекою
и на митингах гневно катали свой желвачок,
а ночами переписывали Гребенщикова

на кассетный «Филипс», что так удачно привёз
ваш солидный дядя из очень дальней поездки,
вы теперь без ума от тонких русских бёрез,
ах, какие у нас холмы, леса-перелески

ах, какие у нас поля, ля-ля, купола,
ах, какие «журль» кричат журавли в полёте,
вы учили меня не врать, и я не врала,
я и вас просила не врать, но вы врёте, врёте.

АЛЕКСЕЙ КОТЕЛЬНИКОВ

Москва

ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ

мимо арки, мимо старых зданий
я спешу... спешу к себе домой.
сани...
ветер...
сани...
стужа...
сани...
под ногами тяжесть мостовой.
эх, дойти б до Площади Восстанья.
только б не упасть на полпути.
сани...
стужа...
сани...
ветер...
сани...
я дойду! я обещал дойти!
там в квартире пятилетний Ваня
спрашивает маму про еду.
сани...
ветер...
сани...
стужа...
сани...
потерпи, братишка. я иду.
мама не ответит и не встанет.
я несусь тебе её «обед».
сани...
стужа...
сани...
ветер...
сани...
а сегодня маме сорок лет.
главное, не потерять сознание.
почему в глазах темным-темно?
сани...
ветер...
сани...
стужа...
сани...



будем жить, Ванюшка, всё равно!
 ты пойдешь на первое свиданье
 сразу, как немного подрастешь.
 сани...
 стужа...
 сани...
 ветер...
 сани...
 отчего в ногах такая дрожь?
 боль в груди, и всё плывет в тумане...
 грейся, Ванька, там, в печи трюмо.
 сани...
 ветер...
 сани...
 стужа...
 сани...
 лишь бы ты...
 дождался.
 лишь бы...
 смо...

ТОГДА...

«...А помнишь, как на островке
 росли песочные холмы,
 как ливни прятались в реке,
 стуча по отраженью тьмы?..
 Как появлялись города,
 в стране осыпавшихся скал?
 Ты помнишь?».
 «Помню, ведь тогда
 ещё никто не умирал».
 «А сено? Помнишь, как оно
 вдыхало сонную зарю,
 и как проросшее зерно
 толкало Землю к сентябрю?
 Как в поле буйствовал прибой,
 Как тени уносились в высь?
 Ты помнишь?».
 «Да, ведь мы с тобой
 тогда еще не родились».

ЗДЕСЬ...

здесь тихо дремлют облака на дне колодца,
 и цапля моется в прохладном хрустале...
 здесь век за веком слёзы раненого солнца
 грибным дождём летят к измученной земле.
 к полям опять спешат ветра с опушки леса,
 и в сотый раз им шепчет сторбленная рожь:
 «скажите людям: вас не ждут в раю небесном,
 ведь рай земной давно “ушёл” за медный грош».
 но здесь, как прежде, над рекой звенят стрекозы,
 парят кресты, в бурьяне прячется зола...
 а по крестам стекают солнечные слёзы
 и застывают, превращаясь в купола.

ЕЛЕНА ПЕСТЕРЕВА

Москва

там где под северным солнцем ребенка отдав карусели
ляжешь на стёртой до твёрдого грунта плешивой траве
быстро привыкнешь к чужому и сладкому звону веселья
вот и не слышишь его – только солнечный шум в голове

там где песок и соломинки камешки утки окурки
время недвижно неслышно никто никуда не идёт
медленно серая хаски плывёт мимо тающей булки
глухие люди негодная псина для средних широт

мир неподвижен огромен но виден в деталях инклюдах
в мелких подробностях разных жуков облаков и планет
ветер поэтому слышно о чём говорят эти люди
жаль невозможно проверить в раю ты уже или нет

Дожить до осени. Дожить до снега.
Потом ещё полгода прожить.
Какое ослепительное небо.
Какие дорогие миражи.

Какая суета нас отвлекала,
А нынче стала песенка легка.
Изящные, как школьные лекала,
Пересекают небо облака.

Стоишь и думаешь одно своё: «Пустое», –
И если что и стоило труда,
Так видеть это небо, золотое,
И облака, которые всегда.

Они сейчас действуют уже
и ты уснёшь покоен и блажен
и ничего дурного не случится
среди закатов ласточек стрижей
и петушков на палочках и спицах

ещё пока акация щедра
и осыпает землю семенами
цикорий синий между валунами
и выжженные солнцем добела
настурции кивают головами

как много дашь ещё раз посмотреть
на то чего и нет уже в помине
там поднимались долгие ступени
гранитные невидные на треть
под бабочками жёлтыми сухими



то серые зѐленые одни
то с бежевыми светлыми боками
там половинки ящериц мелькали
и замирали головою вниз
и крыльями как листьями шуршали

как часто было нечего сказать
но ты ложился закрывал глаза
и речь текла легко и безмятежно
каких-нибудь пятнадцать лет назад
на тех же лежаках матрасах тех же

где кипарисовый кончался строй
кончался день шелковицей густой
и стыло ежевичное варенье
пойдѐм домой теперь пойдѐм домой
успокоительное звукоповторенье

как трудны переходы в высоту
что там за точки тѐмные внизу
что там за мир квадратами расчерчен
любой любой доверившийся сну
неуязвим недвижим и бессмертен

АНДРЕЙ ПОТЫЛИКО

г. Рени Одесской области

ТАКОЕ У БОГА ХОББИ

Да сколько той жизни? Мизер.
Кошлака, где три копейки.
А годы – как мелкий бисер
на нитке судьбы-злодейки.

Да сколько той смерти? Пальцами
всего лишь за нитку дернуть –
и бусинки разлетятся.
Их вечность склюёт, как зерна...

Да сколько там той Вселенной?
Куда – из подводной лодки?
Упрѐмся опять коленками
в утробу, и снова – роды.

Да сколько тех жизней? Мистика?
Эх, знать бы нам в той утробе!
... А Бог вышивает бисером –
Такое у Бога хобби.

ЖИЗНЬ-ТЮБИК

Годы, как лепестки: любит судьба? не любит?
Время срывает их. Маленький холокост...
Выжата жизнь моя. Выжата словно тюбик:
Где-то на полпути в тюбике сплюснен «хвост».

Пасту давил, давил... Пасту давил и чистил
Пятна своих грехов, ржавчину тщетных дел.
И умывался я сладкой водою истин –
Тех, что лукавый мир впарить всегда хотел.



Только ушла вода. Тихо ушла в клоаку.
И унесла с собой сопля, слова, плевки.
Что-то пытался я... Лез зачастую в драку.
Бил, забывал, любил, не подавал руки.

И нажимал опять. И нажимал на тубик.
Белую пасту-жизнь каждое утро жрал.
Думал, что грязь и кровь душу мою погубят.
И без конца с клыков что-то смывал, смывал.

Чистеньким хочешь быть? Только не хватит пасты,
Чтобы стереть, убрать пятна, налет и грязь...
Хватит. Шабаш. Капец. Всё. Надоело. Баста!
Я уйду в народ. Рожей не вышел князь.

ГОРОШИНЫ

Всё, к чему мы прикасаемся, превращается в прошлое,
словно в мифе о Мидасе, где все становилось золотом.
Но зачем оно нам, если в бездну навеки брошены
дни и годы той жизни, где были мы страстно молоды.

Все, с кем мы расстаёмся, превращаются в призраков,
что преследуют нас из той самой бездонной пропасти.
И седины висков – несомненно, немые признаки
лишь прогноза погоды. Кончились наши новости.

Всё, к чему мы устремляемся, превращается в линию –
линию горизонта (но с ней никогда не сблизиться).
А вершины достичь – как сорвать водяную лилию:
она быстро вянет, расставшись с рекой-кормилицей.

Всё, к чему мы прикасаемся, превращается в прошлое...
Не попрёт против Времени, нет на него восстания.
И летят наши жизни в вечность – в стену летят горошины,
чтобы вновь отскочить в надежде на прорастание.

ВАЛЕРИЙ РЕМЕНЮК

г. Выборг Ленинградской области

КАРЕНИНА

Прощаясь на перроне у вокзала, земные завершившая дела, – До скорого! – Каренина сказала и, кажется, увя, не соврала. Сказала так легко и без укора, как будто собиралась жить и жить. И скорый по-казался очень скоро, хотя сегодня мог и не спешить. Да лучше бы он шёл и вовсе мимо – откройте для него запасный путь! Но лязганье колёс неумолимо... Она уже готовится шагнуть...

Я выправлю нелепую брутальность, где с телом расстается голова! Создам альтернативную реальность, где бедная Каренина жива! Войти туда вы нам не запретите, и, в пику зазевавшейся судьбе, скажу я: – Ах, сударыня, простите! Мне кажется, вы будто не в себе... Взмахнут её ресницы, невесомы, улыбка оживит её уста, и мы, как будто издавна знакомы, заглянем в рестораник у моста. На стенах там парящая Аврора, расписан купидонами плафон, и, чтоб не отвлекал от разговора, я выключу мобильный телефон. И где-нибудь в районе полшестого скажу ей без жеманства и манер: – В трагическом романе Льва Толстого вы подали неправильный пример! Судьба вам не представила уступок, не жалилась ни на день, ни на миг, но ваш неосмотрительный поступок десятки на подобное подвиг. И вы меня послушайте, как друга, и это постарайтесь не забыть: и так у нас с рождаемостью туго, так вы ещё смогли усугубить! Простите уж за юмор солдафонский, но истина и в юморе видна: Онегин там, Печорин или Вронский – их тысячи, а жизнь у вас одна!

Закат раскинет розовые перья, качнутся за окошком дерева... Чем больше говорю, тем меньше верю и сам в свои разумные слова. В посуде закопченной и железной нам вынесут картошки и грибов. И скажет



мне Каренина: – Любезный, вы знаете, как лечится любовь? Помогут ли больничные палаты от боли, что терзает и печёт? Любовь неотделима от расплаты, и мне ещё не выдали расчёт! – Потом поправит шарфик от простуды и обратится ласково ко мне: – Спасибо вам! Ступайте с Богом, сударь. Мне не под-
нять рождаемость в стране!

А крыть-то мне, фактически, и нечем, окончилось волшебное кино. Я выйду в разгорающийся вечер и гляну на Каренину в окно. Сидит она, поникнув головою, задумчива, возвышена, тиха... Пускай она останется живою хотя бы в мире этого стиха!

БЕСЕДА

Жил да был один художник, жизнерадостный вначале,
Да с годами потускнели и веселие, и прить,
Но зато он научился разговаривать с вещами,
Так что даже старый зонтик он сумел разговорить.

Он берёт его с собою и гуляет по аллеям
Исторического парка от калитки до пруда,
И беседует о жизни, наблюдая, как алеет
Утонувшая в закате невысокая гряда.

Растопыривает зонтик, если брызнули осадки,
И легко отодвигает надвигающийся фронт,
И тогда-то проявляет потаённые повадки,
И бубнит над головою распоясавшийся зонт:

Где он был и что он видел, как дела и настроенье –
Подбивает помаленьку, непогодюю гоним.
Отличается, однако, небывалым самомнением –
Он в ответе за здоровье тех, кто пользуется им!

Или вот ещё картина: наш художник у камина
И просвечивает красным сухошавая ладонь.
Для него во всех аптеках нет полезней витамина,
Чем мерцающие угли да пылающий огонь.

Он беседует с камином и с поленьями толкует
О сегодняшней печали и бессмысленном былом,
И огонь на то вздыхает, и на вазочке бликует,
И напивает вечер ароматом и теплом.

А приталенная ваза из китайского фарфора,
Нестареющий ребенок, озорная травести,
Замечательный напарник для большого разговора –
Словно ракушка, бормочет, если к уху поднести.

И беседует художник среди бликов, среди пятен
С образцами интерьера в оглушающей тиши.
Он, конечно, не лунатик, не напился и не спятил.
Просто умерли родные.
Не осталось
Ни души.

ЛОШАДКИНО СЧАСТЬЕ

Ни валко, ни шатко шагала лошадка
В коричневой шубке – ну, прям' шоколадка!
Коричневы круп, голова и спина,
За что и звалась Шоколадкой она.
Хотя Шоколадкой прозвали лошадку,
Жилось Шоколадке не очень-то сладко –
Тащился по полю унылый обоз,
Везла Шоколадка с поклажею воз.

Преодолевала бугры и преграды,
 Тащила патроны, тащила снаряды.
 И вот на исходе рабочего дня
 Она повстречала красавца коня!
 Он вышел из леса, таинственный странник,
 Такой белоснежный, как сахарный пряник,
 За что и прозвали его Сахарком,
 А звал его маршал, сидевший верхом.

И стало на сердце лошадкином сладко,
 И сразу влюбилась в коня Шоколадка.
 И выгнула шею, а шея – ого!
 И нежно сказала ему: «И-го-го!»
 А синие дали вдали грохотали,
 Там люди сражались, но это детали.
 Исчезли тревоги и грохот, и гул,
 Когда Сахарок на лошадку взглянул.

И тут же отвлёкся, и тут же забылся,
 И сам он по гриву в лошадку влюбился.
 Сказал «И-го-го!» и другие слова,
 И маршал всё понял, он был голова –
 Не зря же на нём ордена и медали!
 Её распрягли, а коня расседлали,
 А сами поспешно укрылись в овраг,
 Поскольку сжимал окружение враг.

А кони в поля пошагали украдкой,
 Шагал Сахарок со своей Шоколадкой.
 Шагали бок о бок под гром и металл,
 И ветер им гривы в косички сплетал.
 Всё дальше они от людей уходили,
 Снаряды и пули коней пощадил –
 Она не виновна, он не виноват,
 Что люди зачем-то хотят воевать!

Картину такую увидит не каждый,
 Но мне посчастливилось видеть однажды:
 По горному луку, где небо синей,
 Бегут табуны легконогих коней.
 Они жизнерадостны, даже игривы –
 Они шоколадны, но сахарны гривы.
 И нет ни войны, ни оврагов, ни ям...
 Пусть будет удача, хотя бы коням!

ЕЛЕНА ТИХОМИРОВА

Москва

МЕЙДЕЛЕ

Люблю этот дворик, укрытый от всех ветров домами в потёках растресканной штукатурки. Пёстрая стая дворовых котов делит пространство, как шахматные фигурки.

Здесь я бываю нечасто, три раза в год, после звонков с незлобной живой угрозой, в этом дворе семьдесят лет живёт нашей семьи знакомая – тетя Роза.

– Мейделе, ты? Проходи, не мети порог – слышу в который раз и улыбка душит.

Голос её хриловат и лениво-строг. Время дородных красавиц сушит, но остаётся что-то в движеньях рук, и понимаешь – мужчины боготворили. Роза поспешно крошит укроп и лук, переживая «чтоб



синенькие не остыли». Кормит меня, ворчит что «худа, как снасть», перебирает памятных кавалеров, припоминает, как накрывала страсть, но «таки всегда и во всём признавала меру».

– Вы не такие, у вас в голове кино. Бьёте друг друга до смерти, на осколки.

/Роза задумчиво курит, раскрыв окно, ветер играет голубоватой чёлкой/.

Вдруг усмехается, перестает курить и вспоминает братьев, отца и маму – очень легко про них говорит, и не сбивается в мелодраму. Как всё остались в безликом могильном рве, только она уползла, семилетний ужик. Долго лежала, в высокой густой траве, долго скиталась, воду пила по лужам. Как выживала со старым своим котом, даже мышшей, и то на двоих делили...

– Роза, ты твёрже, чем этот дом. Что же за глина, с которой тебя лепили?

Роза перестаёт улыбаться, гладит по брюху седую собаку.

– Мейделе, если не буду над этим смеяться, мне ведь придется плакать...

ДОЛЯ АНГЕЛА

На старой винодельне
в десяти километрах
от Тосканы
синьор Лоренцо
восьмидесяти лет
с явными признаками
былой красоты
в широких плечах
гордой осанке
седых кудрях
с блаженством
на загорелом лице
водит нас
по угольям.
Играя
смуглыми руками
тёмными глазами
быстрой речью
рассказывает
рассказывает
рассказывает
о своём винограднике
тайнах вина
и состязаниях
в перекаtywании
бочек
на городской площади
в последнее
воскресенье августа.
Гид едва успеваеt переводить
но этого и не требуется.
Отхожу в сторону
от нашей группы
осмотреть владенья
старого синьора
залитые благодатным
вечерним солнцем
и подумать о том
какова доля ангела¹
в моем стремлении
вернуться к тебе
и не отпускать никогда.

¹ «Долей ангела/ангелов» называют количество испарившегося за время выдержки в бочках спирта из вина, виски, коньяка.

ЗЕРКАЛЬНОЕ

Качнется время, маятником лун
 опишет по касательной пространство.
 И будет тот, ушедший, вечно юн
 в своём краю незавершённых странствий.
 И будет та, прождавшая дотла,
 по-прежнему красива и желанна.
 И отраженьем тихим в зеркалах
 покажется их мир, простой и странный,
 который места нам не оставлял...
 Мой Одиссей, отравленный презреньем,
 твой парус слишком долго ветра ждал.
 Теперь попробуй вымолить прощенье
 у моря не рассмотренных зеркал,
 где жаут друг друга наши отраженья.

АНДРЕЙ ШАДРИН

Киев

СНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

*И вечер удлинит тени,
 И безнадежность ищет слов.
 М. Цветаева*

Мы уходим в седые воды, мы ищем броды в осколках рая, во
 Благие лета поём куплеты под шелест ветра и сны Цветаевой.
 Понт под ними – как сны Алхимика, лижут чайки снежками белыми.
 Птицы присные, в этой жизни ли, в прошлой были ли вы корабелями?

Всласть затерянный между перьями шахт Донбасса с гуцульской ватрою,
 Как флагштоками, манит доками блудный берег семи фарватеров.
 Не погибнуть бы, где, как в Библии, небо с морем сходилось битвами
 В синь безбрежную, так прилежно и варызг оплаканную молитвами.

Брала трезвыми нас, болезных, и крылья выстригли волнорезами,
 Но влекло нас – прости, о Кронос! – как птиц, живущих своими безднами –
 Вдаль и глубже, и грело души, ведь: вадут на дне есть пучины выспие?
 Чайки, помните? Кто мы, что мы да в тихом омуте позабывшие?

Вновь уходим – не по погоде, и снова рябью знакомой высланы
 Воды быстрые, и неистово вновь зовёт дотянуть до пристани
 Где-то с берега – до истерики – чьё-то сердце. Нет. Не теряй его...
 Но над крышами – еле слышно – ушедших нас отпоёт Цветаева.

БОЛЬНИЦА

Моя больница – всегда со мной.
 В ней станет птица моей женой,
 В ней бонз и нищих повергнет ниц
 Абсурд уколов и капельниц.

Моя больница – эдемский сад,
 Где даже яблоку каждый рад,
 Где доктор прячет в груди змею,
 Где боги плачут – а я пою;



Где в схиме комнат с одной стеной
Иван Бездомный живёт со мной.
И вязнут лица в глухой броне...
Моя больница всегда – во мне.

ПУШКИН

В провинции воздух душен.
На площади – трин-трава.
А свержу – взирает Пушкин
На тех, кто едва-едва

Причесан, благополучен,
От жизни уже устал...
И льют свои слёзы тучи
На каменный пьедестал,

И пьют свои грёзы люди,
И множат благую весть
Для тех, кто в миру – рассуден,
Для тех, с кем почетно – сесть...

В ларьке не хватает пива,
В душе не хватает ска –
И смотрит Поэт игриво
И чуточку свысока,

Но, в камень вгрызая плешу,
Взирает А.С., сидяч,
На тех, в чьих устах навешен
Безмолвный Дамоклов плач,

На тех, кто эпохи ради
Надсадно сверлит умы.
Но кто же его посадит –
Он памятник. Как и мы.

«ЛИТМУЗЕЙ»

«ОНИ БЫЛИ СЛИШКОМ СВОБОДНЫМИ...»

Поэт Николай Степанович Гумилёв имел к нашему городу самое непосредственное отношение: Одесса была отправным пунктом нескольких его экзотических путешествий в страны Африки.

Я назвала свою статью цитатой из воспоминаний В.С. Срезневской – подруги Н. Гумилева и А. Ахматовой. Вот как она звучала полностью: «Конечно, оба они (Гумилёв и Ахматова) были слишком свободными и большими людьми для пары воркующих “сизых” голубков. Их отношения скорее были тайным единоборством – с её стороны для самоутверждения, как свободной женщины, с его стороны – желанием не поддаваться никаким колдовским чарам и остаться самим собой, независимым и властным...».

10 сентября 1908 г. поэт впервые отплыл из Одессы на пароходе «Россия» по маршруту «Одесса – Синоп» (Египет). «Там пробыл четыре дня в карантине. Дальше Константинополь – Пирей. В Афинах 27 сентября осматривал Акрополь и читал Гомера. 1 октября – в Александрии. 3 – в Каире. 6 – опять в Александрии. Посетил Эзбеки, купался в Ниле... Поголодав изрядно... и оставив мысль о путешествии в Рим, Палестину и Малую Азию, куда намеревался попасть, занял деньги у ростовщика и вернулся в Россию...» (из дневника П.Н. Лукницкого). Это был первый приезд в Одессу, город, где начинались его открытия и новые впечатления жизни. Спустя шесть недель, возвращаясь из Африки, он вновь оказался в Одессе.

Мало кто из одесситов до сих пор не знает, что Анна Ахматова (А. Горенко) была уроженкой нашего города, где она родилась 10 (23) июня 1889 г. на 11 ст. Большого фонтана.

А летом 1909 г. под Одессой, в Люстдорфе, на даче тётки Аспазии Антоновны Арнольда она гостила с матерью Инной Эразмовной. Молодые люди были знакомы ещё по Царскому селу, Гумилёв был страстно влюблён в Аню, неоднократно делал ей предложение и получал отказы. И, несмотря на это, он искал встречи с Аней Горенко. Прибыл Николай Степанович в Одессу рейсовым судном из Крыма, где провёл месяц в доме М. Волошина в Коктебеле. Память о встрече с Н. Гумилёвым в Люстдорфе летом 1909 г. сохранилась в дневниках его будущей жены А. Ахматовой (Горенко). А уже в 1910 году 25 апреля состоялось венчание Николая и Анны в Николаевской церкви села Никольская слобода, что находилось возле Киева, где в то время жила и училась Анна.

Свадебное путешествие молодые провели в Париже. «О десятом годе А.А. рассказывала долго и плавно. Сказала, что о двенадцатом годе – о путешествии в Италию – она не могла бы рассказать так плавно. Задумалась, помолчала, добавила: “Не знаю, почему... Должно быть, мы уже не были так близки другу... Я, вероятно, дальше от Николая Степановича была...”» (из дневника П.Н. Лукницкого). Очевидно, что две яркие, гениально одарённые, сильные личности не могут быть рядом длительное время – между ними невозможны гармоничные отношения. Этот брак неминуемо должен был распасться.

Но остановимся всё же на Николае Гумилёве. Тоскуя по «своей Африке», он в том же самом 1910 г. 1 сентября выехал из Петербурга в Одессу. «Затем – морем: Константинополь – 1 октября, Каир – 12 октября, Бейрут, Порт-Саид – 13 октября, Джебда, Джибути – 25 октября.

В ноябре прошёл пустыню Черчер. Достиг Аддис-Абебы... Там его обокрали... Но всё обошлось, т.к. русский посланник в Абиссинии Б.А. Черемзин выручил его... Черемзин жил на территории русской миссии, в нескольких верстах от Аддис-Абебы, и Гумилёв ездил к нему в гости на муле... У Черемзина встречали по-русски и новый, 1911 год...

Из Аддис-Абебы в Джибути опять шёл через пустыню и с местным поэтом ато-Иосифом собирал абиссинские песни и предметы быта.

В конце февраля из Джибути на пароходе через Александрию, Константинополь, Одессу отправился в Россию» (из дневника П.Н. Лукницкого).

До сих пор принято называть Гумилёва «Поэт – рыцарь», «Поэт – воин».

*Я конквистадор в панцире железном,
Я весело преследую звезду,
Я прохожу по пропастям и безднам
И отдыхаю в радостном саду.*

Но исчерпывается ли этими определениями весь масштаб личности поэта? Известно, что в формировании его мировоззрения огромную роль сыграл в своё время Фридрих Ницше и особенно его труд «Так говорил Заратустра». Ученица Гумилева Ирина Одоевцева писала в своих воспоминаниях «На берегах Невы» – она поняла, что Ницше имел на него огромное влияние, что героический трагизм его мироощущения, презрение к слабым, напускная жестокость были им усвоены от Ницше. «И часто потом я подмечала, что он сам, не отдавая себе в этом отчёта, повторял мысли Ницше». Поэт довольно рано создаёт для себя определённый идейный запас, основанный, прежде всего, на книге «Так говорил Заратустра» и на представлениях самых различных (преимущественно французских) деятелей «окультурного возрождения».

И всё же, зачем Ницше нужен был Гумилёву? Для поэта схема Ницше – человек есть лишь ступень на пути к сверхчеловеку – очень хорошо накладывалась на картину движения от настоящего в будущее, к господству расы или касты поэтов-друидов. Это соответствовало ницшеанскому движению к сверхчеловеку, понятному, как принципиально новое существо, перед которым человек нынешний подобен доисторическому человеку рядом с современным.

Конквистадоры, рыцари, капитаны и прочие романтические персонажи обладают в стихах Гумилева почти сверхъестественной силой, волей, страстью. Именно вслед за ними, по их образцу формирует Гумилёв свою поэтическую личность. В его самом первом сборнике «Путь конквистадоров» есть стихотворение «Песнь Заратустры»:

*Юные, светлые братья
Силы, восторга, мечты,
Вам раскрываю объятия,
Сын голубой высоты.
...
Жаркое сердце поэта
Блещет как звонкая сталь.
Горе не знающим света!
Горе обнявшим печаль!*

Есть также вещи, позволяющие понять стремление поэта в Африку. Первая из них – судьба Артура Рембо, с которым Гумилёв чувствовал внутреннюю близость. Не случайно в биографии Рембо африканского периода мелькают те же географические названия и названия племён, что и в описаниях путешествий Гумилёва. Вторая – масонская мифология, предполагавшая в качестве отмеченных для посвящённых высших степеней Смирну и Каир, к которым Гумилёв стремился в первую очередь. И третья – представление в оккультизме и спиритуализме, которым поэт тоже некоторое время увлекался, что Африка является непосредственной предшественницей нынешней цивилизации, и что в различных её культурах сохранились важнейшие остатки цивилизаций предыдущих.

Ранней весной 1913 года поэт готовился в давно задуманную экспедицию по Африке. Он планировал отправиться в порт Джибути, а оттуда по железной дороге в Харрару. 9 апреля он прибыл из Петербурга в Одессу, а 10 апреля он сел на пароход «Гамбов». Ему предстояло осуществление четырёхмесячного путешествия на далекий африканский континент.

14 дней Гумилёв и его племянник Николай Сверчков находились в море. В Джибути прибыли 24 апреля. В Джеде ловили акулу. Это действо изложено в рассказе под названием «Ловля акулы». После Джибути посетили Дире-Дауа и затем Харрар. В мае Гумилёв пишет из Харрара М. Кузмину: «...вчера сделала 12 часов (70 км.) на муле, сегодня мне предстоит ехать ещё 8 часов (50 км.), чтобы найти леопардов... Здесь есть и львы и слоны, но они редки, как у нас лоси, и надо надеяться на своё счастье, чтобы найти их. Я в ужасном виде: платье моё изорвано колочками мимоз, кожа обгорела и медно-красного цвета, левый глаз воспалён от солнца, нога болит, потому что уявившийся на горном перевале мул придавил её своим телом. Но я махнул рукой на всё. Мне кажется, что мне снятся одновременно два сна, один неприятный и тяжёлый для тела, другой восхитительный для глаз. Я стараюсь думать только о последнем и забываю о первом...»

Кроме охоты путешественники собирали коллекции, покупали различные предметы быта, фотографировали. Посещали города и деревни, переходили через пустыню. Вернулись в Россию только 20 сентября.

В первой главе знаменитого «Африканского дневника» Гумилёва нашли отражение одесские впечатления петербургского поэта. Впечатление об Одессе он сам определил как «странное»: «словно какой-нибудь заграничный город, русифицированный усердным администраторам». Образ заграничного города усиливало и впечатление от гуляющей по Дерибасовской публики, напоминавшей ему «парижский бульвар

Сен-Мишель». Психология Одессы для Гумилёва – это «её детски-наивная вера во всемогущество хитрости, её экстагическая жажда успеха».

Когда поэт впервые увидел Чёрное море, сердце его сжалось при виде «бледно-малахитовой полосы воды», дружных стай дельфинов «с лоснящимися спинами» и горящих в небе звёзд. «Неужели есть люди, которые не видели моря?», – торжественно вопрошает Гумилёв. Чёрное море, которое он увидел в Одессе, явилось как бы прообразом его дальнейших экзотических путешествий.

Поиски путей движения от прошлого к будущему, в котором поэтам, по представлению Гумилёва, должна быть отведена важнейшая роль, неминуемо должны были привести Гумилёва в Африку. А вот как звучал завет Заратустры: «...Заратустра был другом всех тех, что совершают далёкие путешествия и не могут жить без опасностей». Поэт Николай Гумилёв в полной мере воплотил этот завет в жизнь, и приятно думать, что Одесса появлялась на его пути не один раз.

Гумилёв любил жизнь, любил людей. Он свято верил в то, что, несмотря на все неустройства и несправедливости мира, во главе человеческого общества когда-нибудь станут поэты:

*Земля забудет обиды
Всех воинов, всех кутцов.
И будут как встарь друиды
Учить с зелёных холмов.*

*И будут, как встарь, поэты
Вести сердца к высоте,
Как ангел водит кометы
К неведомой им мете.*

*Анна Божко,
Ведущий научный сотрудник Одесского Литературного музея*

ЕВГЕНИЙ ГОЛУБОВСКИЙ

ЗАГАДКИ «ОДЕССКОГО» НИКОЛАЯ ГУМИЛЁВА

Где только ни издавал свои книги Николай Степанович Гумилёв?! Естественно, что в Петербурге (первый сборник «Путь конквистадоров, 1905 год), в Париже – на русском языке (второй сборник «Романтические цветы»), третий сборник «Жемчуга» вышел в Москве, затем в Петербурге, а после и в Берлине... Мог бы продолжать и продолжать и при этом упомянул бы, что сборник «Шатёр» вышел в 1921 году в Севастополе, куда поэта увлёл за собой «красный адмирал» В. Павлов, а затем и в Ревеле (ныне Таллинн)...

И – в отличие от Блока, Ахматовой – ни одна книга поэта не была издана при его жизни в Одессе.

Поэт был расстрелян в августе 1921 года по сфабрикованному ЧК «таганцевскому делу». За него ходили просить к Зиновьеву, вроде бы, если это не легенда, Горький просил выпустить Гумилёва у Ленина. Ничто не помогло. Маховик репрессий был раскручен. Расстрел. Оповещение в газете.

Но тут начинаются чудеса.

«Стихотворения», посмертный сборник выходит в Москве, в 1923 году.

Ученики Н. Гумилёва, студии «Звучащей раковины» выпускают в Петрограде в 1922 году книгу своих стихов, ему посвящённых.

И самое удивительное – как только того или другого писателя арестовывали, сажали, уничтожали, – букинистические и антикварные магазины получали списки, изданные Гослитом (читай – советской цензурой), какие книги с такого-то числа следует изъять, уничтожить и впредь не принимать у населения. Я сам читал, держал в руках эти фолианты запрещенных. Так вот, самое удивительное – книг Н. Гумилёва среди них не было. А значит, их можно было покупать в букинистических магазинах, что, кстати, делал и я.

Но при этом, с 1923 года до начала перестройки, ни одна книга Николая Гумилёва на территории СССР не вышла. Так хотели думать идеологические вожди и цензоры. И всё же...

1942 год. Одесса оккупирована румынами. Здесь создается центр Транснистрии, а, значит, румыны загрызают с местным населением. Работают театры, выходят газеты, открыты университет, консерватория, художественное училище.

Никогда и ни где не восхваляя коллаборационистов, с омерзением относился к стремлению лизать зад любому новому начальству, доносить, предавать, жить за счёт чужого горя. А бывает ли вообще горе – чужим?



Но всегда отчётливо понимал, что сотни тысяч ни в чём не повинных людей (в Одессе – более 300 тысяч) уравнивая власть оставила на поругание врагу. В Севастополе это было сделано ещё гнуснее – там уже не мирное население, а войска предали командиры, ушедшие морем из осаждённого города.

Жители городов, оказавшихся в ловушке, продолжали жить. В Одессе, в оперном театре ставились спектакли, в ресторанах пел Пётр Лещенко, молодые поэты начали выпускать свои книги стихов (Орест Номикос, которого когда-то рекомендовал издательствам ещё Эдуард Багрицкий, О. Жданович...). И в это же время стараниями неизвестных мне доброхотов (вот первая загадка) выходят в Одессе две небольшие книги – избранных стихов Сергея Есенина, книги которого после самоубийства поэта печатались крайне редко, и Николая Гумилёва. Почти за семьдесят послевоенных лет мне на Староконке, в руках у продавцов старых книг раз десять попадался сборник «Избранные стихи» Николая Гумилёва. Я открывал книгу и каждый раз видел, что предисловие аккуратно вырезано. А о том, что оно было, я судил лишь потому, что в оглавлении перед гумилёвскими «Капитанами» шла строка «О доблести, о подвигах, о славе...».

Можно было, конечно, улыбнуться тому, что неведомый составитель предпослал стихам Николая Гумилёва предисловие, назвав его, как видно по памяти, чуть искажённой строкой Александра Блока «О доблестях, о подвигах, о славе...».

Но однажды, увидев на Староконке эту книгу, в очень хорошем состоянии, хоть и без предисловия, я купил её для своего собрания книг Н. Гумилёва. И сейчас она лежит передо мной, когда я пишу эти строки.

А может, в каком-нибудь из одесских книгохранилищ есть целый экземпляр, – задумался я. Звонки, звонки, звонки... В Научной библиотеке им. Горького книга отсутствует, в научной библиотеке университета – отсутствует, в фондах библиотек Историко-краеведческого и Литературного музеев книги нет.

Звонки друзьям-библиофилам. В картотеке С.З. Лушника книга указана – без предисловия, в библиотеке А. Чацкого, где сохранился десяток книг, выпущенных в оккупированной Одессе, книга отсутствует, нет её в собрании М.Б. Пойзнера.

Но вот тут мне повезло. К телефонным запросам подключился Михаил Пойзнер и нашёл (!) книгу с тремя страничками предисловия в собрании коллекционера Анатолия Александровича Дроздовского. Позор мне, я не догадался позвонить Толе...

Я прочитал это предисловие сегодняшними глазами. Ничего страшного. В первом абзаце автор говорит о том, что ждёт гибели большевизма, как ждал его Гумилёв.

Прочитал эти строки глазами человека, державшего эту книгу в руках при Сталине, при Берии... Даже то, что саму книгу не уничтожили, не сожгли, а сохранили, вырезав предисловие уже по тем временам – мужество.

Кто же автор этих трёх задиристых, но внятных страниц предисловия, сумевший кратко, но ёмко охарактеризовать поэзию Николая Гумилёва? И это остаётся «загадкой одесского сборника».

Кстати, составлен он добротню. Мне жаль, что составитель не включил в книгу «Заблудившийся трамвай», но такие программные стихи как «Слово», «Мои читатели», здесь есть.

И последняя загадка. Обложка выполнена профессиональным художником. На обложке, по нижним углам по прописной букве «а». Уже давно известно, кто из одесских художников не был эвакуирован, кто преподавал, кто участвовал в двух выставках. Не было среди них с такими инициалами А.А. Но – озарение! Был художник Аристарх Аристархович Кобцев, оформлявший изысканные книги, каталоги выставок ещё до революции. Вглядываюсь, как написано слово «Избранные» – словно из колючей проволоки – и узнаю манеру художника. Но, повторяю, это лишь предположение.

Тоненькая книжка в 60 страниц. Но она выжила, и раньше сегодняшних разрешённых изданий донесла жёсткие и мудрые слова поэта:

*А когда придёт их последний час,
Ровный, красный туман застелит взоры,
Я научу их сразу припомнить
Всю жестокую, милую жизнь,
Всю родную, странную землю
И, представ перед ликом Бога
С простыми и мудрыми словами,
Ждать спокойно Его суда.*

* Сканированные страницы предисловия поэтического сборника «О доблести, о подвигах, о славе...» см. на 3 стр. обложки.

«ШКАФ»

МИХАИЛ БАЛЬМОНТ

1913 ГОД В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ К.Д. БАЛЬМОНТА

к 100-летию событий

Собрав письма, воспоминания очевидцев, материалы газет и научных исследований, я хочу непредвзято показать ранее вместе не собранные, наиболее интересные реальные события в жизни и творчестве великого русского поэта Константина Дмитриевича Бальмонта.

Побывав во многих странах и ознакомившись с образом жизни, бытом, верованиями и культурой народов Африки, Австралии, Новой Гвинеи, Индонезии, Океании, Азии, Бальмонт возвратился в Париж после своего одиннадцатимесячного «кругосветного» путешествия лишь 30 декабря 1912 года. Впечатления от увиденного его переполняли.

Много интересных свидетельств о путешествии поэта, творческих планах, содержат его письма издателям С.А. Полякову и М.В. Сабашникову, профессору, видному этнографу и антропологу Д.Н. Анучину, родственникам и друзьям. Во время путешествия и сразу же по завершении им было написано немало стихотворений, которые впоследствии были включены в сборники «Белый зодчий» (1914) и «Ясень» (1916).

«Бальмонт часто обращался к Полякову с предложениями об издании своих книг. 18 марта 1913 г. Бальмонт уведомлял Полякова: «Я составляю сборник “Образцы поэзии Бальмонта”. Том страниц в 300, из наиболее любимых читателями стихов моих, а равно из наиболее любимых мною, – по несколько стихотворений из каждой моей книги. Сборник должен быть напечатан в большом количестве экземпляров и стоить не дороже рубля. Я полагаю, что такая книга двинет продажу всех моих томов. Сообщи мне, пожалуйста, расположен ли ты издать такой сборник». «Изборник» Бальмонта был издан «Скорпионом» в 1913 г. под более «традиционным» заглавием – «Звенья. Избранные стихи. 1890-1912», тиражом 5000 экземпляров (цена 1 рубль).

В 1911–1913 гг. отношения между Бальмонтом и Поляковым осложнились в связи с печатанием «Полного собрания стихов» поэта. В 1904-1914 гг. «Скорпион» предпринял четыре попытки такого издания, но ни одну из них не довёл до конца, к тому же тома выходили зачастую не синхронно и не по порядку. Всё это в высшей степени волновало поэта и нашло отражение в переписке с издателем. 25 февраля 1911 г. он писал: «Я очень радуюсь, что томы мои наконец пришли в движение, – если они пришли в движение. Ничего нет для меня столь тягостного, как медленность, и неукоснительно буду молить тебя сделать возможное для скорейшего печатания остающихся томов. Буду ждать корректур “Литургии Красоты” и сообщения о судьбе “Злых Чар”. <...> Промежутки между выпуском томов нужны или не нужны? Увы, они будут помимо вопроса об их нужности. Я же лично думаю, что они и для меня и для тебя крайне вредны, ибо, если бы все 10 томов могли появиться сразу, – или хоть приблизительно одновременно, – критика должна была бы о них говорить, хвалебно или бранно, и хвала им или брань – (безразлично) – сильно двинула бы распространение издания. Теперь же критика молчит при выходе каждого тома отдельно». Письмо заканчивается сердечным обращением к Полякову: «Каждое слово привет, которое встречаю в твоих письмах, для меня истинная радость. У меня очень мало людей, которых я по-настоящему люблю, и ты один из этих немногих. Жизнь изменяет и искажает без сожаления, и тем ценнее желание сердца хранить что-нибудь, и тем счастливее сердце, если есть у него несколько образов, которые оно хочет сохранить навсегда».

26 января 1913 года Бальмонт предложил Полякову купить у него право на издание собрания стихов: «...я очень хотел бы остаться поэтом “Скорпиона” на веки вечные, – и это тебе решать, мо-



жешь ли и хочешь ли ты приобрести у меня эти 10 томов в вечную собственность». Поляков отказался от этого предложения <...>. Бальмонту же хотелось увидеть своё собрание полностью завершённым (в одной серии).

6 апреля 1913 года он писал Полякову: «...для меня вопрос о моих десяти томах не есть вопрос о том или ином томе, а о целой эпохе моей жизни и целой полосе русской поэзии, которая была, существует ярко – как зеркало бывшего, и замкнулась. Так – внутренне, так да будет и внешне».

Но Полякову выгоднее было издавать отдельные, наиболее популярные тома Бальмонта. Следствием возникшего конфликта был разрыв на время отношений Бальмонта со «Скорпионом».¹

«Архивные материалы позволяют подробно проследить ход работы Бальмонта над переводом «Жизни Будды» Ашвагоши. Ещё в письме от 17 мая 1911 г. Бальмонт сообщал издателю М. Сабашникову, что перевёл уже треть поэмы Ашвагоши «Жизнь Будды», с которой впервые познакомился два-три года назад. Работая над переводом поэмы, Бальмонт, судя по письмам, углублённо изучал буддологические труды, готовил себя к встрече с «живым» буддизмом в Индии и на Цейлоне. Чтобы понять сущность этой религии и подобрать иллюстрации к переводу, в письме к М. Сабашникову он просил прислать научные книги по буддизму, изданные в России».

В письме из Парижа от 7 апреля 1913 года поэт писал: «Я счастлив мыслью, что Ашвагоша предстанет в достойном лике перед Россией, о которой он не мог предполагать, но которая в 20-м веке, уверен, подарит ему много друзей...».

Завершив перевод поэмы Ашвагоши, Бальмонт приступает к переводу других индийских сочинений. Уже в феврале 1913 года он знакомит Сабашникова со своими новыми планами переводов индийской классики. В июле 1913 года он предлагает издателю перевод «образцовой индусской драмы – Калидасы или Судраки»; в августе уведомляет Сабашникова, что ждёт текст «Васантасэнь», чтобы приступить к переводу; в сентябре сообщает: «Текст «Васантасэнь» Судраки я наконец получил недавно. Я, верно, останусь в России ещё с месяц. А по прибытии в Париж безотлагательно примусь за подробное изучение и сличение текста и первые действия надеюсь доставить тебе по истечении этого срока». Таковы были намерения поэта. Но, очевидно, новая встреча с С. Леви в Париже изменила его планы.

Русского поэта полностью захватила драматургия Калидасы. Письма Бальмонта передают творческую атмосферу работы, когда поэт, по его собственным словам, «был совершенно упоён Калидасой и индусами». В своём письме М. Сабашникову 24 декабря 1913 г. он писал: «Я перечитываю «Сакунталу» Калидасы и, если она мне всегда нравилась, теперь, после более близкого прикосновения к Индии, я от неё в восторге. С истинным увлечением займусь воспроизведением её по-русски. Я вернулся также к занятию Санскритским языком и намерен прочесть с Леви или с другим санскри-

тологом, как «Сакунталу», так и другие Индусские произведения, в подлиннике, прежде чем переводить их. Мне казалось бы поэтому, – и по другим соображениям, что предпочтительнее, для начала, ограничиться одною лучшей жемчужиной, а то, собирая их все (их много!), потонем. Явим одну, а потом – ещё и ещё! Впрочем, просто начнём, а там увидим».

Задолго до выхода «Сакунталы» отдельным изданием (1915) Бальмонт приступил к переводу других драм Калидасы – «Малявика и Агнимитра» и «Урваши». Он регулярно посылал издателю просмотренные корректуры «Сакунталы», списки исправлений и опечаток, с волнением ждал постановки драм Калидасы на русской сцене, обсуждал вопрос об издании трёх драм в одном томе и об авторе предисловия к нему.²

В заметке ««Заморское» путешествие поэта К.Д. Бальмонта» (журнал «Вокруг света», №15) процитированы строчки из письма Бальмонта к профессору Д.Н. Анучину: «Я думаю, что сейчас на всём земном шаре есть только две страны, где сохранилась святыня истинной первобытности: Россия и Новая Гвинея; Индия же, как пишет автор заметки, «не понравилась путешественнику, после России она показалась ему повторением её. «Трижды несчастная страна – безвозвратно пригнетённая», – вот его отзыв о ней».

Далее в заметке говорится: «Из своего путешествия Бальмонт привёз много фотографий тех местностей, где он побывал, а также и много различных предметов домашнего обихода разных диких племён. Все эти коллекции (более ста предметов – М.Б.) Бальмонт пожертвовал Московскому университету. Из всего путешествия Бальмонт вынес убеждение, что человечество в своей истории проходит от ошибки к ошибке, и что теперешняя его ошибка – «порывание связи с землёй и союза с солнцем – есть самая прискорбная и некрасивая из всех его ошибок»...³

«21 февраля 1913 г. был опубликован «Именной высочайший указ правительствующему Сенату (в знаменование 300-летия (Дома – М.Б.) Романовых)», в котором была объявлена амнистия лицам, привлекавшимся за «преступные деяния, учинённые посредством печати». Амнистии подлежали известные писатели и издатели – В. Короленко, М. Горький, К. Бальмонт, Н. Минский, В. Водозов, А. Пешехонов и др.»⁴

С возвращением в Россию Бальмонт задержался до начала мая. Одна из главных причин – подготовка к печати поэмы Ашвагоши «Жизнь Будды» и сборника «Звенья. Избранные стихи. 1890-1912». 5 мая 1913 года в Москве на Брестском вокзале поэту была устроена исключительно торжественная и многолюдная встреча.

Вот что об этом 7 мая в статье «Возвращение К.Д. Бальмонта» писала газета «Русское слово»: «За полчаса до прихода скорого поезда на Александровском вокзале (старое название – М.Б.) собралась порядочная толпа, редкая по своему составу. Литературная и художественная Москва пришла встретить поэта К.Д. Бальмонта, возвращающего-

ся из долгих и дальних странствий. У всех какое-то напряжённое, радостное, весеннее настроение. Среди ожидающих мелькают знакомые лица В.Я. Брюсова, Д.Д. Бальмонта, художников А.В. Средина, Н.П. Ульянова, Б.К. Зайцева, Ю.К. Балтрушайтиса. Много студентов, курсисток. Почти у каждого в руках цветы.

Чуть ли не первым из дальнего вагона II класса выходит К.Д. Бальмонт. Толпа бежит навстречу поэту. Он переходит из объятий в объятия, его целуют, жмут руки, поздравляют. Видимо, он тронут, несколько удивлён неожиданной встречей.

Какая-то барышня первая кидает в К.Д. Бальмонта розу. Это служит как бы сигналом – поэта осыпают цветами весны – ландышами.

Один из присутствующих начинает говорить речь: – Дорогой Константин! 7 лет ты не был в Москве... Но тут вмешивается представитель жандармской полиции, останавливает оратора и заявляет, что, ввиду полученного им распоряжения, он не допустит речей. Вместо речей раздаются долгие, несмолкающие аплодисменты.

Однако члену московского окружного суда П.Н. Петровскому удаётся, передавая букет поэту, сказать экспромт:

*Из-за туч
Солнца луч –
Гений твой.
Ты могуч,
Ты певуч,
Ты живой.*

К.Д. Бальмонт пожимает руку и целует П.Н. Петровского. Затем, окружённый толпой, К.Д. Бальмонт направляется к выходу с вокзала. В вестибюле толпа встречавших значительно увеличивается рядом случайных участников, узнавших о приезде поэта.

У К.Д. Бальмонта в руках букет цветов. Молодёжь просит подарить “на память” цветочек. К.Д., улыбаясь, раздаёт цветы; их буквально выхватывают друг у друга.

Уже на самой площади перед вокзалом Бальмонту снова устраивают овацию; гремят аплодисменты; кричат “ура”.

Бальмонт, приехавший с женою Е.А. и дочерью, садится в автомобиль, машину окружает толпа, чрез открытое окно К.Д. пожимает тянущиеся к нему руки.

Так встретила Москва К.Д. Бальмонта, более семи лет скитавшегося в чужих, далёких землях. Сам К.Д. Бальмонт вынес из встречи особое впечатление: “Это было очень весеннее, свежее и радостное. Так много молодых лиц, и все такие светлые. Мне приятно, я рад, горжусь этой встречей”.

Поэт остановился у своих родственников.⁵

...«Русское слово» напечатало письмо поэта «Привет Москве». «Сколько пытки и боли, – говорится в нём, – сколько безысходной тоски возникает в душе, когда на семь лет оторван от родины.

Можно жить в стране, где люди говорят на таком изящном, красивом языке, как французский <...> но по истечении известного времени, – что мне все эти красоты, я хочу русского языка, который мне кажется красивейшим в мире. Я хочу, чтобы он звучал мне отовсюду, как птичий гомон в весеннем лесу, как всеохватная мировая музыка 9-й симфонии Бетховена, как гул пасхальных колоколов священной, древней, русской, воистину русской, Москвы!!!»

В состоявшейся беседе с корреспондентом «Русского слова» Бальмонт подробно рассказал о своей жизни вне России, о путешествиях и работе. И опять тема языка – чрезвычайно важная для писателя – была затронута поэтом: «За границей мне особенно тягостно было без русского языка. Я вот теперь хожу по Москве и слушаю. И сам заговариваю, чтобы слышать русскую речь... не хватало мне и мужиков, и баб. Сегодня утром пошёл в Кремль, зашёл в Благовещенский собор и там увидел мужиков – тех, кого хотел». Характерно, что мысль Бальмонта была обращена к народу, к простым людям, их языку.⁶

Так началось вхождение Бальмонта в литературную жизнь Москвы и России. В это время в литературе формировались два новых течения, антагонистических по отношению к символизму и друг к другу, – акмеизм и футуризм. Шумные выступления и декларации их сторонников не прошли мимо внимания Бальмонта, но в литературную борьбу он не вмешивался. Что касается некоторых тенденций в теории и поэтической практике новых модернистских школ, то тут не всё было ему чуждо. Ориентация Бальмонта на «явления», а не на мистику, на их непосредственное восприятие и переживание была близка акмеистам, как и обращение к первобытному, первоприродному. Последнее не было чуждо и футуризму («душа стремится в примитив»). В отношении к слову (особенно В. Хлебников), к новациям в области стиха и стихотворной речи (особенно И. Северянин) футуристы не прошли мимо достижений Бальмонта.

Бальмонту ближе были акмеисты. Возникший сразу же после прекращения выхода «Весов» и «Золотого руна» журнал «Аполлон» (1910 – 1917) стал ядром формирующегося акмеизма. Первое время в нём большую роль играли символисты, в особенности Вячеслав Иванов. Бальмонта в «Аполлоне» охотно печатали, там же была опубликована статья Иванова «О лиризме Бальмонта» (1912, № 3-4), поддерживающая его и тонко вскрывающая присутствующую поэту «диалектику изменчивости и постоянства, субъективности и слитности с миром». Внутренняя борьба между символизмом и развивающимся акмеистическими тенденциями закончилась в журнале победой последних. В первом номере «Аполлона» за 1913 год появились сразу две статьи – С. Городецкого «Некоторые течения современной русской поэзии» и Н. Гумилёва «Наследие символизма и акмеизм». Это были манифесты нового литературного течения – акмеизма, пришедшего на смену символизму. Однако о символизме Гумилёв говорил как о «достойном отце», сам он начинал с подражания и перепевов Бальмонта. И хотя в более



поздних гумилёвских «Письмах о русской поэзии» можно найти разные высказывания о Бальмонте, преобладает мнение, что «с него надо начинать очерк новой русской поэзии». С. Городецкий, тоже испытывавший воздействие Бальмонта, в статье-манифесте с уважением говорил о нём как о поэте, который своими «солнечными протуберанцами» вырывался из символических доктрин и в провозглашаемом «адамизме», не без оглядки на Бальмонта, искал «свежесть» в архаическом бытии». ⁶

Артисты Художественного театра прислали адресованную К. Бальмонту телеграмму: «Приветствуем Ваше возвращение на родину. Радуемся, что песни дорогого поэта теперь уже не будут приходиться к нам только из далёкой чужбины, а снова полюбятся среди русских полей и лесов». Подписи: Немирович-Данченко, Станиславский, Книппер-Чехова, Лиллина, Коренев и др. ⁷ А 7 мая Бальмонта уже восторженно принимали в Обществе свободной эстетики (1906-1917), объединившем представителей модернистских направлений. Вот как это описали газетные репортёры (статья «Чествование К.Д. Бальмонта», газета «Русское слово» от 8 мая): «Общество “свободной эстетики” назначило на вчера экстренное собрание для чествования К.Д. Бальмонта. К 10-ти часам вечера Большой зал Литературно-художественного кружка был переполнен членами общества и их гостями. Среди присутствующих – председатель общества В.Я. Брюсов, И.М. Трояновский, писатель Б.К. Зайцев, художники А.В. Средин, Н.Д. Миллотти, Арапов, Дриттенпрейс и мн. друг.

В начале 11-го часа в кружок прибыл К.Д. Бальмонт со своей супругой Е.А. Поэт был встречен долго не смолкавшими аплодисментами. Ему поднесли массу роз, ландышей, черёмухи и бутоньерку из орхидей.

С приветственной речью от имени общества «свободной эстетики» к К.Д. обратился В.Я. Брюсов: «К.Д., несмотря на свою отлучку, невидимо присутствовал на всех наших собраниях. Имя его всегда поминалось, и когда выходили новые его стихи, я счастлив был, – говорит В.Я. Брюсов, – читать их на собраниях общества. И каждый раз в ответ на них раздавались аплодисменты. Тысячи вёрст отделяли Бальмонта от места выражения этих восторгов. Теперь, когда поэт среди нас и может слышать наши восторги, воздадим ему должное».

Собрание, как один человек, поднимается со своих мест, и несколько минут гремят восторженные бурные аплодисменты.

Затем В.Я. Брюсов передаёт приветствие от председателя Общества любителей российской словесности А.Е. Грузинского, который поздравляет Бальмонта с прибытием, как от себя, так и от лица всех членов общества.

От имени Литературно-художественного кружка поэта приветствует И.И. Попов. Он просит гостя занести своё имя в “золотую книгу” кружка, предназначенную для автографов дорогих гостей. К.Д. вносит в книгу следующую строфу:

ЕСТЬ ЧАС

«Есть некий час всемирного молчания...»
Тютчев

*Есть некий час, когда не нужны речи,
Когда весь мир – единый цельный храм,
И ждёт душа с Душою мира встречи –
То час пути от дальних звёзд к глазам.*

К. Бальмонт.
1913. V, 7, 10 час.

Произносятся приветствия от имени издательства “Скорпион”, книгоиздательства “Мусагет”, читается депеша, полученная от Ф. Сологуба и А. Чеботаревской.

Представитель общества молодых поэтов “Лирика” С.Н. Дурьлин говорит: “Приветствую дорогого поэта от лица общества молодых поэтов, которому дороги имена четырёх русских поэтов, имена которых, по странному совпадению, начинаются на букву Б: Бальмонт, Брюсов, Белый и Блок”.

К.Д. Бальмонт отвечает на приветствие словом о зачинателях путей его жизни и творчества: “Я прошёл мой путь, – говорит он, – вместе с тремя людьми, имена которых мне дороги. Эти люди: С. Поляков, В. Брюсов и Ю. Балтрушайтис”.

К.Д. заканчивает свою речь блестящим стихотворением, произнесённым им впервые год назад, на банкете в Париже, когда его заграничные друзья провожали в дальнее странствие. Это стихотворение до сих пор не приводилось в печати и, вероятно, появится в одном из сборников стихов К.Д. в недалёком будущем (стихотворение “Неужели четверть века...” напечатано в выпуске 6 альманаха 2012 г., стр. 223-224).

Некоторое замешательство в собрании вызывает выступление неофутуриста г. Маяковского, стяжавшего известность на диспутах “валетов”. Г. Маяковский начинает с того, что спрашивает г. Бальмонта, не удивляет ли его то, что все приветствия исходят от лиц ему близко знакомых, или соратников по поэзии.

Г. Маяковский приветствует поэта от имени его врагов: “Когда вы, – говорит он, – начнёте знакомиться с русской жизнью, то вы столкнётесь с нашей голой ненавистью. В своё время и нам были близки ваши искания, ваши плавные, мерные, как качалки и турецкие диваны, стихи. Вы пели о России – отживающих дворянских усадьбах и голах, бесплодных полях. Мы, молодёжь, поэты будущего, не воспевали всего этого. Наша лира звучит о днях современных. – Мы слитны с жизнью. Вы входили по шатким, скрипящим ступеням на древние башни и смотрели оттуда в эмалевые дали. Но теперь в верхних этажах этих башен приютились конторы компаний швейных машин, в эмалевых далах совершаются *звёздные* пробеги автомобилей”.

В завершение своей речи г. Маяковский ни с того ни с сего декламирует одно из старинных пленительных стихотворений К.Д. Бальмонта:

*Тише, тише совлекайте с древних идалов одежды,
Слишком долго вы молились, не забудьте прошлый свет.
У развенчанных великих, как и прежде, горды велюды,
П слагатель вещей песен был поэт и есть поэт.
Победитель благородный с побеждённым будет ровен,
С ним заносчив только низкий, с ним жесток один дикарь.
Будь в раскате бранных кликов ясновзрел, хладнокровен,
И тогда тебе скажу я, что в тебе мудрец – и царь.*

После речи г. Маяковского раздалась пшканья и свистки.

В.Я. Брюсов, обращаясь к собранию, говорит, что все собрались приветствовать К.Д., и он надеется, что здесь больше не будет произнесено подобных речей.

К.Д. Бальмонт отвечает г. Маяковскому одним из своих стихотворений, в котором говорится, что у поэта не может быть врагов, что он выше вражды. Гром аплодисментов покрывает слова поэта.

Затем по просьбе присутствующих, К.Д. прочёл несколько последних своих стихотворений, среди них “Семя – зерно”, отрывки из цикла “Крулый год”, несколько строк из “Охоты”, песню слепца из Анайи и мн. др. Все эти отрывки приветствовались бурными восторгами собравшихся. В заключение состоялся дружеский ужин.⁵

И имажинисты приветствовали Бальмонта. Вот, в частности, что вспоминал Рюрик Ивнев: «Вадим Шершеневич – самый старший из имажинистов. Со стихами он начал выступать ещё в 1910 году находясь под большим влиянием символистов.

Первые опыты его были очень слабые и подражательные. А познакомился мы в 1913 году на вечере в честь приезда из-за границы Константина Бальмонта.

Вадим Шершеневич и я читали тогда в честь Константина Дмитриевича какие-то слабые стихи, которые мы сочинили для того, чтобы выступить перед блестящей аудиторией. На этот вечер собралась вся литературная Москва, и мне впервые пришлось выступать перед столь пышным собранием. В эти годы обаяние Константина Бальмонта было столь велико, что помимо честолюбивых желаний прославиться стихами, которые мы в то время считали верхом совершенства, нас заставляло приветствовать К. Бальмонта также и преклонение молодых, начинающих поэтов перед таким светилом, каким являлось тогда на поэтическом небосклоне имя Константина Дмитриевича. На этом вечере Шершеневич объявил о вновь организуемом издательстве “Мезонин поэзии”, которое сам и возглавил с 1913 по 1915 год.

С этого времени Вадим Шершеневич объявил себя футуристом. И издательство его было футуристическое».⁸

Творческие планы Бальмонта после возвращения на родину не укладывались в какое-либо направление, тему, жанр. Он писал очерки о виденном во время путешествия, входил в творчество Руставели, загорелся идеей познакомить русских с индийским театром, стал переводить драмы Калидасы (жил в 4-5 вв.) и, конечно же, писал стихи. 21 августа 1913 года он известил Брюсова:

«Кончил новую книгу стихов, написанную за последние два года. И мысленно ещё в Тихом океане». Речь идёт о ранее упоминавшейся книге «Белый зодчий. Таинство четырёх светильников», созданной в основном на материале наблюдений и впечатлений, приобретённых во время одиннадцатимесячного путешествия. Но не только. Есть в ней и автобиографические мотивы (цикл «Пламя мира»), и философские рассуждения о мироздании, и впечатления от русской жизни и природы, полученные в период пребывания в имении Плесенское близ Наро-Фоминска. Здесь он провёл с семьёй всё лето – с конца мая до последних чисел августа. Несомненно, что книга пополнялась ещё и новыми стихами, сочинёнными и после упомянутого письма к Брюсову.

Летом Бальмонт и Брюсов обменялись не только письмами, но и полемическими стрелами. Поводом послужили статьи Бальмонта в газете «Утро России» за 29 июня и 3 августа 1913 года – «Восковые фигурки» и «Забывший себя. Валерий Брюсов». В них Бальмонт весьма критично оценил прозу Брюсова и переиздания его поэтических сборников. Брюсов ответил статьёй «Право на работу» («Утро России», 1913, 18 августа). Главное в их полемике – полярность взглядов на литературное творчество, на сущность лирической поэзии.

Как правило, Бальмонт не перерабатывал свои стихи, лишь изредка – при перепечатках, внося небольшие коррективы и уточнения. Он считал: «Лирика по существу своему не терпит переделок и не допускает вариантов» («Забывший себя»). С этой точки зрения он осуждал Брюсова, который при переиздании ранних стихотворений внёс в них существенные исправления. При этом Брюсов, отстаивал своё «право на работу», на совершенствование своих произведений, опирался на литературный опыт больших поэтов и писателей. Точку зрения Бальмонта он считал ложной и вредной. Тут схлестнулись, по выражению Бальмонта, «два догмата», и каждый из поэтов остался при своём мнении. Но аргументацию Бальмонта важно учитывать, имея в виду именно особенности его лирики, ориентированной на философию мгновения. Каждое явление, мгновенно схваченное поэтом – лириком, несёт неповторимые переживания; ушедшее мгновение – это «раз пережитое, раз бывшее цельным и в сущности своей неумолимо правдивым», так настаивал Бальмонт в статье «Забывший себя».

По словам Екатерины Алексеевны (жены поэта – М.Б.), Бальмонт правдив не только в стихах, но и в прозе, он «ничего не придумывал», ещё от пережитого, испытанного им, и мгновения действительно играли огромную, хотя не единственную роль в его творчестве. Брюсов видел в Бальмонте только поэта мгновений и провёл это убеждение через все статьи о нём. В Бальмонте, как он утверждал, «истинно то, что сказано сейчас». Вслед за Е. Баратынским Брюсов сам увлекался «мгновением» – недаром у него есть цикл стихов, озаглавленный «Мгновения». Но понимание процесса творчества у поэтов было разным. Об этом верно пишет А.А. Нинов (исследователь – М.Б.), их сопоставляя:



«В лирике Бальмонта автобиографические переживания более непосредственны, а их отражения в стихах предельны во времени с фактическим поводом лирического сюжета. В стихотворениях Брюсова эта связь более опосредствована, чувство потеснено мыслью, доведённой до страсти, переживание усиливается во времени, а не выплескивается импульсивно. “Не живу никогда, не дышу мгновением, – признался как-то в письме к Бальмонту Брюсов. – А после, его вспоминая, постигну. Всё – в воображении и в мечте”».

После летней полемики Брюсов резко отошёл от Бальмонта, их отношения приобрели чисто внешний характер. Он уже давно пришёл к выводу, что Бальмонт сказал своё последнее слово в литературе, и перестал интересоваться им.

На этом, пожалуй, можно поставить и точку в многолетней истории дружбы – вражды двух поэтов. Она не была секретом для современников. Многие из них писали о ревности Брюсова к таланту Бальмонта, о зависти первого к славе второго. Марина Цветаева в статье «Гений труда» противопоставляла их как Сальери и Моцарта (в традиционно пушкинской трактовке). Ещё в 1907 году в дневниковой записке от 20 сентября Волошин, отмечая огромное честолюбие Брюсова, тут же утверждал: «Его мучит желание быть признанным первым из русских поэтов. В этом его роман любви и зависти к Бальмонту. Теперь он считает Бальмонта побеждённым». Но у Бальмонта после разрыва с Брюсовым остались старые друзья – Балтрушайтис, Поляков, Волошин, Сабашников, установились хорошие отношения с Вячеславом Ивановым, который вскоре переехал из Петербурга в Москву. Появились новые знакомые в художественном мире: близко сошёлся с композитором А.Н. Скрябиным, установил контакт с Камерным театром А.Я. Таирова».⁶

В один из весенних дней Бальмонт заглянул в дом своего давнего друга Ю. Балтрушайтиса, «... в котором обычно собирались корифеи русской творческой интеллигенции. Там он впервые и встретил уже ставшего знаменитым композитора Александра Николаевича Скрябина. “...Когда мы протянули друг другу руку, – вспоминал позже Бальмонт, – и заглянули друг другу в глаза, мы оба воскликнули одновременно: “Наконец-то!” Потому что давно мы любили друг друга, не видя ещё один другого. И я угадывал в Скрябине свершителя, который наконец откроет мне те тончайшие тайнодействия музыки, которые раньше лишь обрывками давала мне чувствовать музыка Вагнера, а у него <...> в числе заветных книг были отмечены читанные и перечитанные с карандашом мои книги “Будем как Солнце” и “Зеленый вертоград”...»

И ранняя осень того же года. Скрябинский концерт в Благородном собрании. Скрябин перед побеждённой, но ещё артачливой залой. Скрябин около рояля. Он был маленький, хрупкий, этот звенящий эльф... В этом была какая-то светлая жуть. И когда он начинал играть, из него как будто выделялся свет, его окружал воздух колдовства, и на побледневшем лице всё огромное становилось его

расширенные глаза. Он был в трудном восторге. Чудилось, что не человек это, хотя бы и гениальный, а лесной дух, очутившийся в странном для него человеческом зале, где ему, движущемуся в ином окружении и по иным законам, и неловко, и неудобно. <...> Я сидел в первом ряду, и мы, друзья, устроили Скрябину оваццо. <...> Кружок друзей отправился к нему в дом ужинать. <...> Скрябин сидел за столом, окружённый восхищёнными друзьями, окружённый заботами и вниманием любимой красавицы жены. Вечер был победой скрябинской музыки. <...> Он был весь обрызган откровениями музыкальных созвучий и сопричастием метких, видящих слов, которые возникают импровизацией, когда душа бьется о душу, не как волна о камень, а как крыло о крыло».⁹

«Скрябин любил поэзию Бальмонта, советовался с ним по поводу текста к “Предварительному Действу”, говорил с ним о “световой симфонии” в “Прометее Поэме огня”, о цветомузыке, о мистерии и синтезе искусств. Это была короткая (всего три года), но содержательная дружба родственников по темпераменту и по духу художников двух видов искусств – слова и музыки.

Отклик своим художественным исканиям Бальмонт нашёл и у основателя Камерного театра А.Я. Таирова, который стремился создать новые театральные формы, далёкие от бытового правдоподобия и способные выражать глубокие внутренние чувства и переживания. Во время встреч и бесед с Таировым Бальмонт обращал его внимание на большие возможности индийской драматургии и театра, на использование их опыта в новаторских поисках режиссера. Его поддерживал Балтрушайтис, привлечённый в театр заведовать литературной частью. В результате этих бесед для открытия театра Таирова избрал пьесу Калидасы “Сакунтала”, над переводом которой работал Бальмонт. Бальмонту предстояло продолжить эту работу и совершенствовать текст перевода».⁶

«...6 октября 1913 года, на юбилее “Русских ведомостей” разразился скандал, когда Бунин выступил не с традиционной юбилейно-елейной речью, каких немало успели произнести тут до него. Он заявил, что за последние двадцать лет “не создано никаких новых ценностей, напротив, произошло невероятное обнищание, огульное и омертвление русской литературы”, “дошли до самого плоского хулиганства, называемого нелепым словом “футуризм”. Это ли не Вальпургиева ночь!”. Оказавшийся на заседании Литературно-художественного кружка полицейский пристав, усмотрев в речи Бунина «крамолу», составил соответствующий протокол.

“Прав ли Бунин?” – под таким заголовком газета “Голос Москвы” провела среди писателей анкетный опрос. Вот ответ-возражение Бориса Зайцева, опубликованное 13 октября: “При всём моём глубоким уважении к И.А. Бунину, решительно не могу согласиться с его оценкой литературы (и культуры) нашего времени... Для того, кто осведомлён и не предубеждён, ясно, что настоящая твердыня современной русской литературы – именно её лирическая

поэзия, давшая в лице Бальмонта, Бунина, Блока, Сологуба, Андрея Белого и некоторых других образцы искусства, очень далёкие от улицы и хулиганства”. Эта же газета опубликовала решительные несогласия с Бунинным Бальмонтом, Балтрушайтиса, Брюсова, Арцыбашева.

В. Брюсов заявил, что речи не слышал, так как в этот момент выходил из зала, но в изложении газет “речь была просто вздорной, потому что обнаруживала полное незнакомство с задачами литературы вообще и с развитием русской литературы за последнее время. По этому изложению выходит, будто И. Бунин смешал в одно всё то, что составляет гордость нашей литературы за последнее десятилетие, чем обусловлен, например, давно небывалый у нас (с эпохи Пушкина) расцвет лирики, с явлениями действительно уродливыми и случайными. Но, зная И.А. Бунина как человека умного и следящего за литературой, я не могу допустить, чтобы его речь была передана правильно”.

Однако оправдательные ссылки на неточности газетного изложения никому не помогли: Бунин в следующем же номере “Голоса Москвы” категорично отвёл критику в свой адрес каждого из высказавшихся о его речи. Спор о ценностях истинных и мнимых в литературе того времени, вспыхнувший по конкретному поводу, не погас. Ему суждено было продолжаться еще долго. Более того, волны его докатились и до наших дней, разделяя так же решительно сторонников и противников того нового, что рождалось в искусстве начала века.¹⁰

И здесь просто нельзя не привести воспоминания Л.В. Успенского из его мемуарной книги «Записки старого петербуржца». В них речь идёт всего об одном рядовом выступлении Бальмонта в Петербурге 8 ноября 1913 года. Напомню только, что в это время автору было всего 13 лет.

«...Общество содействовала внешкольному образованию, где председательствовала Анна Сергеевна Милюкова, супруга самого П.Н. Милюкова. Именно в качестве заместителя председательницы упомянутого Общества она (моя мама) была обременена добычей средств для него. Помнится, год назад она устраивала лекцию на модную музыкальную тему – об «Электре» Рихарда Штрауса. Лекция принесла известный барыш.

В те дни из далеких краёв вернулся на родину Константин Бальмонт – фигура, которая вполне могла дать “битковый сбор”: у мамы было верное чутьё на такие вещи. Общество пригласило прославленного поэта прочесть в Соляном городке публичную лекцию “Океания” – он побывал и там. Билеты шли нарасхват: одни жаждали послушать новые стихи того, кто написал “В безбрежности” и “Под северным небом”; другие рвались хоть взглянуть на человека, на весь мир прокричавшего в русском стихе, что он “хочет зноя атласной груди” и намеревается “одежды с тебя сорвать”. Он кричал, а мир в почтительном смущении внимал этому крику: крик казался “contemporain”: “За что-то же его прославляют?!”

Бальмонт дал согласие прочесть одну из трёх подготовленных им лекций, предоставив устрой-

телям выбирать тему. Лекции были “Океания” (он намеревался рассказывать о своих впечатлениях от Полинезии, а точнее – от маориек и самоанок, так как, по его собственным словам, “во всех краях вселенной” больше всего и прежде всего его “привлекала женщина”), “Поэзия как волшебство” и “Лики женщины”.

Поразмыслив и опасаясь скандала – “Лики женщины?.. Гм-гм! О чём же это?”, – устроительницы остановились на первой.

Поэт высказался в том смысле, что это ему – решительно всё равно; он потребовал только – странно! – чтобы в момент начала лекции на кафедре перед ним лежали цветы: “Мои цветы! Дьяволоподобные цветы: розы, туберозы и мимозы!».

На скромных интеллигенток-устроительниц пахло таким изыском, таким “безднами”, что всё было брошено на добычу “дьяволоподобной” ботаники. Помню, как из дому, где повсюду уже и без того валялись горами пёстрые афиши, билеты, программы с отпечатанными на верхней страничке синим цветом по кремовой бумаге маорийками, трущимися носами вместо приветственных поцелуев, – меня неустанно гоняли по маминим ретивым помощницам – то к некоей Марии Ивановне Стабровской, жене политкаторжанина, жившей в лихой студенческой нужде, но бодрой женщине; то к могучей, чёрной, басистой и непрерывно курившей Верочке Вороновой, эсдечке, в конец Пятой линии; то к некоему Стасю, студенту-юристу, который “для дела всё может”. Наконец и с цветами всё оказалось в порядке.

Я направлен на главную лестницу Соляного городка (на Фонтанке у Цепного моста) и поставлен там на пост. Я понял из разговоров, что избран занимать именно этот пост билетера потому, что, поставь сюда кого-либо из студентов, он пропустит уйму своих коллег, “а у Льва, слава богу, пока ещё никаких таких знакомств нет”, и Лев будет беспристрастным и бдительным. Я намеревался это мнение всецело оправдать. <...>

Народу было великое множество; прямо-таки “весь город” возжелал видеть и слышать Бальмонта. Я надрывал билеты, свирепо отвечал, что никакие записки и контрамарки недействительны, и, поглядев на мою тринадцатилетнюю физиономию, даже самые дошлые проникали видели, что перед ними не юноша, а мальчишка, что мальчишке всё – тринтрава, и что, как какой-нибудь бультерьер, он костьми ляжет, но без билета (или двоих по одному билету) никого не пропустит. Ни самого бородатого профессора, с золотой пепелочкой по жилету. Ни нежнейшую деву. Ни опытную дамочку, у которой в прошлом сотни прельщённых контролеров. То-то мне было дело до самых выразительных взглядов таких дам! И профессоров я видел дома, за чаем, десятками!

Должен признать, именно Бальмонт, а не Пушкин, не Лермонтов, не Некрасов, вдруг года два назад до этого вечера за какие-нибудь пять минут показал мне, что такое поэзия.

Я до того читал множество всяких стихов. Я сам “сочинял стихи”, и не так уж плохо. Но мне и



в голову не приходило, что существует нечто огромное и великолепное, имя чему – поэзия.

Мне купили какую-то новую хрестоматию по литературе. Там среди других были напечатаны два стихотворения Бальмонта: “Свеча горит и меркнет” и “Всё мне грезится море, да небо глубокое”. Первое мало чем отличалось от многих прочих стихов; хотя всё же – я запомнил его с первого же прочтения. Дочитав до конца второе – “и над озером пение лебедя белого, точно сердца несмелого жалобный стон”, – я вдруг раскрыл глаза и рот и – замер. Я не могу объяснить, что со мной в этот миг случилось, но я вдруг всё понял. Понял, что стихи и проза – это не одно и то же. Понял, что поэзия – трудное и страшноватое дело. Понял, что она – прекрасна и что с нею в душе можно жить.

Я через всю жизнь пронёс благодарность Бальмонту за это странное откровение, за первое пробуждение моей души к поэтическому слову: он открыл мне и Некрасова, и Лермонтова, и Тютчева, и всех вплоть до самого Пушкина. Так маленький ключик может отомкнуть огромную, тяжелую дверь.

Мне было обидно, когда о Бальмонте перестали говорить, а только махали рукой: “Топор зажаренный, вместо говядины!”. Я радуюсь, что его вспоминают теперь, потому что я вижу: из фолиантов невыносимой толчи слов можно и нужно выбрать у него сто, сто пятьдесят, двести великодушных стихотворений. И это будет он. А разве сто хороших стихотворений – мало?

В 1913 году я очень любил Бальмонта. И вот теперь я могу рассказывать дальше!

Когда зал был заполнен и переполнен, меня сняли с поста, и я ринулся на отведённое мне приставное место. И присоединился к собравшимся, потому что до начала лекции остались уже считанные минуты.

Однако моя торопливость оказалась напрасной: Бальмонт не появлялся. Поклонницы время от времени начинали аплодировать мягкими ладошками, покрикивать: “Бальмонт, Бальмонт!”. Сзади студенты уже пробовали постучать ногами. Вышла очень взволнованная Мария Ивановна Стабровская; дрожащим голосом сообщила, что, по ошибке, шофёр таксомотора, посланного за поэтом, подвёз его не к тому подъезду; что его ведут сюда “по заданию”, что он сейчас появится.

И вот в дверях, в торце зала против эстрады, показалась удивительная процессия. Впереди, и намного обогнав остальных, шествовал студент Станислав Жуковский, высокий, прыщеватый, с маленькой всклокоченной бородкой; он быстро шёл, неся перед собой, как какие-то странные знаки “грядущего вослед”, две неожиданно большие резиновые калоши на красной байковой подкладке. Он нёс их на вытянутых руках, на его лице было отчаяние. Он умирал, по-видимому, от сознания комичности своего положения и мчался весь красный, торопливым шагом. За ним бежала как-то оказавшаяся уже там Мария Ивановна, таща тяжёлую мужскую пубу, меховую шапку и, поверх них, ещё дамскую пубку. Далее, сердито насупясь, следовал маленький человек в чёрном то ли фраке, то

ли смокинге – не скажу сейчас, – с красным вязаным кашне вокруг горла, концами по фраку, потом тоненькая женщина, потом два или три человека из растерянных устройствелей...

Поднялся шум; ряды вставали – не из почтения, – чтобы увидеть этот крестный ход; слышались приглушённые смешки, но кто-то захолопал в ладоши, и смешки “перешли в овацию”...

А я, поражённый до предела, ел глазами Бальмонта. У меня составилось не совсем реалистическое представление о том, как должен выглядеть поэт.

Одухотворённым, по-особому красивым я ожидал увидеть и Бальмонта: сама фамилия его звучала как гонг; каким же должен был быть её носитель?

А теперь по бесконечно длинному проходу между креслами и стульями главного зала Соляного городка сердито шагал маленький человек с огромной головой. Она казалась огромной, потому что над его розовым, как телятина, лицом странным зонтом расходились далеко вниз и в стороны длинные, рыжие, мелко гофрированные волосы. Маленькие глаза смотрели гневно вперёд; крошечная ярко-рыжая бородка под нижней губой обиженно и капризно подергивалась... А впереди плавали сквозь море аплодисментов большие добротные калоши фабрики “Треугольник”...

Я не знал, что и подумать и куда девать себя...

Но ещё минута-другая... Аплодисменты поде-йствовали. Бальмонт, явно умгчённый, появился на кафедре, заметил лежавшие там «дьяволоподобные цветы», улыбнувшись понюхал по очереди и розы, и туберозы, и мимозы...

Лекция началась.

Странное и зудящее произвела она на меня впечатление. С одной стороны, всё в ней волновало, всё живо затрагивало меня. Этот рыжий чудак только что плывал по Тихому океану, между похожими на райские сады островами. И «самоанки с челнов» возглашали в его честь: “Бальмонт, Бальмонт!” (он сам тоже делал ударение на “а”).

А я увлекался до осатанения географией, да нет, не географией – образом мира, космоса, вселенной; как я мог не восхищаться им? Я и про Полинезию уже читал книжку Бобина; милотики таитянки и маорийки давно восхищали меня.

В то же время человек этот читал стихи, значит, бил меня по самому чувствительному нерву. И читал он отлично, невзирая на ужасную картавость, на то, что не произносил ни «эр», ни «эль», вместо «эль» выговаривая «у», а из «эр» делая нечто громоподобное, скрежещущее...

Он прочёл тогда, между другими стихотворениями, удивительную «Пляску»:

*Говорят, что пляска есть молитва,
Говорят, что просто есть круженье,
Может быть - ловитва или битва, –
Разных чувств движеньем выраженье...
Говорят – сказал когда-то кто-то, –
Пляшешь, так окончена забота...
Говорят...
Но говорят,*

*Что дурман есть сладкий яд,
И колы пляшут мне испанки, –
Счастливы я...*

Трудно было в те годы указать другое стихотворение, в котором так свободно, с такой откровенной радостью, техникой стиха поэт передавал бы технику танца, ритмом слова – ритм пластический... Я не умел тогда говорить подобные слова, но ощущать удивительное владение звуком, пляшущим и раскачивающимся, я уже мог.

*Убеганьям кончен счет, –
Я – змея,
Чет и нечет, нечет-чет...
Я – твоя...*

Зал грохотал. Кто-то “возглашал”: “Бальмонт! Бальмонт!” “дьяволоподобные” девы ломали под сиреновой кисеей рукавов декадентски мягкие и полные, как бы бескостные, руки, и герою дня быстрыми шагами, так сказать “на бис”, вышел уже не к кафедре, а к краю эстрады:

Рхтом, от бетеля кхасным...

Маленький, в чёрном, таком не самоанском, не индонезийском, таком среднебуржуазном своём костюме, краснолицый, с волосами совершенно неправдоподобными по “устройству” своему, над протягивающимися к нему руки унитанными молодыми женщинами он думал, что может силой слова превратиться в “жреца”, в первобытного дьяка, в сверхчеловека, для которого “пол – это всё”. Картавость его уснадилась: слова вскипали на губах почти неразборчиво:

*Рхтом, от бетеля кхасным,
Рхтом, от любви заалевшим,
Рхтом, в стхастях полновуастным,
Рхтом, как пудом созхревшим, –
Она меня напоюа.
Она меня заласкуа.
И весь я – гохрящая сиуа,
И весь я – «Ещё! Мне мауо!»*

Девы и дамы в угаре рвались на эстраду. Кто-то нёс ему цветы. “Горящая сила”, сам загнипотизированный своим успехом, стоял, странно миниатюрный на сцене, смотря в зал. Ему явно “*быуо мауо*”... Я очень любил вот этого Бальмонта...»¹¹

«После лекции и оваций Бальмонт в сопровождении свиты (хроникёр газеты охарактеризовал её как состоявшую из “профессоров и писателей”) отправился в литературно-художественное кабаре “Бродячая собака” на Михайловской площади, где уже готовилось чествование редкого и дорогого гостя. Путь, в принципе, недолгий и приятный, но погода в этот день оставляла желать лучшего, поэтому, похоже, романтической прогулке вдоль Летнего сада они предпочли извозчика. По случаю ожидаемого напыльва народа, фейс-контроль “Собаки”, и

без того традиционно жёсткий, был ещё усилен: “Вход был обставлен особыми строгостями”... Среди присутствовавших были князь В.В. Барятинский, Фёдор Сологуб с Анастасией Чеботаревской, Анна Ахматова, певица Зоя Лодий, профессор Аничков, критика С. Адрианов и другие.

Бальмонт спустился в переполненный зал и его приветственные слова утонули в шуме оваций. Первым с кратким спичем выступил на правах хозяина основатель и директор “Собаки” Борис Пронин; дальше говорил Сологуб, с учительским педантизмом вернувший стихию праздника в русло регламента. Наскоро избрали председателя – им по обыкновению стал Аничков, который сходу произнёс высокаторжественную речь. Сологуб сказал экспромт:

*Мы все лаем, лаем, лаем,
Мы Бальмонта величаем,
И не чаем, чаем, чаем,
Угощаем его чаем,
И “Собаку” кажем раем...*

Бальмонт немедленно продемонстрировал, что в далеких странствиях импровизаторский талант отнюдь не потускнел:

*Всегда я думал, что собака
Не совместима с тем, кто – кошка
Теперь я думаю иначе
И полюбил уже немножко...*

Стихотворный диалог продолжался, но, увы, несколько реплик утеряно едва ли не безвозвратно; цепкая память репортёра сохранила ещё одну, сологубовскую, посвящение “Живой собаке, приласканной К. Бальмонтом” (в подвале обитала одна настоящая собака, “лохматая белая дворняжка Бижка”):

*Не все на свете вой и драка,
Не вечно в тучах горизонт,
Залает ласково собака,
Лишь приласкай её Бальмонт.*

Далее молодые поэты читали стихи, посвящённые Бальмонту (собравшимся запомнились декламации Городецкого и П. Потёмкина), потом длинную речь говорил Кульбин. Тем временем подошла новая группа гостей: после окончания спектаклей в подвал съезжались актёры и примкнувший к ним композитор Цыбульский. Началось пение и музыка.

Утомлённый <...> вниманием, г. Бальмонт сошёл с возвышения и удалился в соседнюю комнату. Тут к нему подошёл, между прочим, Пётр Морозов и торжественно стал объяснять свой титул.

Бальмонт спросил его имя. Услышав его фамилию, он принял его за поэта Николая Морозова и стал говорить о “Звёздных песнях” (книге стихов Н. Морозова – М.Б.).

Пётр Морозов отвечал, что он любит эту книгу, и опять стал объяснять очень длинно, кто он.



Г. Бальмонт предложил тост. Г. Морозов стоял. Потом они сели друг против друга и заговорили по-испански.

Бальмонт говорил быстро, но видя, что его собеседник плохо понимает, прекратил беседу, сказав: «Мне не нравится ваш голос».

Г. Морозов не отставал от поэта и оборонил фразу: «Лично я вас не знаю. Нет, не знаю. Но как поэта люблю».

Вдруг подошёл какой-то молодой человек и, бросив бранное слово, плеснул в Бальмонта вином. Поэт встал. Сидевшие с ним рядом бросились на молодого человека, который в это время напал на Бальмонта и уронил его пенснэ. Произошла безобразная сцена. Оскорбитель был повален и жестоко избит. Дамы упали в обморок. Бальмонт сказал: «Оставьте его и дайте мне стакан воды».

Молодой человек, тотчас выведенный из подвала, оказался сыном Петра Морозова.¹²

А вот что писал об этом визите Бальмонта в столицу популярный журнал «Солнце России»: «Петербург посетил поэт Бальмонт, лучезарный певец Солнца. Поэт не был в России 8 лет (неточность – 7 лет – М.Б.), и его возвращение есть прилётной птицы, той птицы Альбатроса, о которой поэт пел недавно в своей мистерии «Океания». Бальмонт, оторванный от России, увлекался дивным солнцем Италии, пел свои песни где-то далеко на Яве, где так много яванской музыки. Поэт говорит очень подробно о своих впечатлениях от Петербурга. Он очарован фантастикой нашей столицы, его увлекают внезапные улицы, неожиданно изрезанные каналами, и вовсе не пугает отсутствие солнца. Солнца много у него в душе, которая дарит ему источник волшебных эмоций».

«Петербург меня поразил. Я в Петербурге был когда-то давно. Я жил здесь, но сейчас мой приезд даёт мне много радостей, не говоря уже о том, что в этом чудном Петербурге я встретил так много любви, необходимой для вечной души поэта. Я изумлён: Москва холоднее Петербурга. Там и люди не те, там нет того искреннего пафоса в отношении к искусству, какой сообщился мне здесь».

Комплимент Бальмонта по адресу нашей столицы должен радовать нас, особенно ещё потому, что Бальмонт забывает те маленькие неприятности, которые причиняет ему масса поклонников и поклонниц знаками внимания своего. Внимание это заключается в бесконечном присыле множества писем и цветов, и что хуже всего – личном посещении. Поэт получал в день до 20 писем, читает эти послания у себя в номере, за завтраком в ресторане, в промежутках между первым и вторым блюдом и даже во время гуляния. *Чрезмерное* поклонение Бальмонту принимало угрожающие размеры для его творческой работы и в Париже. И поэт вынужден был перенести свой рабочий кабинет наверх, этажом выше, к самому солнцу. Бальмонт очень любил музыку и говорит о ней с восторгом.

«Музыка пленила меня давно. Я сроднился с музыкой, когда был мальчиком, и играл на гитаре, перебирал осторожно непослушные клавиши ро-

яля и слушал... Но когда стал взрослым – все душевные настроения мои перешли на сторону слушателя музыки, а не исполнителя. Я поклонялся и поклоняюсь Вагнеру. Это – мой Бог. Но должен сознаться, что за последнее время, моя чисто религиозная фантастичность к музыке Вагнера немного изменилась, и в этом кощунстве виноват не я, а Скрябин».

*Вагнер и Скрябин – два гения
Полного, страстного пения.
В одном есть дразненье струи
В другом все хотенья мои.*

К. Бальмонт.
1913.11.12/13

И если бы, неведомый, злой дьявол хотел бы сжечь всех композиторов мира, мне чудится я отстоял бы этих двух великанов божественной музыки».

В музыке Скрябина поэт находит не только новое в приёмах творчества, но гениальность, которая покоряет его. Он слушал много музыки во время путешествий своих у коралловых рифов и в храмах у островов Новой Зеландии, у пещер Ван-томо, у островов Тихого океана, и его поражает, как Скрябин интуицией воспринял и передал сложные гаммы неведомой ему восточной музыки. Следует подчеркнуть, что К.Д. Бальмонт не энтузиаст, а всё, что он говорит, это есть восторг, спаявший все его чувствования в одном крике жизни. В его словах – изумительный каскад неожиданных образов, его речи – импровизация на самые возвышенные, благородные темы. От музыки поэт переходит к поэтам и современной поэзии.

«Брюсова я люблю – и только. Сологуба я люблю и глубоко уважаю. Это один из больших поэтов, который так чуден в своей отвлечённой поэзии. Сологуба интересуют миры, и нередко в небольшом восьмистишии его находишь огромные замыслы и поразительно глубокое движение души. Мне мил и дорог Сергей Городецкий. Я его уважаю и очень люблю. Я с ним переписывался давно, ибо по стихам мы друзья ещё до нашей встречи, а познакомился я с ним у вас в Петербурге, и мы уже на «ты». Говорят, что я не особенно любезен с посетителями. Это неверно».

Но сознаюсь вам откровенно, что в Париже мне пришлось у дверей своей приёмной воздвигнуть баррикады. Я говорю это серьёзно...»

Мне невольно припоминаются слова Мережковского о Леониде Андрееве: «Леонид Андреев, как ивовая жёрдочка в обезьяньих лапах. Обезьянья нежность. Обезьянья лютость». И Бальмонт – это солнечный певец, одинаково любящий всех алчущих солнца, сам чуть не сделавшись жертвой рвущихся к Перуну – Солнцу... Пребывание поэта у нас в столице ознаменовалось чествованиями, к которому примешался нелепый и непонятный инцидент. Как известно читателям – в интимном подвале «Бродячей Собаки» какой-то негодяй в стремлении «быть дерзким», оскорбил нашего дорого гостя. Эта дикая выходка, казалось, должна была быть изгнан-

ной из умов присутствующих, “Бродячей Собаки” в недостаточной осмотрительности, при организации чествования Бальмонта. Пишущий эти строки имеет, однако, очень веские данные, для утверждения, что Бальмонт совершенно не задет этой выходкой, что, конечно, вполне естественно. Поэт был опьянён не от вина, а от того радушия, которое проявили к нему собравшиеся на чествование... Импровизированный концерт артистов, так горячо отозвавшихся на прибытие Бальмонта в их кружок, извивающиеся гирлянды цветов, которыми поэт был окружён, его любимые мимозы, которые подносили ему поклонники и поклонницы, разувая секретную слабость поэта к этим цветам, и, наконец, экспромты Сологуба, Городецкого, Потёмкина, профессора Аничкова – всё это пьянило и воодушевляло возбуждённого поэта на солнечные песни. И он пел, пел стихи свои, напоённые солнечным зноем, влюблённостью и красотой маорийских стран... Нет, поэт остался равнодушен к выходке сумасшедшего футуриста и отмахнулся от этого инцидента, как от зелёной вонючей мухи... Больше того – поэт, как нам достоверно известно, далеко не на стороне группы уважаемых писателей, выступивших с “письмом”, порицающим устроителей чествования. Об этом он говорил и Сологубу. Бальмонту понятно их доброе намерение негодовать и возмущаться происшедшим, но протестующие не знают хорошо глубокой души поэта.

“Если при мне кого-нибудь оскорбили – бы”, – говорит поэт, – “я бы встал во весь рост и нашёл бы подходящий жест для защиты оскорблённого, но когда хотели обидеть меня, я не счёл возможным и нужным оскорбляться. Я забыл об этом, а газеты напоминают и говорят о том, чего не было. Обиды нет, её и не могло – быть...”

И Бальмонт уходит от этой темы и в чудесной парфразе передаёт впечатления свои от путешествий, среди лиственных сосен Каурия, среди исполинских папоротников у кипящих озёр. Он весь ещё во власти тех переживаний, которыми его поразило недавнее путешествие. И вскоре мы услышим и прочитаем его восхитительные, лучезарные песнопения, его маорийские сказки, сказания, где все наполнено воздухом, морем и солнцем...

Призыв к солнцу – вот Бальмонт!¹³

В своём эссе «Три встречи с Блоком» Бальмонт так вспоминает о второй встрече, которая произошла в 1913 году (в десятых числах ноября – М.Б.), в книгоиздательстве «Сирин» в Петербурге: «Вторая встреча, когда он сидел в углу молча и мы обменялись лишь двумя-тремя словами, всего красноречивее сейчас поэт в моей памяти. Я никогда не видел, чтобы человек умел так красиво и выразительно молчать. Это молчанье говорило больше, чем скажешь какими бы то ни было словами. И когда я ушёл из той комнаты, а близкая мне женщина, бывшая в той же комнате, ещё оставалась там около часу, Блок продолжал сидеть и молчать, – и вот, чуть не через десять лет после того дня, вспоминая о той же встрече, эта женщина говорит, что, уйдя, она отдала себе отчёт, что Блок ничего не говорил, но что это молчанье было так проникновенно, оно

было такое, что ей казалось, будто всё время между ею и им был неизъяснимо-значительный глубокий разговор».¹⁴

В ноябре 1913 года в Санкт-Петербурге, впервые после возвращения, Бальмонт встретился со своим сыном. «Николаю в то время шел 22-й год. “Я счастлив, что тебя увидел, – писал Бальмонт сыну 19 ноября. – <...> Много раз за эти годы я вспоминал лик ребёнка, думал, что юноша – уже вот. И я сомневался в нашей встрече, и я болел ею, – ты подарил мне радость душевной красоты и полной душевной свободы»... Учился Николай на филологическом факультете и серьёзно занимался музыкой – посещал музыкальные классы консерватории. Играл на пианино, сочинял музыку, писал стихи. Бальмонт был им очарован, помогал ему... Их отношения были близкими, дружескими».⁶

А в это время в Москве «Во время первого выступления в Политехническом музее, 11 ноября 1913 года, по свидетельству его участника, Василия Каменского, блестящее, неслышанное дарование чтеца, неотразимое остроумие оратора, вся великолепная внешность поэта просто покорила аудиторию. “Рекорд успеха остался за Маяковским, который читал изумительно сочно, нажимая на нижние регистры, широко плавая жёлтыми рукавами, будто гипнотизируя окончательно наэлектризованную, но далёкую от признания публику”.

Как он разговаривал с нею!

“Декадентские стихи разных бальмонтов со словами:

Любите, любите, любите, любите,

Вечно любите любовь – просто идиотство и тупость”.

В ответ слышится свист, крики:

«А вы лучше? Лучше? Докажите!».

«Докажу, и очень быстро, – парирует Маяковский. – Я понимаю ваше нетерпение – вам нестерпимо хочется скорей услышать наши стихи. (Горячие аплодисменты и одинокий свист.) Не обращайтесь внимания – это у него зуб со свистом. (Хохот. Прибавилось десяток свистков.) Если вы свистите перед стихами, то что же будет после – паровозное депо. (Хохот. Крики: “Будет!”) Вы, значит, работаете заодно с критиками (смех), но имейте в виду, что от неумного свиста мы только вышпрываем, так как все видят ваше озорство и наше деликатное достоинство”. (Аплодисменты).»¹⁵

«Первая встреча русской поэзии с танго произошла в 1913 году, году парижской тангомании (когда, по слову поэта и танцора Валентина Парнаха, эта нежная музыка убаюкивала тех, кто будет убит на войне, которая разразится год спустя), и, как бывает, они при этой встрече не узнали друг друга.

Известен рассказ Ахматовой, как на петербургской вечеринке Константин Бальмонт, наблюдая танцующую молодёжь, вздохнул: «“Почему я, такой нежный, должен всё это видеть?”». Историко-культурная прелесть этого рассказа пропадёт, если не догадаться, что танцевали молодые люди, – а они явно “танговали” <...>. Эпизод имел место 13 ноября 1913 года в дни захватившей Петербург,



привезённой из Парижа тангофилии: все разучивали новый танец, моральные качества которого бурно обсуждались обществом и который был окружён ореолом сексуальной смутительности – ср. рассказ москвича, которому было 6 лет в 1913 году: «...недалеко от нас <...> помещалось варьете “Аквариум”. Родители там были, отец потом рассказывал знакомым, что они “видели настоящее аргентинское танго”. Мать меня сразу же выставила за двери – танго считалось настолько неприличным танцем, что при детях нельзя было о нём говорить”. И вот Бальмонт, мексикоман и певец сексуального раскрепощения, хотевший быть дерзким, хотевший быть смелым, хотевший сорвать одежды с партнёрши, не признал родственную душу аргентинского танго, этот стрингиз души, “жадно берущий и безвольно отдающийся ритм”, “порочную выдуманную музыку”, в которой “и южный пыл, и страсть, а моментами северная тоска и страдание”¹⁶.

«Вечером 18-го числа Бальмонт отбыл в Москву. Продолжая извечную тему соперничества столиц, здешняя литературная общественность встретила его открытым письмом (19 и 20 ноября в газете «Русское слово» – М.Б.), которое, хотя и не содержало прямых выпадов в адрес негостеприимных петербуржцев, явно намекало на то, что в некоторых городах поэтов умеют привечать не в пример лучше: “Дорогой Константин Дмитриевич! Группа лиц, ценящих непреходящую красоту Вашего творчества, глубоко любящих Вас, как человека, испытывает в эти дни сердечную потребность ещё и ещё раз засвидетельствовать перед Вами свои чувства отменного к Вам уважения”. (Под текстом – сорок девять подписей, среди которых Валерий Брюсов, Вячеслав Иванов, Ю.К. Балтрушайтис, Георгий Чулков, А. Скрябин, М.П. Чехова, Ф. Татаринова, Н. Телешов, Н.П. Ульянов, А.Т. Гречанинов, А. Яблочкина, В. Пашенная, Ю. Айхенвальд, Л. Пастернак, Влад. Ходасевич и другие, а на следующий день к ним добавилось еще одиннадцать)»¹⁷.

Из Москвы Бальмонт с семьёй возвращаются во Францию. Незадолго до отъезда в очерке «Уезжая» он написал об этом несколько проникновенных строк: «Я еду, и снова вернусь. Быть может Москва и новой весной новыми цветами встретит меня, как было это в ушедшем мае. Быть может, Петербург будет снова сочувственным, внимательным, ласково приветливым, каким он был со мной вот в эти начинающиеся зимние дни, показавшиеся мне летними. Быть может... Но что бы ни было вперёд, я буду помнить всегда всякий восторг, всякое сочувствие, все устремления, каждый цветок...

*... И сколько бы пространств, какая бы стихия
Ни развернула мне в огне или в воде,
Плывя, я возлашу единый клич: «Россия!»,
Горя, я пропую: «Люблю тебя везде!»...»¹⁸*

В Париже «... в 1913 году происходит встреча Бальмонта с соотечественником Руставели – Паоло Яшвили, учившимся тогда в Парижском институте

искусств при Лувре. Ещё до приезда во Францию молодой грузинский поэт знал о знакомстве Бальмонта с Уордропом (лордом, дипломатом, братом Марджори Скотт-Уордроп, первой переводчицы на английский язык “Витязя в тигровой шкуре”, который и познакомил поэта с поэмой – М.Б.) и о его интересе к поэме Руставели. Надежда заручиться словом Бальмонта – взяться за перевод – окрыляла его.

О знакомстве Бальмонта с Яшвили вспоминает дочь поэта Нина Константиновна Бруни: “В 1913 году мы жили в тихом в то время квартале Пасси, неподалёку от тенистого парка Трокадеро. Бальмонт, как и моя мать, много работал; люди бывали у нас только по воскресеньям, вечером. И тут однажды, в неурочное время, к нам пришёл грузинский поэт Паоло Яшвили с двумя или тремя своими приятелями-грузинами. Он принёс и оставил Бальмонту большую книгу в кожаном переплёте с великолепными гравюрами...”

Подаренная Бальмонту книга была лучшим из существовавших тогда изданий Михая Зичи. Вышедшая тиражом всего 600 экземпляров <...>, она была полиграфически великолепна.

Яшвили удалось достичь желанного результата: он убедил Бальмонта взяться за перевод “Витязя в тигровой шкуре”, чем и порадовал соотечественников¹⁹.

Поэт сдержал данное им слово, и поэма была достойно переведена на русский язык и издана отдельной книгой в 1917 году. А благодарные грузины триумфально встречали Бальмонта в Грузии в 1914, 1915 и 1917 годах!

И в заключение этого богатого событиями и фактами материала, хочу привести петербургскую (столбчатую!) анкету популярности русских поэтов на последний предвоенный 1913 год.

«[В 1913 году] журнал М.О. Вольфа “Известия по литературе, наукам и библиографии” проводит анкету “Интересуетесь ли наша публика новейшей русской поэзией?” Заполнено 3429 анкетных листов. Из числа отвечавших “81 лицо” не интересуется современной поэзией. Из числа оставшихся только 617 человек признают современную поэзию. Мотив неприятия у большинства таков: “Оторванность поэзии от реальной жизни, декадентщина, испорченный русский язык, напыщенность содержания и уродливость, за редким исключением, формы”.

Из современных поэтов, включая сюда и недавно умерших, наиболее выдающимися признаются:

*Бальмонт 2361 голосом
Якубович 2192 голосами
Бунин 2115 голосами
Фофанов 2003 голосами
Брюсов 1384
Мережковский 1118
Сологуб 917
К.Р. 847
Голенищев-Кутузов 709
Городецкий 432
Блок 429*

Вера Рудич 422
 Шелкина-Куперник 417
 Фруг 242
 Л. Афанасьев 211
 Ада Чумаченко 82
 Ам. Цензор 71
 Кузмин 44

По несколько десятков голосов собрали поэты: Ратгауз, А.Н. Толстой, Клюев и Саша Чёрный; Хлебников, Бурлюк, Лившиц, Маяковский и тому под. получили всего по 3–5 голосов. Любопытно, что Андрей Белый и Вячеслав Иванов упоминаются только в 13 ответах. Совершенно не названы

имена таких поэтов, как Рославлев, Потёмкин, Тэффи, Гофман, Гумилёв и др.”

Ясно, что сейчас к реальной историко-литературной перархии анкета Вольфа никакого отношения не имеет, но весьма любопытна, однако, как социокультурный документ, портретирующий читающую публику 1913 года. (“По роду занятий число ответивших делится на 1146 учащихся, 57 литераторов, 201 юриста, 92 инженера, 149 военных, 511 учителей, 13 профессоров, 203 врача, 224 священника, 170 лиц, занимающихся торговлей, 401 чиновника разных ведомств, 215 лиц без определённых занятий, 17 художников, 10 рабочих и мастеровых”).²⁰

Примечания

¹ Гречишкин С.С. Архив С. А. Полякова // АН СССР Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. М., 1980.

² Бонгард-Левин Г.М. «Свет мой, Индия, святыня» // Из «Русской Мысли». Санкт-Петербург. 2002.

³ «Заморское» путешествие поэта К.Д. Бальмонта // Вокруг света. 1913. 14 апр. № 15.

⁴ Русская литература конца XIX – начала XX в. 1908-1917. М., 1972.

⁵ Романов А.Ю. Возвращение поэта. Материалы к библиографии К.Д. Бальмонта (по газетным публикациям 1913 г.) // Научно-популярный и литературно-художественный альманах «Солнечная пряжа». Иваново-Шуя., 2008. Выпуск 2.

⁶ Куприяновский П.В., Молчанова Н.А. Поэт Константин Бальмонт. Биография. Творчество. Судьба. Иваново. 2001.

⁷ Библиография К.Д. Бальмонта. Том 2. Отв. редактор С.Н. Тяпков. Иваново. 2007.

⁸ Рюрик Ивнев. Жар прожитых лет. СПб. 2007.

⁹ Шапошникова Л.В. Мистерия нового мира // Тернистый путь Красоты. М., 2001.

¹⁰ Борис Зайцев: Судьба и творчество // http://guildi.ru/referaty_po_istorii/referat_zajcev_boris_konstantinovich.html

¹¹ Успенский Л. В. Записки старого петербуржца: Главы из книги. Л. 1990.

¹² Хроника одного скандала // lucas v leyden. // <http://lucas-v-leyden.livejournal.com/117685.html>

¹³ Фрид. С. Певец Солнца // Солнце России. 1913. №48. ПБ.

¹⁴ Бальмонт К.Д. Три встречи с Блоком // Воспоминания о серебряном веке. М., 1993.

¹⁵ Серебряный век. Поэт В.Маяковский // <http://literatura5.narod.ru/majakovsky.html>

¹⁶ Тименчик Р. Приглашение на танго: Поцелуй огня // Танго и поэзия Иосифа

Бродского // <http://www.otango.ru/text/brodsky.html>

¹⁷ Письмо Бальмонту // Русское Слово. 1913. 19 ноября. № 267; дополнение см: К письму Бальмонту // Русское Слово. 1913. 20 ноября. № 268.

¹⁸ Шалюгин Г.А., Романов А.Ю. Ф.К. Татаринова – крымский адресат Константина Бальмонта // Константин Бальмонт, Марина Цветаева и художественные искания XX века. Иваново, 2006.

¹⁹ Андгуладзе Лия. Бальмонт и Грузия. М. 2002.

²⁰ Анкета популярности русских поэтов. 1913 // <http://forum.pergam-club.ru/book/5348>

ББК 84 (4 Укр-4 Оде) 62я45
Ю 195
УДК 821.161.1'06 (477.74) – 94

На 3 стр. обложки:

фото № 1 - Слева направо - Николай Гумилёв, Лев Гумилёв, Анна Ахматова;
фото № 2-4 - Предисловие к поэтическому сборнику
Николая Гумилёва «О доблести, о подвигах, о славе...» (Одесса, 1942 г.).

Підписано до друку 01.12.2013 р.
Формат 60x70/8. Гарнітура Garamond Narrow.
Папір офсет. Друк офсет. Ум. друк. арк. 20,59.
Тираж 700 прим.

Видавництво КП ОМД (свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17